



Александр Лапшин
**ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА**

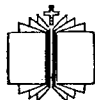




Александр Лапшин



**ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА**



МОСКВА
ИРОИ-ПРЕСС
1995

ББК 85.374
Л24

Художники
В ПЕЧКОВСКИЙ
В. БИСЕНГАЛИЕВ

Л24 Лапшин А.
Под знаком Скорпиона. — М.: КРОН-
ПРЕСС, 1995. — 432 с.
ISBN 5-232-00190-6

Большевистский переворот 25 октября (7 ноября по новому стилю) пришелся как раз на знак Скорпиона. Это событие оказалось роковым для России. А. М. Горький — «Буревестник революции» — предсказал: «...Русский народ заплатит за Октябрь озерами крови».

На страницах романа Алексей Максимович предстает в образе, совершенно незнакомом для нас, — противоречивом, трагическом. Причина его отъезда за границу, а потом возвращение на родину, последняя роковая любовь, отношения с В. И. Лениным и И. В. Сталиным, обстоятельства смерти писателя — эти факты скрывались все годы советской власти.

Судьба сына писателя — Максима, любовный треугольник — Максим, его жена Надежда, шеф НКВД Г. Ягода — одна из версий автора романа. По роману «Под знаком Скорпиона» снят четырехсерийный телевизионный фильм под одноименным названием, в котором снимались известные актеры театра и кино. Книга иллюстрирована кадрами из фильма.

Итак, дорогой читатель, у вас в руках — книга о любви, предательстве, высоких порывах и низменных страстях, тайных убийствах и убийцах.

Л 4702010103—190
07К(03)—95

ББК 85.374

ISBN 5-232-00190—6

© А. Лапшин, 1995
© КРОН-ПРЕСС, 1995
© Обложка, В. Печковский, 1995
© Иллюстрации, В. Бисенгалиев, 1995

ОТ АВТОРА

Я КИНОДРАМАТУРГ. ОДИН ИЗ МОИХ ФИЛЬМОВ — «Жизнь Клима Самгина» (14 серий) — создан по известному произведению Максима Горького.

Осваивая эту многослойную и многосложную литературную глыбу, я понял, что Горький совсем не тот человек, за кого выдавал себя сам, и уж тем более не таков, каким привыкли воспринимать его большинство моих современников. Это подвигло меня к изучению жизни самого Алексея Максимовича.

Результат — роман «Под знаком Скорпиона», по которому под одноименным названием поставлен и недавно показан по телевидению четырехсерийный художественный фильм. Этот роман я и представляю на суд читателя.

Эта работа (она по объему вдвое больше, чем отснятая картина) — не историческое исследование (хотя я проштудировал довольно большое количество исторических материалов и, по возможности, старался придерживаться достоверности даже в диалогах персонажей) — это, прежде всего, мой собственный взгляд на неординарную фигуру Горького, на его место в нашей истории и на саму историю. В частности, это касается взаимоотношений писателя с Шаляпиным, с Лениным и со Сталиным, линии Максим — Надя — Ягода; моих

толкований по поводу двух загадочных смертей — самого Алексея Максимовича и его сына.

Я излагаю свои версии, которые возникли у меня на основании разного рода свидетельств, и вполне допускаю, что у других людей они могут быть иными.

Полагаю, для литератора это естественно и правомерно — писатели тем и отличаются от историков, что видят и отображают одни и те же конкретные исторические личности, каждый по своему. И, вообще, — сомнительно, чтобы история могла объективно отразить прошлое.

Не так давно меня поразило маленькое личное открытие: оказывается, «суть» — по-гречески, переводится как «сумма». Думаю, это можно отнести и к самой истории: ее объективная «суть» — в «сумме» наших субъективных взглядов на тех или иных людей, на те или иные события. И пока мы не убедимся, что именно для этой цели Господь и создал нас разными, пока будем пытаться привести мировоззрение всех людей к «общему знаменателю» — вряд ли у нас выйдет что-то путное.

Мы останемся неадекватными Миру: вместо объемного познания Сущего, как «сути-суммы», мы, по-прежнему, будем стараться «вскрыть» его не ключом, а отмычкой — трагически однолинейным мышлением, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

О названии. Почему оно такое?.. Большевицкий переворот 25 октября 1917 года пришелся как раз на знак Скорпиона. В то время мало кто верил, что Ленин продержится у власти больше двух недель, но некоторые астрологи тогда же предсказали: большевики надолго, и это — рок России. А

сам знак угрожает русскому народу зловещим самоистреблением. Получается, астрология не такая уж пустая вещь — именно так все и произошло... Ушли ли мы из-под этого знака сегодня? Вряд ли. Более того — в запале очередных перемен мы опять затянули давнюю песню: «отречемся от старого мира», вновь забывая, что каждый выстрел по прошлому отдается разрушительным эхом в будущем.

Горький — в какой-то степени и есть одна из «расстрелянных» нынешним временем личностей.

В своем романе я описал послеоктябрьский период жизни писателя, вплоть до самой смерти. Не смея судить его или оправдывать, я попытался понять этого противоречивого человека и его время с одной целью: помочь себе и другим вырваться из заколдованного круга саморазрушения собственной истории, чтобы прервать наконец дурную череду наших трагических событий.

Одно из них — революцию февральскую — Горький, как известно, принял, но сразу встал в оппозицию к большевикам. Они — из числа многих бывших разрушителей Российской империи — теперь вынуждены были скреплять ее, распадающуюся на куски, железными обручами власти.

В своей газете «Новая жизнь» писатель принялся обличать крутые и жестокие действия своего прежнего друга Ленина и его соратников, начав публиковать там серию очерков под общим названием «Несвоевременные мысли».

Новая власть в первые же дни своего правления ликвидировала всю свободную печать, но Горького пока терпела.

В глазах миллионов людей он все еще оставался тем самым «буревестником революции», на идеях которого большевики и оседлали Россию. А «буревестник» на всю страну нелюбезно предсказывал: «...Русский народ заплатит за Октябрь озером крови...»...

ГЛАВА ПЕРВАЯ
НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ
МЫСЛИ



Ночь была ясная и безоблачная. Землю покрывал только что выпавший снег, нигде не было видно ни одного живого существа. Тридцатилетний Алексей Пешков шагал вдоль какого-то непроницаемого забора, который нигде не кончался. Ни впереди, ни сзади. Над его головой покачивались скрюченные голые ветви незнакомых деревьев, подсвеченные мертвенным светом луны. Скрип снега под ногами был единственным звуком, нарушавшим это странное и напряженное безмолвие.

За спиной вдруг кто-то спросил:

— Не возражаете, если я пойду рядом?

Пешков от неожиданности вздрогнул и обернулся.

С ним поравнялся маленький, одетый в темное человек и пошел в ногу. Непонятно было, откуда он взялся. Притом шел он беззвучно, скрипа снега под его ногами не слышалось.

— Вы... кто? — настороженно поинтересовался Пешков. — С кем имею честь?..

Незнакомец потер цепкой рукой острый подбородок с эспаньолкой и коротко рассмеялся колющим смешком под черными усиками.

— Хе-хе! — Он лукаво сверкнул острыми черными глазками. — Разве для вас знать имя человека более важно, чем знать то, что он собирается сказать вам?

— Нет... Но все это — странно! — Пешков остановился.

— Ну и пускай странно.— Человек в темном тронул его за рукав пальто и снова повел вперед.— Вообразите, что я — читатель... некий странный читатель, которому во всех подробностях знакомы ваши вещицы...

Пешков нервно подернул плечом.

— Пардон! — Незнакомец неприятно улыбнулся.— Ваши... произведения. Такая поправка вас устраивает?

— Что вы намерены мне сказать? — сухо напомнил ему Пешков.

— Сначала спросить...

— Хорошо, пусть... Что?

— Кто есть твой бог?

Он вновь остановился. Теперь в изумлении.

— А почему вдруг... «ты»? — с опасливой и враждебной неприязнью спросил Пешков незнакомца.

— Я намного старше тебя,— спокойно ответил тот. Хотя выглядел он довольно молодо.— Так — кто?

Ощущая над собой какую-то таинственную власть человека в темном, Пешков ступавался и, презирая себя за это, неуверенно пробормотал:

— Вероятно... человек. Да,— сказал он уже тверже.— Бог для меня — человек.

— Как?! — удивился незнакомец.— Но тебе хорошо известно, что он глуп, зол, бесчестен, он зависит от массы внешних условий, он жалок и бессилен. При этом предельно нагл, ибо ставит свое «я» в центре мира. Хе-хе! — Лицо человека саркастически расплылось.— Предвижу в одной из твоих будущих статей прелестную картинку: «в центре мира стоит жирный человечек с брюшком,

любитель устриц, женщин, хороших стихов, сигар, музыки, человек, поглощающий все блага жизни, как бездонный мешок. Всегда несытый, всегда трусливый, он способен возвести свою зубную боль на степень мирового события... И это — твой бог?

Пешков, чуть ошарашенный, присел на скамейку, стоявшую неподалеку. Спустя паузу, он сказал:

— И все же есть люди...

— Единицы! — тут же оборвал его человек в темном. — Остальные давно не желают жить с достоинством. Они хотят проще — как свиньи. Каждый из них все больше становится грудой костей, покрытых мясом и толстой шкурой, — и поэтому они все чаще и все нахальнее смеются, когда произносится слово «идеал!». — Слово расстроенный от собственных слов, он присел рядом.

— Но об этом я и пишу...

Незнакомец криво усмехнулся.

— Если бы! Пока ты просто загромождаешь память и внимание людей мусором фотографических снимков. Описывая будничные чувства будничных людей, ты открываешь их уму много низких истин, но что ты сделал для возбуждения в них жажды жизни? Можешь ли ты создать для них хотя бы маленький, возвышающий душу обман?

— Но... зачем?

— Чтобы человек — действительно стал богом.

Пешков задумался. С гримасой отвращения человек в темном вновь сказал:

— Все вы... коллеги по перу, только и можете что ныть, стонать, охать или равнодушно рисовать, как он разлагается. Вы мелки, жалки и о! — как вас много!

Пешков оскорбленно выпрямился.

— Однако... это уж слишком!..

— Сядь! — жестко приказал незнакомец, и он тотчас повиновался.— Для того я тебе и явился, чтобы указать путь. Но сначала ответь еще на один вопрос: к чему следует звать людей?

— Разумеется... к всеобщему счастью.

— Чушь! Счастье для дремлющего человека как раз и есть погибель. Не в счастье и довольстве собой смысл жизни. Он в том, чтобы в каждый момент бытия иметь высокую цель.

— То есть цель ради цели?

— Не иначе! — подтвердил человек в темном.— В противном случае человек неминуемо обратится в животное. Его постоянно надо будить.

— Как?

— Бичом! И огненной лаской любви, вслед за ударом бича. Гнев, ненависть, мужество, стыд, отвращение, наконец, злое отчаяние — вот рычаги, которыми можно разрушить все мерзопакостное на земле.

Пешков был поражен.

— Откуда вам известны мои мысли?

— Не важно.— Незнакомец опять неприятно улыбнулся. Затем вкрадчиво добавил: — Чтобы иметь право говорить народу, нужно иметь в душе или великую ненависть к его недостаткам, или великую любовь к нему за его страдания. Последнего тебе не дано.

— Да как вы можете!..

— Могу! — вставая, заявил человек в темном.— Ибо знаю, что в своей громогласной любви к человеку ты фальшивишь. Твой удел — ненависть и пафос. Разжигаемая в самом себе ненависть ко всему обиденному и слабому в человеке и пафос — человека грядущего.

— Но... во имя чего?

— Ради свободного творчества жизни,— ответил незнакомец.— Во имя борьбы за свое право ломать прошлое и настоящее, чтобы создавать достойное будущее.— И, отвернувшись, направился прочь.

— Как?..— растерянно спросил вслед Пешков.— Ты уже уходишь?

Человек в темном приостановился и отрицательно поводит головой.

— Ошибаешься! Отныне я всюду буду с тобой.— И заговорщически подмигнул ему.— Ты еще не раз меня увидишь.

Он бесшумно шагнул в ночь и растворился в ней, как исчезают тени.

Пешков, глубоко озадаченный, остался сидеть на скамейке, опустив руки между колен. Кто-то взял его сзади за плечо, он снова вздрогнул и, обернувшись, проснулся...

Проснулся пятидесятилетним Максимом Горьким, проснулся в Питере, в доме на Кронверкском бульваре, в своем кабинете на кушетке, где он задремал после обеда.

Над ним стоял могучий Федор Шалапин и дергал его за плечо:

— Да очнись же, Алеша!.. Они захватили почту и телеграф!

Горький сел, сунул ноги в шлепанцы и, находясь под впечатлением сна, непонимающе потряс головой:

— Кто... «они»?

— Большевики! Тепленькими нас, мерзавцы, взяли: я у тебя в гостиной в карты режусь, а ты, «буревестник» их, дрыхнешь!— Шалапин был очень возбужден.— Как же они с тобой не посоветовались?

— Да откуда ты это взял?

— Твой дворник сказал. Сейчас прибежал и обрадовал! Уже красный бант себе в петлицу повязал, паршивец! Значит, не наврали Зиновьев и Каменев, назвав дату переворота в твоей газете... 25 октября? А я еще, дурень, смеялся, что Лейба Троцкий надеется отметить так свой день рождения!

— Погоди, Федор! — Алексей Максимович резко поднялся. — Нашел кому верить — дворнику! Ленин — он, конечно, с авантюрным началом, но не безумец же — попытаться захватить власть в России почти голыми руками?

— А что ее, при сегодняшних дрызгах да неразберихе, захватывать? Вон она — «бери, не хочу» — сама под ногами валяется!

— Нет, не думаю, чтобы большевики совсем спятели!

— А черт вас всех разберет! Ты скажи другое. через час в Народном театре у меня «Дон Карлос», иди мне петь или нет?

Горький подошел к окну и, распахнув раму, вслушался в тишину города.

— Иди и пой, — посоветовал он спокойно. — Если бы они что-то затеяли, кругом стояла бы пальба. А так, слышишь — тихо..

* * *

В Смольном проходил Второй съезд Советов, Но сейчас был перерыв, и в коридорах творились толчея и всеобщее возбуждение. Лев Троцкий, продираясь сквозь скопище разного рода революционеров, кое с кем раскланивался скупым кивком головы, но большую часть людей не замечал. Лицо его было отрешенно и сосредоточенно, казалось, он присутствовал не здесь, а где-то уже в

ином-измерении, и теперь эта клокочущая, бурлящая революционная масса его только раздражает

Зазвенел звонок, все вновь потянулись в зал заседаний.

Троцкий дошел до конца коридора, спустился на два этажа ниже и быстро пошагал гулким полуподвальным переходом. У двери, заколоченной досками крест-накрест, он воровато оглянулся и, убедившись, что кругом никого нет, открыл ее ключом.

Изнутри он опять заперся и обвел глазами помещение.

Комната была почти пуста, сквозь полуподвальное оконце сочился тусклый свет догорающего дня и высвечивал на полу два тонких постеленных одеяла и две подушки. За исключением громоздкого шкафа в углу, никакой мебели в помещении не было.

— Владимир Ильич... — негромко позвал Троцкий.

Раздался протяжный скрип, одна из дверок шкафа осторожно приоткрылась, оттуда вкрадчивыми, неслышными шагами вышел Ленин. Застыв посреди комнаты, он напряженно спросил:

— Ну, что?..

Троцкий четко, без эмоций, доложил:

— Связь Временного правительства с городом прервана, Дворцовый мост занят матросами, суда Балтийского флота в боевом порядке вошли в Неву и тоже двигаются к Зимнему.

— Чудесно! — Ленин, точно пришпоренный, заходил из угла в угол. — Каковы кронштадтцы, а? Не они — наше дело табак!.. Что с радиостанцией?

— Окружаем.

Ленин остановился, резко выбросил вперед руку с оттопыренным указательным пальцем:

— Захватите — немедленно, круглосуточно и ежечасно рассылайте по всему фронту воззвания о мире! Толкайте солдат на стихийную демобилизацию и бегство домой. Пусть поротно, позводно братаются. С немцами, с чертом, с кем угодно! Взять Зимний — полдела. Главное — развалить фронт!

Троцкий, соглашаясь, кивнул. Ленин метнул на него острый, прищуренный взгляд, поинтересовался:

— Как полагаете, отчего нам не оказывают сопротивления? До сих пор — ни одного выстрела.

Товарищ по партии сдержанно улыбнулся:

— Думаю, оттого что в точности выполняем ваш замысел, Владимир Ильич: «социал-демократы должны смотреть на наши действия, но не видеть, слушать, но не слышать». Так все сейчас и происходит — восстание в разгаре, но никто в него не верит, потому что наши лидеры в этот момент там... — он показал под потолок, — на съезде, успешно пудрят мозги меньшевикам и эссерам, утопив их в спорах о фундаменте для примирения. Сознаюсь, я поначалу скептически отнесся к этой вашей выдумке.

Ленин, не скрывая удовлетворения, хмыкнул и, вновь заходя в комнату, сказал:

— Не стоит преуменьшать и свою роль, Лев Давыдович. Но причина их бездействия глубже. Вся эта разномастная и лжереволюционная шушера, со своими высокомерными стратегами, не принимает нас всерьез. Они уверены, что наш триумф, если он состоится, продлится три-четыре недели, не больше. Что здоровые, по их понятиям, элементы быстро справятся с бунтующей массой и установят в России нужную им власть.

— То есть нашими руками они намерены лик-

видировать Временное правительство, чтобы тут же нас устранить?

— Именно! Но именно в этом для нас сейчас величайший исторический подарок. Ибо как только они опомнятся и объединятся, нас сомнут за час.

— Убежден,— сказал Троцкий,— этот поезд для них ушел. Они опоздали. Если сегодня мы окажемся у власти, лишить нас ее они смогут только через Учредительное собрание.

Ленин опять остановился и озорно посмотрел на соратника.

— Но они и здесь нас недооценили, Лев Давыдович. Мы ведь с вами не завалыщие интеллигенты-хлюпики? Грубовато, разумеется, но в случае их победы на выборах, мы ответим им чисто по-русски: «Накося выкуси!»,— и заразительно засмеялся, откинув крупную башковитую голову. За стеной Смольного раздался мощный орудийный залп, Ленин вздрогнул и испуганно сжался...

* * *

Залп крейсера по Зимнему услышали и в Народном театре. Публика, выскакивая из рядов, бросилась к выходу.

Грохнул еще один выстрел.

Оркестранты, оставляя инструменты, стали покидать свои места тоже, музыка расстроилась, поплыла и смолкла.

Федор Шаляпин, исполняя арию Дон-Карлоса, осекся и опасно покосился на задник сцены, откуда доносилось громыхание. Все персонажи спектакля растерялись и, не зная, что делать, уставились на певца.

Примерно треть публики еще оставалась на местах.

Шаляпин набрал грудью воздуха и еще мощнее продолжал арию без музыки. Остальные актеры задвигались, согласно своим задачам.

Зал все больше пустел, выстрелы грохотали все громче — Шаляпин не обращал на происходящее уже никакого внимания. Он был профессионал, он опять жил в образе другой эпохи...

* * *

Троцкий, уже не таясь, распахнул якобы запертую дверь.

— Владимир Ильич... победа!

Ленин лежал на полу, на постеленном одеяле с подушкой и смотрел в потолок. Повернув голову, он спросил:

— Вы точно все проверили?

— Антонов-Овсеенко только что прислал матроса из Зимнего!

Ленин сел и сдавил ладонями глазницы, которые ломило от недосыпа.

— Да,— тихо проговорил он, не отрывая от лица рук,— взвалили мы с вами на себя воз.

Троцкий молчал. Вождь встал, устало улыбаясь, сказал:

— Слишком резкий переход из подполья — к власти. Кружится голова.— Он сделал вращательное движение рукой возле высокого лба.— Где Керенский?

— Бежал в Гатчину.

— Арестовать!..— фальцетом закричал Ленин. Он неистово затопал на месте ногами, будто куда-то побежал.— Немедленно арестовать!..

Это внезапное преобразование вождя непри-

ятно поразило его соратника, он подавленно ответил:

— Мы постараемся...

Ленин, точно тигр в клетке, заходил от стены к стене, угрюмо уставившись перед собой в одну точку...

Существует устоявшийся штамп: Керенский бежал из Зимнего переодетый в женское платье. Это одна из многочисленных выдумок большевиков. Глава Временного правительства выехал из дворца в открытой машине, в своем неизменном френче. По пути его еще по привычке приветствовали восставшие, вытягиваясь перед ним во фронт и отдавая честь. Но вот из Гатчины Керенский действительно ускользнул, переодевшись. Но... в матросскую форму. За пять минут до появления большевиков, прибывших его арестовать...

Троцкий, наблюдая за расхаживающим вождем, как за маятником, осмелился, наконец, посоветовать:

— Вам бы не мешало выступить, Владимир Ильич. И немедленно.

Ленин резко застопорил:

— Где?

— Здесь.— Троцкий показал на верхние этажи.— Прямо на съезде, перед этой голосующей скотинкой.

— А это... не опасно?

— Теперь — нет.

— Идемте.

Вождь, сопровождаемый Троцким, стремительно пошагал по коридорам Смольного. Отдельные люди, попадавшие на пути, изумленно друг с другом перешептывались:

— Смотрите, Ленин...

- Откуда он взялся?..
- Ничего не понимаю...
- Куда он идет?..
- Неужели сам Ульянов?..
- Он — точно. А говорили: не посмеет теперь показать носа...

Ленин шел, ни на кого не глядя, все дальше и дальше...

Всего за восемь недель до февральской революции Ленин изрек примерно следующее: «Жаль, что мы не станем свидетелями падения царского режима в России. Столько положено нами для этого трудов... И все же не стоит отчаиваться — царизм непременно свергнут наши потомки». Об отречении Николая II, о революции он узнал из газет в Цюрихе. Надо думать, что для Ленина это явилось громом среди ясного неба. И можно догадаться, что он с уязвленной досадой понял главную причину своего просчета — он не знал России. И это не мудрено: за последние семнадцать лет Ленин прожил на родине всего три дня. В Петроград он прибыл, благодаря стараниям Германии — стране, воевавшей с Россией, — в plombированном вагоне. Как подобное случилось, что за этим стояло — разговор впереди. Но по прибытии вождя мирового пролетариата сразу окрестили немецким шпионом, (как теперь выяснилось, не без оснований), отдельные полки солдат за призывы бросать оружие пригрозили поднять его на штыки; манифестация инвалидов потребовала выслать Ленина тотчас обратно, он сам приготовился уже к суду, но Временное правительство его пощадило. Оно посчитало, что после «глупых» апрельских тезисов, от которых опешили даже соратники, в свете негативного общественного мнения Ленин навсегда стал политиче-

ским трупом. И добивать его — и бессмысленно, и безнравственно. И... глубоко ошиблось. Скрываясь от посторонних глаз, Ленин за несколько месяцев проделал колоссальную работу по расшатыванию новой власти, искусно спекулируя на усталости солдатско-крестьянской массы от нескончаемой и неудачной войны. Именно в этот период на его сторону от меньшевиков переметнулся Троцкий, занимавший первый пост в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов. Удачным ленинским ходом было и то, что он на время позаимствовал у эсеров их лозунг: «Земля — крестьянам!» Большевики вдруг каким-то чудодейственным образом разбогатев, стали издавать десятки газет, тысячи брошюр, листовок и, умело пользуясь свободой печати демократического Временного правительства, стали проникать во все поры жизни. Вождь оказался прав — его недооценили.

Захватив Россию, он тотчас обрушил на нее град жесточайших декретов: «О закрытии всех буржуазных газет»... «О создании ВЧК»... «О запрещении партии кадетов»... «О введении смертной казни»... чтобы раз и навсегда поставить всю мягкотелую, разномастную и разрозненную интеллигенцию и весь остальной люд на место — все должны выкинуть глупые иллюзии из головы, что большевики — это тоже нечто временное. И чем скорее они это сделают, тем для них это будет лучше... ВЧК обрела беспредельное и бесконтрольное право на аресты и расстрелы, которые она производила по собственному быстрому суду и следствию... Одновременно, выбросив в массы лозунги «Вся власть Советам», «Религия — опиум для народа» и главный из них — «Грабь награбленное!», новая власть предоставила широкую возможность вволю «погулять» и поглумиться

над прежним правящим классом самой отвратительной части русского населения — голытьбе и отребью. Началось разграбление церквей, фабрик, заводов, картинных галерей, дворцов, запылали подожженные помещичьи усадьбы. Но большинство народа оказалось против новых узурпаторов. Об этом свидетельствует признание самого Ленина:

«Мы можем рассчитывать только на сознательных рабочих. *Остальная* масса, буржуазия и мелкие хозяйства, против нас... Мы знаем, как *невелики* в России слои передовых и сознательных рабочих».

По той причине, что большевики навязали стране свою власть силой, они и потерпели сокрушительное поражение на выборах в Учредительное собрание, набрав всего 25 процентов голосов от 36 миллионов избирателей. Они опять оказывались не у дел. Учредительное собрание, о котором мечтали все ниспровергатели монархии и от которого, при условии добровольности оппонентов, не отказывались и Ленин с соратниками, просуществовало всего один день — с 5 по 6 января 1918 года. «Добросовестные» большевики, не мудрствуя лукаво, его попросту разогнали. «Накося выкуси!» — оказалось не пустым обещанием Ленина.

* * *

Горький швырнул на стол «Петроградскую правду», в которой большевики сообщали о разгоне ими Учредительного собрания, и в бешенстве ударил по ней кулаком.

— Негодяи!.. Они убили в России демократию!

— Потише, Алексей Максимович... — холодно попросила его Мария Федоровна Андреева. Оде-

тая в шубку, она уже собралась выходить из дому со своим секретарём Крючковым и приостановилась на пороге.

— Пожалуйста, побереги нервы и... репутацию нашего общего друга.

Горький отвернулся и, отойдя к окну, колко ответил:

— Зря беспокоишься, Мария Федоровна. Репутацию моего бывшего товарища,— он подчеркнул — «бывшего»,— теперь надёжно охраняет Дзержинский.

Андреева чуть усмехнулась и, обращаясь к многочисленным обитателям и гостям в квартире на Кронверкском, сказала:

— Прошу простить, с Петром Петровичем мы вызваны к Ленину в Смольный.

И вместе с секретарем удалилась.

В гостиной образовалась продолжительная пауза.

Горький, оставаясь у окна, увидел сверху, как Мария Федоровна и Крючков вышли на улицу, обошли палую, со взбухшим животом лошадь на тротуаре и остановили проезжающего извозчика. Секретарь посадил Андрееву за талию в коляску, забрался следом, они покатали вдоль безлюдного проспекта, по которому мела легкая поземка...

Мария Андреева была второй супругой Горького. С первой — Екатериной Пешковой — он разошелся в 1903 году, оставив ее с двумя детьми — мальчиком Максимом и девочкой, которая умерла спустя три года. Ради Горького Андреева тоже бросила мужа и детей, ушла из театра Станиславского, а потом, к ужасу светского Петербурга,— вступила в партию Ленина, навсегда покинув сцену. Застрелившийся Савва Морозов, как поклонник ее таланта, неожиданно оставил Ма-

рии Федоровне сто тысяч рублей. Она взяла себе сорок, а шестьдесят тысяч передала большевистской фракции РСДРП. Став другом Ленина, она по его заданию сопровождала Алексея Максимовича в Америку не только как спутница, но и как партийный товарищ, на которого можно было положиться. Разрыв ее с Горьким начался в 1912 году, на Капри, когда на горизонте Алексея Максимовича появилась новая женщина. (О ней мы еще упомянем.) С тех пор они как бы жили и не жили. То под одной крышей, то нет. Горький полностью признавал за собой вину и теперь, догадываясь, что Мария Федоровна обрела близкого человека в лице секретаря Крючкова, предпочитал об этом не думать. Месяц назад Ленин назначил Андрееву комиссаром петроградских театров...

Вернувшись к столу и прерывая затянувшуюся паузу, Горький вдруг с нервной бравадой предложил:

— А не запить ли нам всю эту гнусность хорошим вином?

Гости охотно его поддержали...

Позже, разогретые мадерой и отужинав, они наперебой заговорили. Разумеется, о большевиках:

— ...Декларировать власть Советов и устанавливать диктатуру своей партии!..

— Но главное: откуда эта претензия на уникальное знание исторических путей, эта уверенность в своем праве ломать судьбы миллионов?..

— Притом не имея за душой даже «демократических предрассудков»!

— Как раз все можно. Большевик — это особый род интеллектуального эгоизма...

— Челуха — бандитизма!..

— Нравственность заменить классовой борьбой — до такого надо еще додуматься!..

— А что сказал им Кропоткин, слышали: «Ваши действия недостойны идеалов, которые вы проповедуете»!..

Заговорил, наконец, окуяющим баском и доселе молчавший Горький.

— И еще одно — кропоткинское: «Русская революция творит мерзости и внушает отвращение». Но самое гадкое, по мне, то, что, во имя своей политической победы, они не гнушаются сознательной эксплуатацией всех человеческих пороков.

— Посему и превращают все храмы в отхожие места, — сказал бородатый мужчина, самый мрачный из гостей.

— ...Ну... — ответил ему Горький, — церковь — тоже хорошая штука. Не стоит ее идеализировать.

— То есть как? — удивился бородач. — Вы порицаете варварство большевиков и одновременно ни во что не ставите православие?

— Наше православие давно бесславно, — парировал писатель, — а главное — оно безлично. И не надо вместо большевиков опять подсовывать нам боженьку. Мы с ним и при царе разного смира наглотались.

— За что же вы стоите?

— За творческий дух гордого и свободного человека, сударь.

— Без Бога?

— Представьте, без него.

Мужчина угрюмо встал из-за стола.

— Теперь понятно, отчего вы накликали на Россию бурю.

Присутствующие в гостиной, почуяв назревающий конфликт, притихли.

— Что вы имеете в виду? — напряженно спросил Горький.

— Свобода без Бога — это всегда разврат и ди-

кость. И вам, писателю, стыдно до подобного не додуматься.

— Но помилуйте... Куда бóльшая дикость — ползать на коленях и раболепствовать перед выдуманым идиолом!

Бородач покачал головой.

— Мне жаль вас, господин Горький.

Писатель, задетый за живое, поднялся тоже.

— Любопытно узнать почему?

— Атеизм — это рафинированная религия дьявола. Та, что сама себя отрицает. Ибо Бог говорит: «Я есть». А сатана дурачит: «Меня нет». Так что, позвольте не поверить вашему негодованию по поводу большевиков. Вы и они — «братья по духу». И вместе — служите сатане. — Бородач, при всеобщем молчании, покинул дом.

Продолжая стоять, Горький досадливо покрутил рыжеватый ус, негромко проговорил:

— Какой... неприятный человек. Откуда он?

— Ракицкий привел, — подсказал кто-то.

Писатель посмотрел на своего постоянного приятеля — художника, грузного ленивого человека:

— Кто он?

— Тоже художник, — полувиновато ответил Ракицкий. — Довольно талантливый. Но что-то с ним случилось, как пить бросил.

— Давно?

— После октябрьского переворота.

Горький хмыкнул.

— Понятно. Мужчина с вывертом... Уж лучше бы он пил.

В передней раздался звонок в дверь, он сам пошел открывать новому гостю.

На пороге предстал Шаляпин — в длиннополой медвежьей шубе, и от этого еще более громадный.

— Вот!.. — Он распахнул на себе густой мех.— Дал сегодня в Кронштадте три концерта, морячки расплатились натурой. Как тебе доха?

— Хороша,— ответил Горький.— Раздевайся.

Но снять шубу Шалапин не успел. Из открытой гостиной выскочил писательский дог. Учув медвежий запах, он ошетинился, зарычал и со свирепым лаем стал набрасываться на гостя, преграждая ему дорогу.

— Ты что, Булька?..— спросил артист.— Обалдел?..

Пес не унимался и, наскакывая все ближе и яростней, норовил вырвать клоч из полы.

— Ах, ты так! — сказал Шалапин.— Тогда смотри!..

Опустившись перед догом в медвежьей шубе на четвереньки, он тоже как бы ошетинился, издал глухой рык, оскалился и, преобразившись в дикого зверюгу даже по пластике, угрожающе двинулся на пса. Тот резко смолк, подогнул лапы, поджал хвост и в ужасе попятился. «Медведь» страшно рывкнул и рванулся вперед. Дог со всех ног понесся спасаться обратно в гостиную, Шалапин на четвереньках устремился следом.

Он загнал Бульку под сервант с высокими ножками и, войдя в раж, принялся остервенело облаивать его в свою очередь.

Присутствующие в гостиной, ничего не понимая, испуганно онемели.

Горький, стоя в проеме дверей и показывая им на Шалапина, беззвучно трясся от смеха...

* * *

Полуголый, с расстегнутым поясом галифе, жирной веснушчатой спиной кверху — Зиновьев

распластанно лежал на кушетке в своем служебном кабинете и тихонько, сладострастно постанывал. Его массировала молоденькая секретарша. Гимнастерка председателя Петроградского Совета и кобура с торчащей рукояткой пистолета висели на спинке стула, возле стола, заваленного бумагами. Повернув осоловевшее лицо, он прокричал:

— Ох, в этом месте, да... Позвоночник — аккумулятор энергии...

— Революционной, — уточнила «массажистка по совместительству».

Зиновьев булькнул давящимся смешком, она принялась растирать его маленькими кулачками от лопаток до копчика...

Григорий Евсеевич Зиновьев (настоящая фамилия Анфельбаум) был человек умный, культурный, но довольно ловкий интриган. Будучи порядочным трусом и любителем всевозможных благ жизни, он никогда не подвергал себя рискам подполья, и до революции почти вся его деятельность протекала за границей. Прибыв вместе с Лениным в Россию в plombированном вагоне, он не очень увлекся риском революционного переворота и накануне Октября, на всякий случай, выдал в печати, вместе с Львом Каменевым, сроки восстания. Ленин, жестокосердный к врагам и оппонентам, удивительно легко прощал слабости своих соратников. Зиновьева он не только сделал заместителем Северной области с неограниченной властью, но в иерархии большевиков поставил после себя и Троцкого на третье место. В «Петроградской правде», где Григорий Евсеевич был полновластным хозяином, каждое утро он писал: «Я объявляю», «Я приказываю», «Я запрещаю», «Я буду карать безжалостно», «Я не потерплю...». И это не было бравадой, в его руках находился мощ-

ный аппарат ВЧК, созданный Урицким. Как теоретик, Зиновьев не дал ничего, как политик, — был лишен глубины и размаха, подчиняя все мелкой тактике борьбы за власть. После октября он сразу занял удобную позицию ленинского ученика и последователя, но в партии его не любили. Среди ее верхних эшелонов в ходу была формула: «Берегитесь Зиновьева и Сталина. Сталин предаст, а Зиновьев убежит». С Горьким у Григория Евсеевича была давняя личная вражда, и он не пропускал случая, при возможности, напасть «буревестнику революции»...

Из приемной кто-то задергал дверной ручкой, Зиновьев приподнял голову в большой копне волос и недовольно посмотрел на дверь. Затем сел и жестом приказал девушке исчезнуть. Она юркнула прочь, через второй выход, замаскированный в стене книжного шкафа.

Одевшись, Григорий Евсеевич открыл кабинет и увидел за порогом Горького. За его спиной уже сидела на своем месте секретарша-массажистка. Писатель весь кипел от негодования.

— Эта ваша статья — политическая пощечина!.. — заговорил он, задыхаясь и сипло кашляя. — Как вы посмели выставить меня в таком свете?.. По какому праву?..

Зиновьев отступил и, внутренне довольный состоянием посетителя, спокойно парировал:

— Но и вы как будто не церемонитесь, когда выливаете на нас ушаты помоев.

Горький грозно ступил в кабинет.

— Конкретно? Примеры?..

Григорий Евсеевич взял со стола издаваемую Алексеем Максимовичем газету «Новая жизнь», отыскал место, отчеркнутое красным карандашом.

— Вот один из ваших перлов... «И Ленин, и Троцкий, и все другие, очевидно, убеждены, что «правом на бесчестие» всего легче можно увлечь за собой русского человека. И вот они хладнокровно бесчестят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляя устраивать его кровавые боины, понукая к погромам, к арестам ни в чем повинных людей. Вообразив себя наполеонами от социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России...»

— И все это от первого и до последнего слова правда! — горячо воскликнул писатель. — Вы задушили всю свободную и честную печать и теперь полагаете...

— Правда и то, — жестко прервал его Зиновьев, — что ваш сын Максим служит у Дзержинского. Притом не без удовольствия.

Горький осекся и, опустив глаза, буркнул:

— Он просто пока молодой балбес, и сие факт его личной биографии... Но ваше публичное обвинение меня в том, что я подкуплен банкирами и издаю «Новую жизнь» на их деньги — гнуснейшая подлость! И я заявляю вам это открыто.

Григорий Евсеевич невозмутимо усмехнулся.

— Я так полагаю, что если бы сейчас были дуэли, вы бы бросили мне перчатку.

— Да! И с удовольствием... стрелялся бы с вами!

— Что ж, товарищ Пешков... наконец мы выяснили наши отношения! А поэтому скажу откровенно тоже: мы никому не позволим нарушать нашу монополию на общественную мысль. В том числе и «неприкасаемым буревестникам».

— Как сие понимать?

Лицо Зиновьева стало злым и мстительным.

— Я сделаю все, чтобы прихлопнуть вашу бездарную и продажную газетенку.

Писатель быстро пошагал вон, но, остановившись за порогом, сказал:

— Кстати о продажности... Я пожертвовал в кассу большевиков половину своих гонораров, и не только я. Но вы с трудом наскребли на одну «Искру». На какие, а точнее, на чьи деньги вы вдруг стали издавать перед Октябрем семнадцать ежедневных газет? Уж не на немецкие ли?..

Григорий Евсеевич изумленно приоткрыл рот и замер.

— Теперь я убежден,— прибавил Горький,— что Временное правительство, скомкав следствие по делу «новоявленных борцов из plombированного вагона», допустило величайшую глупость.— И удалился.

Зиновьев остался стоять, не шелохнувшись

* * *

В коридоре учреждения писателя дождался Шаяпин. Пытливо взглянув на друга, он усмехнулся:

— Я предупреждал: Анфельбаум никогда не станет извиняться перед Пешковым.

Алексей Максимович досадливо подернул плечами и пошагал к выходу по мраморной лестнице. Шаяпин, спускаясь следом, кивком указал ему на встречаемых и попутных чиновников и чиновниц Петроградского Совета.

— Взгляни...— тихо проговорил он,— кто заплонил все эти организации. Чует мое сердце, русская революция закончится колоссальным погромом.

Писатель нёрвно улыбнулся и отрицательно покачал головой.

Уже на улице он сказал:

— Твой антисемитизм, Федор, мне неприятен. Не в евреях дело И даже, предполагаю, не в большевиках.

— То есть как?..

— А так, что большевизм — это понятие пошире да, пошире, чем сами большевики. Это, Федя, — русские «мозги набекрень», его «толстовщина» и «достоевщина», это наше — «авось куда-то вывезет», «была не была!», это стихия... да, темная стихия крестьянской массы, в которой веками копилась ненависть к барам. Она всегда была, Федор но в узде и в вожжах, а теперь ее выпустили, и произошло сокрушение всего Топорами... Эта стихия стала крушить не только поместья, но и подлинную свою народную культуру. «Раззудись плечо», «всё позволено» — вот корни нашего национального большевизма. А большевики что? — они игроки-авантюристы! Оседлали эту беспредельную стихию, эксплуатируют в своих целях и, погоняя ее, делают вид, что управляют. А на самом-то деле — нет Вот что страшно, Федор.

Рядом с подъездом Петроградского Совета стояло роскошное авто, с кожаными сиденьями, с небрежно брошенной на них богатой меховой полостью За рулем сидел непроницаемый шофер

— Милейший, — обратился к нему Шаляпин, — подбрось нас на Коңюшенную.

— Перебьешься, — ответил тот. — Это авто товарища Зиновьева.

— А я — Шаляпин!

— Вот именно, — согласился водитель. — Не велика птица

Горький хихикнул и придержал проезжающего извозчика.

Уже в коляске, сидя рядом с другом, Шаляпин мрачновато проговорил:

— А всё ты!

— Не понял?

— Помнишь, еще на Капри я собрался вступить в их партию, так ты отговорил?

— Ну?

— Что «ну»? Сейчас бы ездил на таком авто.

— Сомневаюсь, — сказал писатель — Однако возможно, но... при одном условии

— Каком?

— Чтобы на всех их заседаниях ты пел «Интернационал».

Друзья рассмеялись. Извозчик, прислушивающийся к их разговору, вдруг гоготнул тоже.

— Н-но, большевичка проклятая! — Он стегнул кнутом лошадь. — Все равно скоро упадешь.

Навстречу, по тротуару, конвой вел очередную группу арестованных.

Шаляпин, вместе с Горьким проводив ее взглядом, сказал извозчику:

— Боюсь, твоя кляча еще долго проживет.

Тот промолчал.

Петроград был завален грязным подтаивающим снегом, был уныл, почти пуст — встречались лишь отдельные пугливые прохожие, то тут, то там стояли трамваи без тока, на стенах домов и заборах трепетали под мартовским ветром лохмотья оборванных, еще дооктябрьских плакатов. Один частично уцелел — на фоне черных силуэтов зданий и заводов высилась огромная красная фигура Ленина с вытянутой рукой, но без головы. Под ним стояла надпись «ВСЕ ДОЛОЙ!»

На проплывающем фасаде учреждения Шаляпин вслух прочел вывеску:

— ЖОПС... Что за чудо?

— «Жилищный отдел Петроградского Совета»,— расшифровал извозчик.

— А вот...— указал писатель.— САН-СЛУ-ПО-ЛИК-ДОМ-ЖИВ. Какой же это язык?

— Китайский,— подсказал извозчик.— «Санитарная служба по ликвидации домашних животных»...

Сойдя следом за Горьким с коляски и расплачившись, Шаляпин сказал:

— Чик!

— Чевоись? — Извозчик его не понял.

— «Честь имею кланяться!»

— Ловко! — похвалил тот. И поманил друзей ближе.— А слышали, как разгадывают ВЧК?

— Нет... Валяй!

— «Всякому человеку... капут».

Артист и писатель дружно расхохотались...

* * *

Наркомюст Штейнберг — человек в очках и в шевелюре — спустил из бачка воду и вышел из туалета в коридор.

— Это омерзительно! Да, омерзительно! А вы — министр юстиции — воспринимаете это как бытовой факт!..

Штейнберг прижался к стене, у него слабым тиком задергалась левая щека.

— Я требую!.. — Перед ним стоял взволнованный, бледный Горький. — Я настаиваю, чтобы члены Временного правительства были выпущены на свободу немедленно. Не то с ними случится то, что с Шингаревым и Кокошки-

ным — самосуд матросни! Вот Шаляпин... — Писатель обернулся за поддержкой к своему другу. — Он тоже считает это позором для революции!

Артист сурово взглянул на наркома и согласно наклонил голову.

— Господа... товарищи, — пробормотал Штейнберг. — Я сочувствую... Я обещаю сделать все, что можно. И, вероятно, даже сегодня...

Выйдя из министерства юстиции, Горький сам себя успокоил:

— Нет, он поможет... Давай теперь к Урицкому, насчет царской четы.

— Но на что тебе я? — спросил Шаляпин. — Опять играть роль манекена?

— А чем она плоха?

— Я все же не самый последний артист.

Писатель хитро сощурился.

— Сам говорил: нет маленьких ролей, есть бездарные исполнители. А ты еще не того...

— В смысле?

— Недоигрываешь. Стоишь истуканом и киваешь.

— А что же прикажешь делать?

— Хмурься, шевели бровью. Эдак, по-мефистофельски... Не мне тебя учить.

— Это точно, — едко заметил Шаляпин. — Черт с тобой, идем!..

* * *

Нарком юстиции, изучая проект воззвания «Социалистическое отечество в опасности», напряженно поинтересовался:

— Кто это писал?

— Я! — с легким вызовом откликнулся Троц-

кий. Скрестив на груди руки, он насупленно стоял за спиной Ленина.

Вождь сидел за столом в своем кабинете в Смольном и наскоро брился перед небольшим зеркальцем, приставленным к чернильному прибору.

— С подобным пунктом: «уничтожить на месте всякого, кто будет оказывать помощь врагам»,— я решительно не согласен,— заявил Штейнберг.

— Почему? — быстро, не отрываясь от бритвы, спросил Ленин.

— Эта жестокая угроза нарушает пафос революции.

— Наоборот! — Вождь вскочил с одной недобритой щекой.— Именно в этом настоящий революционный пафос,— он иронически передернул ударение,— и заключается. Неужели же вы думаете, что мы выйдем победителями без жесточайшего террора?

— Да, но...

— Никаких но! — С опасной бритвой в руке, Ленин кругами заходил вокруг Штейнберга.— Всякие проявления прекраснодушия, маниловщины — в данный момент, когда немцы двинулись к Петрограду, преступны! Террор неизбежен, и вы...

— И все-таки позвольте! — вдруг нервно вскричал наркомюст.— С фронтом мне еще понятно, но зачем было арестовывать новых членов Временного правительства и тем самым опять возбуждать против себя общественность? — У него опять задергалась в тике щека.

Вождь резко остановился.

— Кто эта... общественность?

— Люди всем известные. Например, Горь-

кий... Он был сегодня у меня с Шаляпиным, и оба глубоко потрясены.

Ленин хмыкнул и, ничего не ответив, вопросительно взглянул на Троцкого.

Тот, недоуменно пожав плечами, проговорил — Вероятно, опять чья-то самодеятельность Я разберусь.

Вождь вернулся к столу добриваться. Спустя долгую паузу он сказал Штейнбергу:

— Этих мы освободим. Но не воображайте, что мы сможем совершить революцию по-доброму, по-хорошему. Вы явно не отдаете себе отчета в чудовищной трудности задач, которые могут быть разрешены лишь мерами чудовищной же энергии. Диктатура... — Ленин усмехнулся — Буржуазная шваль пишет о нас, как о диктаторах..

— Писала,— едко поправил его министр юстиции.

Вождь снова вскочил, но остался стоять, упершись руками в стол.

— А вы, я вижу, сожалеете об этом? Напрасно! У нас, к несчастью, по сей день никакой диктатуры! Покажите ее! У нас — пока каша, а не диктатура! — У него остались намыленными уши — Если мы не умеем расстрелять саботажника-белогвардейца, то какая же это великая революция? Одна болтовня и каша! — Он сел обратно

Воцарилось продолжительное молчание. Штейнберг, подавленно уставившись в пол и продолжая дергать щекой, спросил:

— Я могу считать себя свободным?

— Да,— неприязненно ответил Ленин.— И, будьте так любезны, изучите наше воззвание по-внимательней!

Наркомюст, не прощаясь, удалился вместе с бумагой.

— Каков субъект, а? — Вождь тут же показал в его сторону Троцкому. — Станным ветром заносит таких в революцию, а нам приходится их пока терпеть. — Он опять вышел из-за стола, раздраженно заходил по кабинету. — Архискверные у нас дела, Лев Давыдович. Вчера еще крепко сидели в седле, а теперь только лишь держимся за гриву. Немцы, беяки, нет отлаженного госаппарата, Россия разваливается, каждый уездный город может заявить о неподчинении, избрать свой совнарком и объявить себя республикой, а у нас — эта проклятая обломовщина и слюнтяйство! Наводите порядок. Беритесь за дело как следует!

— Да, — твердо заверил Троцкий. — Непременно. — И, взяв со спинки стула полотенце, протянул Ленину.

— Что это? Зачем?

— У вас уши в мыле.

Вождь взял его, вытерся, со слабой улыбкой сказал:

— Уши что, не намылили бы для нас веревку...

* * *

В этот же день Федор Шалапин, устало волоча ноги, возвращался домой неосвященным переулком. Из мрака перед ним выросли четыре молчаливые тени. В бушлатах и бескозырках.

— Вы чего... матросики? — спросил он как можно ласковей. — Или хотите что?

— Ты гляди! — пробасил один из них. — Шубато разговаривает!

— Ага! — с хихиканьем согласился тенор. — И руки, ноги торчат. А где голова-то?

— Не видать, — подтвердил третий.

Четвертый потянул с плеча Шалапина шубу.

Артист ударил его по руке, возмутился:

— Вы что, сбрендили? Да я — Шаляпин!

— Во, чудеса! — снова удивился бас. — Шуба сама свое фамилие называет. Слыхали о таком?

— Еще бы! — ответил тенор. — По этой буржуйской харе давно ВЧК плачет. Шубу, братва, он у Ленина спер!

— Чего плетете, ребята? Я певец Мариинского театра. «Дубинушку» на пластинке слышали?.. — Это я!

— Покажь документ.

— С собой не ношу.

— Тогда скидай доху.

— Да что она вам далась? Я уж и засалил ее, и в одном месте табаком прожег.

Бас вплотную надвинулся на Шаляпина.

— Как посмел, контра? Ленин в Смольном зубами клацает, а ты, мало что в его шубе брюхо греешь, еще и поганишь?

Артист понял, что дальше препираться бессмысленно и, размахнувшись, собрался садануть кулаком предводителя, но был схвачен сзади за руку и подножкой повален на подледеневшую лужу. Все четверо набросились на него сверху и, с треском стянув шубу, прилично отдубасили. Затем поднялись.

Шаляпин, задыхаясь от борьбы и бессильного гнева, остался сидеть раздетым в проломленной луже.

«Бас», стянув бушлат, надел на себя шубу, спросил:

— Ты и взаправду Шаляпин?

— Ну?

— А ну, спой!

— Зачем?

— Если не врешь, доху отдадим.

Артист с трудом встал на ноги.

— А что петь?

— «Интернационал» можешь?

Шалапин заколебался, но уж больно жалко было шубу. Втянув через нос морозный воздух, он во всю мощь затянул:

— «Вставай, проклятьем заклеянный

Весь ми-ир голодных и рабов,

Кипит наш разум возмущенный

И в смертный бой иди го-отов»,— и умолк.

— Во, глотка! — поразился тенор.— Похоже —

Шалапин!

Предводитель задумался:

— Как быть, братва? С одного боку вождь революции мерзнет, а с другого — такое горло осипнет?

— Ты ему бушлат подари! Для народа — он и в нем расстарается.

— На-ка! — Он комом бросил в руки артисту свою потертую одежду.— Да гляди не просту-жайся.

Матросики гоготнули и, как возникли, так же внезапно исчезли в темени.

Посрамленный Шалапин остался стоять в луже с чужим бушлатом, круто наклонив на грудь голову. Шаги грабителей затихли. Он вскинул лицо и далеко в глухую ночь яростно закричал:

— Ироды!.. Волчье вы семя! В вас и русского уже ничего, псы окаянные!..

Ему ответило собственное эхо, тут же утонувшее в непроницаемом мраке.

Зашвырнув от себя в ночь одежду, артист раздетым побрел дальше... Морозец продирает все больше, Шалапин ускорил шаг и, согреваясь, пошел, как на параде, размахивая руками и высоко поднимая ноги... И вдруг во всю мочь вновь рявкнул «Интернационал», но уже на иной манер:

— Это есть наш последний
И решительный бой!
С интер-на-ци-она-лом
И сгинет род людской...

* * *

Немецкие войска опасно близко подступили к Петрограду, и новое правительство, по инициативе вождя, решило перебазироваться в Москву. Этот переезд вызвал среди большевиков немало трений. Одни расценивали это как дезертирство из Петрограда основоположника Октябрьской революции. Другие тревожились, что рабочие этого не поймут — Смольный стал синонимом Советской власти, нельзя его ликвидировать. Ленин буквально выходил из себя: «Что вы каркаете о символическом значении Смольного? Смольный — потому и Смольный, что мы в Смольном. Если немцы одним скачком возьмут Питер и нас в нем, то революция погибла. Если же правительство в Москве — искушение захватить Петроград уменьшится. Какая корысть оккупировать голодный революционный город, если это ничего не решает?»

Переехав в Кремль, вождь ввел особые «тройки» ВЧК, которые уже без суда и следствия начали расстреливать саботажников и потенциальных врагов Советской власти. Затем назначил новые выборы в Советы, на которых большевики снова с треском провалились. Победили эсеры, на втором месте по числу набранных голосов оказались меньшевики. Мария Спиридонова, формируя уже новое правительство, «брала» в него из прежнего состава одного Бухарина и «левых коммунистов», напрочь исключая Ленина и Троцкого.

Большевики остались верными самим себе:

как в свое время они разогнали Учредительное собрание, оказавшись там в меньшинстве, так и триумф эсеров ленинцы объявили недействительным. Все по тому же принципу: «накося выкуси!» Заключив «похабный» Брестский мир, они опять крепко «сели в седло» и особенно приободрились после смерти Корнилова. От шального снаряда он погиб под Екатеринодаром.

В период гражданской войны этот город время от времени переходил то к одной, то к другой стороне. Когда Екатеринодар в очередной раз захватили красноармейцы, они раскопали могилу Корнилова, вытащили гроб и, вытряхнув из него труп генерала, привязали его за ноги длинной веревкой к крупу лошади. С гиканьем, со свистом и с хохотом красные бойцы принялись волочить изуродованный труп по всем улицам и закоулкам, на страх и в назидание местным обывателям...

В другом месте России все происходило наоборот: белые красных закапывали. Притом живыми и вниз головой. Оставляя не зарытыми ноги по колени, они с мстительным весельем наблюдали, кто дольше протянет — то есть который из них позже всех перестанет дергаться...

Если Октябрь явился первым актом гражданской войны, разгон Учредительного собрания — вторым, то март 1918-го, когда в ответ белая гвардия развернула движение по спасению России от «германо-большевиков», — стал третьим. И самым страшным. С этого времени российский народ принялся с упоением уничтожать самого себя...

* * *

Выйдя из дому, Горький обошел на тротуаре палую лошадь, уже наполовину кем-то съеден-

ную, и, переходя дорогу, заметил подъехавшего на извозчике Шаляпина.

— Ты куда? — спросил артист.

Алексей Максимович расстроено махнул рукой:

— Дог пропал!

— Когда?

— Со вчерашнего вечера.

— Так ты искать?

Писатель мотнул головой и, отвернувшись, понуро поплелся дальше.

— погоди... — Шаляпин нагнал друга. — Я с тобой. А то чумной ты какой-то, ненароком под авто угодишь... — И с легкой ехидцей прибавил: — Товарища Зиновьева.

Горький косо и тоскливо посмотрел на него.

— Без шубы остался — а все шуточки. Да для меня Булька... Что тебе объяснять — ты толстокожий.

Оба принялись бродить по разным дворам, улицам, помойкам и поочередно выкликать пса. Дога нигде не было.

Они вышли в сквер с голыми деревьями и большими лужами от таявшего снега.

— Булька, Булька!.. — опять зычно позвал артист. — Булька!..

Алексей Максимович шел рядом, прямо по воде, и угрюмо смотрел под ноги.

— Давай сядем, — предложил Шаляпин, — а то уж ноги гудят

Писатель механически покорился и опустился подле него на сырую скамейку.

— Будет тебе убиваться, — сказал артист. — Глянь, солнышко всюю пригревает. Наши мужички на Волге к севу небось готовятся да сети чинят

— Угу,— отрешенно откликнулся Горький. И мрачно добавил:— Не люблю я их.

Шаляпин широко ухмыльнулся.

— Зато в собаках — души не чаешь.

— Чем ты меня попрекаешь?!— Горький вдруг вскипел.— Нашел, что сравнивать. Мужик твой сеять-то сеет, а вот грабит, курочит да убивает — куда с бóльшим удовольствием. Крестьянство — наказание России. От него у нас весь смрад и все невежество. Не только не люблю — ненавижу! Особенно кулачье.

Друг грустно и продолжительно покачал головой.

— Умный ты, может, умный, а все же дурак, Алеша. Кто мы-то с тобой? Мужики и есть.

— Врешь! Мой отец был управляющим крупной паровой конторы.

— О-хо-хо! Какие мы гордые! А дед его или прадед — все одно был мужик. И у меня так же.

— Ты ничего не смыслишь в политике и в теории о классах. И мелешь чепуху. Ты давно принадлежишь к интеллигенции. Да еще к привилегированной.

— На твою политику мне чихать. Это ублюдство: смотреть, какого человек класса или в какой партии. По мне, важно, как он поступает. А все ваши теории и дразги из-за них отрицают в жизни самое ценное: гармонию.

— А при чем тут мужик?

— Мужиком жила и, уверен, будет жить Россия. Ибо он — и есть ее самое естество, от которого произойдут и лекари, и пекари, и ученые, и даже министры. А вы — революционершники — поставили его кверху задом, взбаламутили и теперь его же вините во всех бедах.

— Ты что же, и меня в большевики зачислил?

— Тебе, Алеша, не надо бы лезть в политику. Ты писать умеешь — вот что я скажу.

— Отчего же... не лезть?

— Гиблое дело. Это тебе не как в детстве — перед поездами бегать. Булька, Булька, Булька! Буль-ка!..

К друзьям приблизилась проходившая мимо старорежимная старушенция в пенсне и в игривой шляпке.

— Господа, простите, что нарушаю ваш тет-а-тет, но вы, как я догадываюсь, разыскиваете дога?

— Да!..— Писатель встрепенулся.— Вы видели?..

— Пятнистый?..

— Он самый!

— К сожалению, не могу вас порадовать. С него сняли кожу, разделали на куски и сварили в котелках. Во-он... у того тополя.— Она показала в конец сквера.— Этой ночью они разводили свой очаг там.

— А кто? — спросил Шаляпин.

Старушенция высокомерно повела плечами.

— Разумеется, наши мужички-рэволюционеры.— С прямо поставленной головой, она отправилась дальше, обходя лужи, в ботинках с высокой шнуровкой, на каблуках.

Горький стиснул кулаками веки.

— Вот оно, Федор...— сказал он с болью,— истинное естество твоего мужика.

Друг подавленно молчал...

* * *

Нева вскрылась, по реке пошел лед...

В Петропавловской крепости, отбивая истекший час, бухнула пушка.

Шаляпин, в очках, в расшитом халате, в турецких шлепанцах на босу ногу, сидел в кресле и просматривал газеты.

Из соседней комнаты сквозь приоткрытую дверь доносились голоса разыгравшихся детей. Супруга артиста, женщина с характером, накрывала вместе с пожилой прислугой стол к обеду. Заглянув в детскую, она покачала головой и плотно прикрыла дверь, оберегая от шума мужа.

— Мари Лентинна,— не отрываясь от чтения, сказал ей Шаляпин,— ты погляди, как наш Алексей Максимович опять разбушевался.— Он вздернул и расправил газету «Новая жизнь».— «...Ленин похож на алхимика, который экспериментирует с кровью рабочего класса...» Каково!

— Напрасно он дразнит гусей,— неодобрительно заметила Мария Валентиновна.— Рано или поздно они его заклюют.

— Похоже,— согласился супруг.— Послушай, каким тоном выговаривает ему какой-то И. Сталин: «Русская революция ниспровергла немало авторитетов... Мы боимся, что Горького «смертельно» потянуло к ним, в архив. Что ж, вольному воля! Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов»... Кто это такой — Сталин?

Жена равнодушно пожала плечами. В квартиру позвонили, она ушла открывать... Обратная Мария Валентиновна вернулась с двумя солдатами, при ружьях со штыками, и с маленьким человечком во френче и с разбухшим портфелем.

— Та-ак-с...— протянул он, по-хозяйски оглядев столовую.— Значится, тут и прописан у меня господин Шаляпин.— А это что за арсенал? — Он строго указал на стену, где висели старые копья, ружья и пистолеты.

— Не бойтесь, они не стреляют,— любезно

ответил артист.— Это коллекция, подаренная Алексеем Максимовичем.

— Кто такой?

— Не важно. Вы-то сами кем являетесь?

— А вы не соображаете?

— Как ни пытаюсь...

— Советская власть! Ваш преддомкома, товарищ Фиш. А проще — «домовой». — И сам же засмеялся.

Шаляпин натужно улыбнулся и, пристальной взглядевшись во «власть», поллюбопытствовал:

— А не вы ли тот самый парикмахер, что напротив бывшей булочной..

— Был! — оборвал его товарищ Фиш.— Теперь я уполномочен стричь прежних господ под другую гребенку.

Мария Валентиновна вступила в разговор:

— Мы как раз собираемся обедать, не желаете ли?

«Домовой» вопросительно посмотрел на солдат.

— Что скажет наш революционный пролетариат?

Они, потоптавшись, ответили:

— Оно можно.

Прислуга разлила из супницы по тарелкам бульон, незваные гости усердно принялись за еду.

— Э!..— сразу осек солдат товарищ Фиш.— Не сербать. В господских хоромаш такое не принято.

— Да будет вам,— благодушно проговорил Шаляпин.— Пустяки. Вы к нам по какому делу?

«Домовой» поднял на хозяина мертвые зрачки и, по складам, отрезал:

— Когда я ем, я глух и нем.

Артист и супруга тревожно переглянулись, дальше обед прошел в гробовом молчании. Лишь

один раз за все время товарищ Фиш, проводив взглядом прислугу с грязной посудой, произнес:

— А у них и прислуга.— И вновь замолк.

Допив компот, он со стуком, как точку, поставил на стол пустой стакан и, далеко отшаркнув от себя стул, поднялся.

— Значится, так, Мария Валентиновна, по первому мужу Петцольд... Я правильно называю?

Она подтвердила это скованным кивком головы.

— Распоряжением нашего домкома вам надлежит завтра в 6.00 явиться на второй причал Васильевского острова для разгрузки дров с потопленной в революционной Неве баржи.

— Как?..— только и выдохнула Мария Валентиновна.

— А так,— нравоучительно сказал товарищ Фиш,— что в социалистическом обществе все равны и должны помогать друг другу. Так что пожалуйте-с — и с прислугой.

— Помилуйте...— промямлил ошарашенный Шалапин,— да вода-то... Она, может, и революционная, но еще ледяная, а у супруги жесточайший радикулит.

— А вам, господин Шалапин, велено в недельный срок выплатить контрибуцию в пять миллионов народных рублей, из тех денег, что вы упрятали от трудящегося класса в Ялтинском банке.

— Вы с ума сошли!..— Артист вскочил.— Какие миллионы? У меня двое детей, семья, я ежедневно трачу на дом около шести тысяч рублей и еле свожу концы с концами. Да где они у меня?

— А вот мы их сейчас и поищем!

— То есть?..

— Ознакомьтесь.— «Домовой» протянул хо-

зяину квартиры мятую бумажку.— Санкция на обыск вашего, так сказать, богемного логова.

— Идиоты!..— закричал Шаляпин.— Да вы просто круглые болваны!.. Ищите!..— Он в отчаянии опустился в кресло.

Мария Валентиновна, приблизившись, положила ему на плечи руки и молча стала успокаивать.

Дети за столом онемели.

Домовой комитет поднял в квартире все ковры, перетряс портьеры, ощупал подушки, заглянул в печку.

Товарищ Фиш вышел на балкон.

— Ага! А здесь целая батарея!

— Это вино! — крикнула из глубины квартиры Мария Валентиновна.— Обычное вино, среднего качества.

— Забрать! — «Домовой» показал на него одному из солдат.

Другой принялся на углу обеденного стола составлять опись.

— А тут, значит, господин Шаляпин шары гоняет? — Товарищ Фиш отворил дверь в бильярдную.

— Не скрою! — с вызовом откликнулся из кресла артист.— Занимаюсь этим буржуазным делом! По какому праву вы вино изымаете?

— По праву угнетенного революционного пролетариата! Гриша, записал вино?

— Записал,— угрюмо ответил Гриша.

— Правильно записал бутылки?

— Правильно. Тринадцать.

— Теперь вот это...— Преддомкома взял с бильярдного сукна колоду карт.— Так и отметь: развлекается в буржуазный бридж.

В спальне, в ночном столике, он нашел револьвер.

— Но позвольте! — Шаляпин опять вскочил.— У меня есть разрешение на ношение этого револьвера... Вот, смотрите: бумага с печатью.

Зрячки товарища Фиша вновь стали мертвыми.

— Какой системы, гражданин, ваш револьвер?

— Ну, «Веблей Скот». А что?

— Пиши, Гриша, системы библейской.— И сунул его в карман.

Артист подкошено сел на постель, сказав:

— Ладно... Я на вас, закулисных революционеров, управу найду!

Покидая квартиру с «трофеями», преддомкома опять показал на стену со старинным оружием.

— А эту нелегальщину сдать в двадцать четыре часа! Не то завтра, в этот же час,— он постучал ногтем по стеклу напольных часов,— вы будете арестованы.— И удалился...

* * *

Ленин сидел на стуле, поджав под себя одну ногу, и, примостившись на углу тумбочки, что-то быстро записывал на клочке бумаги при свете ночника. Он был уже в нижнем белье.

Спальня была погружена в полумрак, в ее дальнем углу на широкой кровати высилось под одеялом грузное тело его супруги. Крупская смотрела в потолок, взгляд ее был тяжел и неподвижен. Повернув к мужу голову, она произнесла:

— Довольно, Володя.

— Да, да,— рассеянно отозвался тот.

Супруга подавила вздох и, выждав паузу, вновь сказала:

— У тебя головные боли, потому что ты регулярно недосыпаешь. Ложись.

— Минутку, Надюша. Сейчас. Нельзя упустить эту мысль. Я их ударю в самое темя — и так, чтоб навсегда!

Вождь исписал клочок и пошарил глазами по комнате в поисках новой бумаги. Дотянувшись до этажерки, он взял первую попавшуюся книгу, раскрыл и на внутренней стороне обложки продолжил записи. В потаенной тишине спальни он вдруг отчетливо услышал:

— Володя, как ты думаешь, почему бог не дал нам детей?

Как не был увлечен Ленин, он опешил.

— Надя,— тихо проговорил он.— Что ты такое говоришь?.. Какой бог?

Крупская, не скрывая раздражения, ответила:

— Не от Карла же Маркса они появляются?

Ленин снял ногу со стула, встал и, приблизившись к ней, сел на край постели.

— Что с тобой происходит?

Супруга отвернула от него на подушке голову.

— Извини, у меня вырвалось.

Муж подавленно откликнулся:

— Да, я понимаю. Но разве мы с тобой...

— Не надо! — резко прервала его Крупская.— У меня просто глупое женское настроение. Прошу, не будем больше об этом.— Она и вовсе отвернулась от него и, уткнувшись лицом в подушку, застыла.

Ленин остался сидеть на прежнем месте, не зная, что теперь делать.

— Пожалуйста,— вдруг глухо попросила супруга.— Погладь меня, как раньше, по голове.

Муж застыл, затем медленно протянул к ее седым волосам руку и бережно, с паузами, стал водить по ней ладонью — от кончика лба до затылка...

Крупская на 15 лет пережила мужа и умерла в 1939 году. Умерла, не болея, «внезапно», после «чаепития с друзьями». Умерла после того, как выступила в печати с заявлением, что Ленин был бы против, чтобы его забальзамированный труп положили в Мавзолей, подобно египетскому фараону, и когда в кругу близких обронила фразу: «Живи Володя сегодня, он оказался бы в сталинской тюрьме»... До сих пор ходят легенды о романах Ленина с Инессой Арманд и Александрой Колонтай. Скорее, это из области фантазии. Можно предполагать, что Ленин, по-своему, любил Крупскую (если он вообще мог любить), кроме того, ему всегда было не до женщин, а потом, к понятию «любовь» он относился довольно своеобразно. Вот что писал Ленин по этому поводу той же Инессе Арманд: «...Вы не делаете разницы между пролетарской любовью и любовью буржуазной. Дело не в том, что вы субъективно хотите понять под этим. Дело в объективной логике классовых отношений в делах любви». Так что — какой уж тут, к сожалению, роман...

Ленин осторожно отнял от головы Крупской руку и по ее ровному дыханию понял, что она уснула. Он без скрипа поднялся и на цыпочках, вкрадчивыми шагами, направился обратно к своим записям...

* * *

Шляпин нервно прохаживался перед зданием с пугающей вывеской «Чрезвычайный Комитет Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов». Обыватели, приближаясь к этому дому, переходили на другую сторону улицы. На всякий случай.

Из подъезда ЧК появился Горький. Улыбающийся.

— Все хорошо. Урицкий пообещал вернуть даже вино.

— А с баржей?

— И с ней, и с контрибуцией — все отлажено. Вот с «револьвертом» придется погодить. — Писатель вдруг лукаво подкрутил ус. — Но, как другу: сколько все же у тебя от народа припрятано миллиончиков?

— И ты туда же!

— Ладно, пошли, — Алексей Максимович взял Шаляпина за плечо и повел прочь от неприятного учреждения. Затем, вспомнив его недавний упрек, буркнул:

— А ты, брат, советовал не лезть в политику...

* * *

4 июля 1918 года, в Финляндии скончался зачинатель марксизма в России — Георгий Плеханов, резко осудив октябрьский переворот. Можно сказать, он предвидел его заранее, дав за много лет до него личностную оценку Ленину: «Как только я познакомился с ним, я сразу понял, что этот человек может оказаться для нашего движения очень опасным, так как его главный талант — невероятный дар упрощения...».

Вскоре после смерти Плеханова был убит Володарский, затем Председатель Петроградского ЧК Урицкий. В ответ питерские рабочие потребовали объявить массовый террор всем контрреволюционерам. Питерская «Красная газета» 31 августа написала: «За смерть нашего борца должны поплатиться тысячи врагов. Довольно миндаляничать. К террору живых. Смерть буржуазии —

пусть станет лозунгом дня». Подобной волны ярости испугался даже Зиновьев. Он вынес постановление: «Удержать пролетариат от мести, пока не будет в этом необходимости»...

* * *

Глаза Ленина стали белыми, его заколотило от бешенства:

— Как вы посмели?! Протестую решительно! Мы грозим в резолюциях массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс? Это не-воз-можно! В глазах террористов — мы теперь тряпки! Архитряпки!

Зиновьев стоял перед вождем, опустив голову, точно провинившийся гимназист:

— Но мы предполагали...

— Педерастия!..— еще сильнее закричал на него Ленин.— Вот это ваше — «предполагали». Сбить с ног! Взять эту дрянь за горло и похоронить! И не смейте рассусоливать! Возвращайтесь в Питер и на всех парах поощряйте энергию пролетариата и массовидность террора! — Отвернувшись от соратника, он зашагал прочь по дорожке кремлевского садика.

— Но, Владимир Ильич,— председатель Петроградского Совета нагнал его и пошел рядом.— Войдите же в положение. При таком общественном климате...

Вождь остановился и больно ткнул Зиновьева в грудь пальцем.

— Климат — обязаны создавать вы, а не какая-то общественность. Вот ваш основной промах!

— Я и пытаюсь. Однако Горький...

— Что — он? Конкретно?

— Его газета буквально нас травит. Ежедневно.

— А вы — бейте тоже! И так, чтобы в другой раз ему неповадно стало. Смешно — в ваших руках вся печать, а вы жалуетесь на один жалкий листок.

— Но он и вас не шадит, Владимир Ильич.

— Знаю. Читал. Но отлично его понимаю. Он остался гуманистом абстрактным, а мы — стали конкретными.

— И что же?..

Ленин подцепил соратника за рукав и повел дальше по дорожке.

— Простите за прямоту, Григорий Евсеевич, но этот человек сработал на революцию, как никто из моих ближайших помощников. Что стоит одна его «Мать»! Роман дрянной, но он всколыхнул все рабочее движение в России. Не согласны? Убежден — рано или поздно, Горький к нам вернется.

Зиновьев поджал губы и так, не отвечая, некоторое время шел подле вождя молча. Наконец проговорил:

— Боюсь быть неверно понятым, но он прямо обвинил нас в получении у немцев денег на революцию.

Ленин замер.

— То есть как?.. Публично?

— Нет. При личном разговоре.

Вождь хмыкнул и, оглядевшись, присел на железную резную скамью. Лицо его стало жестким и предельно сосредоточенным. Он уставился перед собой в какую-то невидимую ни для кого точку.

Зиновьев, наблюдая за его реакцией, остался стоять...

После второй мировой войны американская армия нашла спрятанный в различных замках Германии весь архив министерства иностранных дел,

в котором имелись тысячи официальных документов, касающихся связей между большевистскими лидерами и правительством кайзера. Из них с абсолютной несомненностью видно, что октябрьский переворот Ленина финансировался из Берлина. Вот только два таких документа... Германский статс-секретарь фон Кюльман телеграфирует 29 сентября 1917 года своему представителю при Ставке:

«Наш главный интерес — это усилить в России националистические и сепаратистские стремления и оказать сильную поддержку революционным элементам. Совместная работа дала осязаемые результаты. Без нашей непрерывной поддержки большевистское движение никогда не достигло бы такого размера, которое оно имеет сейчас».

А от 3 декабря, уже после переворота, он же сообщает:

«Лишь тогда, когда большевики начали получать от нас постоянный приток фондов через разные каналы и под различными ярлыками, они были в состоянии поставить на ноги их главный орган — «Правду», вести энергичную пропаганду и значительно расширить первоначально узкий базис своей партии. Большевики теперь пришли к власти. Как долго они ее удержат — невозможно предвидеть»...

Лицо Ленина, недвижимо сидевшего на железной скамье против Зиновьева, выглядело как бы окаменевшим. Наконец у него дернулись бровь, крылья носа, а острые зубы прикусили верхнюю губу.

— Да,— озадаченно пробормотал он,— не хочется... Ужасно некстати, но, вероятно, придется окорачивать и нашего «буревестника»...

Иван Петрович Павлов, с кием в руке, нацеленно ходил быстрыми, короткими шажками вокруг бильярда и, выискивая для удара шар, энергично говорил:

— ...Если то, что делают большевики с Россией, есть эксперимент, то для такого эксперимента я пожалел бы дать даже лягушку! Все их зло не в расстрелах, не в голоде, не в физической разрухе. А в разрухе — души русского народа. История, коллеги, это не механическое время — это внутренняя связь всех предыдущих и последующих поколений, это непрерывное развитие народной души. А они в эту душу вонзили «нож пушоты». Но Бог, — академик ударил наконец по шару, — он все запомнит, все сохранит. Черт, опять не попал!

Горький и Шаляпин перемигнулись. Оба любили Ивана Петровича и чуть потешались над его детской непосредственностью.

— Ваш удар, классик, — напомнил Павлов Алексею Максимовичу.

Тот согнулся над столом и аккуратно и не сильно вогнал шар в лузу.

Старик всплеснул руками:

— Господи, как я вам завидую! А я — бездарный осел!

Третьим пробил Шаляпин, но тоже промахнулся.

— Ага! — Академик опять заходил кругами, выбирая теперь «верняк». — И потом, — он заговорил снова, — сама идея об «окончательном решении» всех проблем общества — чистейшая химера. Добро всегда конфликтует с добром, а не одно зло — с добром. Такова природа. Например,

свобода сильного и слабого, данная обоим в одинаковой степени,— она напрочь исключает между людьми равенство.

Горький уточнил:

— Сие надо понимать так, что вы не верите в прогресс социальной справедливости?

— Эта вера — безумие. Сон наяву! Умопомешательство! И первый сумасшедший в России сегодня — Ленин.

— Но что вы предложите взамен, профессор?

— Ничего! Нормальное человеческое бытие. Эволюцию. Тот самый таинственный процесс, который от нас, к счастью, не зависит.

Писатель усмехнулся.

— Не густо. Но главное — тоскливо. Не знай я вашего подвижничества, обвинил бы вас в самом отпетом мещанстве.

— Ваша нашумевшая борьба с мещанством, классик, вылила много воды на мельницу большевиков.

— В каком смысле?

— Да уж в самом что ни на есть прямом. Они так же презирают маленького человека, так же восстают против «страшного греха» людей — обрести покой.

— Но, простите,— это замечание Алексея Максимовича задело.— У нас совершенно разные средства: мое перо и их пуля в лоб — это несопоставимо.

— А суть? Вы и они ни во что не ставите обычное человеческое счастье. Вам подавай вечный бунт и сверкающие выси. А строй души «мещанина», которого вы дружно хаите,— основа созидательной жизни.

— Умница! — воскликнул Шаляпин.— В самое яблочко вы его, Иван Петрович.

Академик безапелляционно подтвердил:

— Я всегда только так и мыслю. Мещане,— он вновь повернулся к Горькому,— ими были ваши дед с бабкой. Неужто и их клеймите?

Писатель весь как бы взъерошился.

— Вы, пожалуйста, не передергивайте. Я не люблю не простого человека, а свино-человека, который мечтает об одном, чтобы ему не мешали творить свое свинство.

— Романтизм! Иллюзия! Человек, которого вы намерены любить — выдуманный. А такового чуда — стопроцентной одухотворенности жителей планеты Земля — никогда не будет! Вспомните «Библию». Она начинается с того, что человек — существо, падшее с небес. И таким всегда был и останется. И именно так его и следует воспринимать. Горько, тоскливо? — может быть. Но зато это реальность. И самый роковой грех всех мечтателей в том, что они не желают любить человека таким, каков он есть. А ваше знаменитое: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой», — именно оно и роднит вас с большевиками.

— Ложь! Неверно! — Алексей Максимович, отбросив кий, отошел к окну и, закурив, глубоко затянулся.— Они авантюристы и властолюбцы. И все их действия — отнюдь не стремление к совершенству.

— Обиделись? Напрасно.— Павлов безоблачно улыбнулся и, ударив в очередной раз по шару, наконец угодил в лузу.— Вот оно! — Он подпрыгнул, как ребенок.— Земное-то совершенство! — И, посмотрев на сутулую спину писателя, добавил: — А ваше, простите, добью уж до конца — неизбежно приводит к кровопролитию. Ибо любая догма — всегда путь к бесчеловечности.

Горький, круто обернувшись, собрался что-то

возразить, но не успел — вошла супруга Шаляпина.

— Федор. Он звонит снова, что сказать?

— Пошли его к черту!

Мария Валентиновна удалилась обратно.

— Кто это? — поинтересовался академик.

Артист с улыбкой объяснил:

— Какой-то архангельский комиссар. Достает меня уже второй день. Вдребезги пьяный принес вдруг под мышкой огромную семгу, чтобы познакомиться с Шаляпиным. Меня не было дома, так он довольно развязно распорядился с Марией Валентиновной. Сказал ей, чтобы она держала своего мужа в решпекте и порядке, дабы я, когда меня спрашивает начальство, всегда был дома, — особенно когда начальство пришло к нему выпить и закусить.

Супруга Шаляпина тем временем все еще объяснялась с комиссаром по телефону:

— ...Разумеется... Да, сегодня будет непременно... Трудно сказать, у него по-разному складываются репетиции. Нет, лучше завтра, он очень устает. Но... Пстойте, погодите, я же вам объясняю... При чем здесь семга? Это невозможно, я не... — Она осеклась, комиссар на другом конце провода положил трубку.

Мария Валентиновна тяжело перевела дух и опять заглянула к мужчинам в бильярдную.

— Он едет!

— Как? — спросил муж. — Уже час ночи!

Жена разозлилась:

— А вот так! Заявил, что сейчас явится и будет ждать тебя хоть до утра.

Бильярдисты переглянулись, Горький угрюмо сказал:

— Ничего, пусть едет...

Комиссар позвонил громко и продолжительно.

Когда Шаляпин отворил дверь, он без приглашения шагнул в переднюю, зычно спросил:

— Ты что ж, едрена твою вошь, заставляешь меня туда-обратно топтать? — Комиссар снова был пьян. — А кто эти?.. — Он показал за спину артисту на Горького и Павлова.

— Друзья, — кратко сообщил хозяин.

— Ладно, пусть остаются! — разрешил комиссар. — Вместе и дернем.

Алексей Максимович, сдерживая гнев, выступил вперед:

— Позвольте спросить, с кем имеем честь?

— Ба!.. — Мужчина тотчас узнал его. — Да никак передо мной сам... пролетарский бог! Ну, здоров! — Он протянул писателю массивную ладонь. — Предгубкома Словотекон!

Горький демонстративно убрал руки за спину, усмехнулся:

— Замечательная фамилия. Как раз в мою новую пьесу. — И, шагнув вплотную к комиссару, сквозь зубы сказал: — А ну, пошел вон.

Тот невольно отступил и опять оказался за порогом.

— Ты это чего, писатель?.. Спятил?

— Прочь, гнида!

Мужчина с мрачным осуждением покачал головой.

— Что же получается?.. Мы революцию сделали, а вы господами остаться хотите? Шалишь, брат!

Он собрался шагнуть обратно — Алексей Максимович вытащил из кармана браунинг.

— Я в твою хамскую морду сейчас выстрелю.

Комиссар застыл.

Павлов вдруг выскочил на площадку и, запрыгав вокруг мужчины, высоким голосом потребовал:

— Да стреляйте же, убежит!.. Дырявьте ему башку — ну!.. Дзержинский за этого мерзавца спасибо скажет — пли!

Комиссар со всех ног бросился спасаться с лестницы — академик зашелся залившимся хохотом.

Снизу, уже недостижимый, мужчина зло выкрикнул:

— Мы запомним! Придет час, вы перед нами на коленках ползать станете! — И сильно хлопнул за собой дверью парадной.

Шаляпин, Горький и Павлов примолкли. Академик спустя паузу проговорил:

— А он не шутит. Эти тараканы, вползшие в революцию, тихим сапом сожрут все и вся: и человека, и его идеалы, и природу.

Друзья вернулись в квартиру, расселись по разным углам гостиной и углубленно затихли. Первым пришел в себя Шаляпин.

— Что вы, братцы, как на похоронах? Пока он дал нам время, надо есть его семгу!..

* * *

Конференц-зал газеты «Новая жизнь» был забит до отказа — в основном, студенческой молодежью.

Алексей Максимович проводил встречу с читателями. Он сидел на небольшом возвышении за маленьким столиком и отвечал на вопросы с мест.

— Ваше отношение к революции?

Горький, обдумывая ответ, прокашлялся.

— По-моему, главное, что надо понимать: ре-

волюция — не дебош, а благородная сила, сосредоточенная в руках трудящегося народа. Дикая грубость, некультурность и историческая поспешность — для меня неприемлемы.

— Правда, что «Новую жизнь» собираются закрыть?

— Впервые об этом слышу.

— Все ли большевики одинаковы?

— Разумеется, нет. Лучшие из них — превосходные люди, которыми со временем будет гордиться русская история.

— Ленин, на ваш взгляд, входит в состав этих «лучших».

— Позвольте не отвечать на сей вопрос, ибо я буду необъективен. Я долго дружил с этим человеком, но теперь не понимаю многих его поступков. И очень раздражен ими.

Раздались жидкие хлопки.

— Как вы восприняли разгон Учредительного собрания?

— Я неоднократно высказывался на эту тему. За идею Учредительного собрания погибли в тюрьмах, в ссылке и каторге, на виселице и под пулями не одно поколение интеллигентов и десятки тысяч рабочих и крестьян. А ныне немалое число их в изгнании, в Бутырках или в Сибири. Словами моего друга Короленко: «Опыт введения социализма посредством подавления свободы» — привел на практике к уничтожению и выдворению за пределы России недавних борцов за ее свободу.

— Сейчас идет ваша новая пьеса «Работяга Словотеков». Что вы хотели ею сказать?

— Я полагаю, вы должны сие уразуметь сами.

— И все же?..

Алексей Максимович опять откашлялся:

— Я, господа-товарищи, с ужасом наблюдаю

как везде и повсюду на поверхность российской жизни вылезают и обретают власть «революционеры на время» Принимая в разум внушаемые временем революционные идеи, они, по всему строю чувствований своих, остаются консерваторами И тем самым искажают, опорочивают, низводят до смешного, пошлого и нелепого культурное, гуманитарное, общечеловеческое содержание революционных идей. Они относятся к людям, как бездарный ученый к собакам и лягушкам, предназначенным для жестоких научных опытов. Портрет подобной новой юркой породы людей я и попробовал представить на всеобщее обозрение.

— Вот очередное обвинение в адрес вашей газеты в «Петроградской правде»: «...падка на оплаченные ласки жирных банкиров...» Что вы ответите?

— Только одно. омерзительная пошлятина.

— Вчера в Москве запретили народный университет Шинявского. Почему?

— Причина закрытия — инакомыслие среди профессоров

— Как можно расценить это событие?

— Ничего другого от власти, боящейся света и гласности, трусливой и антидемократической, попирающей элементарные гражданские права, преследующей рабочих, посылающей карательные экспедиции к крестьянам, — нельзя было ожидать.

Последние слова писателя потонули в горячих аплодисментах.

Однако Горький не успел испытать удовлетворение — в последнем ряду стульев он вдруг приметил человека из своего сна. Тот был по-прежнему в острой бородке, но теперь в форме крас-

ноармейца. Мужчина демонстративно поднялся и, осуждающе покачав головой писателю, покинул помещение...

* * *

Трое «чекистов» в кожанках поднялись на сцену драматического театра и под изумление актеров, разыгрывающих пьесу, и всей публики, неторопливо и тщательно задернули занавес. Один из них громогласно объявил:

— Пьеса буржуазного прихвостня Горького отныне навсегда отменяется. Прошу расходиться!

* * *

— Не верю! — вскричал дома по телефону писатель. — Это же натуральное варварство!.. Что значит узнал себя? Зиновьев не настолько туп, чтобы самому давать повод сплетням, будто он изображен в «Словотекове». Нет, не могу поверить

— И все-таки придется, — услышал он с спиной насмешливый и холодный голос.

Горький обернулся и, машинально повесив трубку, замер.

Перед ним стояли солдаты с ружьями и новый человек в кожанке (видимо, уже старше чином), а за их спинами растерянные обитатели квартиры на Кронверкском.

— Что сие означает? — тихо спросил Алексей Максимович.

— Ничего сверхординарного. Заурядный обыск.

— Неужели... снова Зиновьев?

— Абсолютно точно Согласно его распоряжению.

Горький опустил на подоконник и, ссутулясь, как бы одеревенел.

Чекисты приступили к потрошению вещей в квартире.

Писатель поднял глаза на своих подавленных сожителей, непонимающе спросил:

— Как же это?.. До подобного не доходила даже царская жандармерия.

Ответом ему было тягостное молчание.

Алексей Максимович выпрямился, повернулся к окну и после долгой паузы вдруг сказал:

— Да, кобылу совсем объели.

Внизу, на тротуаре, от палой лошади остался один скелет, иссыхающий теперь под июльским солнцем...

В июле этого же года, 6 числа вспыхнул мятеж левых эсеров. Он был жесточайшим образом подавлен Лениным, Дзержинским и отрядами латышских стрелков, со всеми вытекающими последствиями для мятежников. Партия левых эсеров перестала существовать, большевики окончательно стали полновластными хозяевами России. Тюремные камеры не замедлили пополниться новой массой заключенных, затем разразилась эпидемия холеры, революционный пролетариат повелел рыть холерные могилы всем «бывшим господам»...

На петроградской площади собрался многотысячный митинг. Перед рабочими и солдатами выступал Зиновьев:

— Гнуснейшая вылазка левых эсеров, их подкорм под революцию показал, что единственной партией, которая выражает интересы трудящихся масс и на которую они могут положиться — есть ленинская партия большевиков! Отныне, по выражению нашего вождя, мы поведем «очистку

земли российской от всяких вредных насекомых».

Митинг разразился бурной овацией, дав оратору передышку.

Внизу, у самодельной трибуны, среди начальства, находились Горький и Луначарский. Писатель, в образовавшейся паузе, склонился к уху наркома просвещения и проговорил:

— Слыхали про меня и Зиновьева новый анекдот?

— Нет! — Луначарский тотчас оживился. — Расскажите — обожаю политические анекдоты.

Горький склонился к нему еще ближе и начал что-то быстро наговаривать.

— Та-ак... — закивал нарком. — Ну? — и вдруг, откинув дородную голову, безостановочно закатился.

Зиновьев с трибуны скосил на него глаз, налитой кровью, и стал пережидать, когда он утихнет...

Шаляпин, познакомившись с Луначарским на Капри, дал ему лаконичную характеристику: «à la Генрих IV с одесским акцентом». Этот «Генрих», сделавшись после Октября наркомом просвещения, начал изрекать примерно такие, «отлитые в бронзу», перлы: «Коммунистическое воспитание — величайшая сила. Когда мы добьемся того, что будем давать его детям, то это будет соответствовать в огромной мере выработке того нового человека, который является решающим фактором в нашей борьбе с буржуазией. Нам это полезно, а для буржуазии — яд»...

Горький легонько толкнул Луначарского в бок и показал глазами на угрюмого Зиновьева. Нарком, пересилив себя, прикрыл рот ладонью.

— ...А потому... — продолжил речь председатель Петроградского Совета, — мы заставим буржуазию вычищать наши конюшни, клозеты и вы-

гребные ямы! А не захотят, пусть пеняют на себя,— тогда мы станем топить этим буржуйским отродьем наши печи!..— Зиновьев, пережидая новые аплодисменты, опять замолк.

Луначарский, как ни боролся с собой, опять закатился, живо представляя себе услышанный анекдот в лицах. У него мелко трясся живот, а вслед второй подбородок; и он хохотал так заразительно, что Горький, глядя на наркома, не выдержал и стал смеяться тоже. Почти до колик.

Председатель Петроградского Совета, мрачно взирая на обоих, молчал...

* * *

Алексей Максимович заплакал. Горько, беззвучно и безутешно. Заплакал, сидя на стуле в своей редакции...

Сотрудники газеты стали тихо пятиться и покидать комнату.

На столе писателя лежал ордер на закрытие «Новой жизни». На нем стояли печать и размашистая подпись: «В.Ульянов-Ленин».

Горький не вытирал слез, они стекали по впалым щекам крупными каплями и падали ему на колени...

Большевики, утверждаясь у власти как бы уже навеки, к концу этого рокового года поставили жирную точку — в подвале ипатьевского дома, в Екатеринбургe зверски расстреляли последнего русского царя и его семью. Приговор привели в исполнение по распоряжению Якова Свердлова и с молчаливого согласия Ленина,— он, когда обсуждался этот вопрос, удалился с совещания. Преступники, по тому как они старались сокрыть следы злодеяния, знали, что они преступники:

трупы захоронили в окрестностях города, но вновь разрыли общую могилу, перевезли на телегах в лесную глушь, сожгли и закопали обгорелые останки вровень с землей.

«Ленинцы» превзошли в вандализме всех прежних варваров — никто, ни в какие времена не поступал так с монархом, самолично отрекшимся от престола... К двум тяжким грехам России — к февралю и октябрю 17-го года — прибавился самый ужасный: убийство Божьего Помазанника...

ГЛАВАВТОРА Я УЕЗЖАЙТЕ



**СОВЕТСКИ
КАЛЕНДАР
НА 1919 ГО**

...и, деутоа, в
Канон. С. създават
ми, „Автоматично“
на 302 години е старата,
отел, внасе, скарто
красно. Я кажи деуто
втару вкатоми три
първо обикновения?
...и много не бихте
Педруса гонимия. Умиде
и презега до, во внасе
де, с бодува в в в
...и много не бихте
Педруса гонимия. Умиде
и презега до, во внасе
де, с бодува в в в
...и много не бихте
Педруса гонимия. Умиде
и презега до, во внасе
де, с бодува в в в



30 АВГУСТА 18-го ГОДА В ЛЕНИНА ВЫСТРЕЛИЛА Фани Каплан и ранила его в плечо. Это происшествие сильно поколебало прежние непримиримые позиции Горького по отношению к своему бывшему другу. Можно предположить, что под влиянием всех прежних событий уходящего страшного года, теперь этого покушения, из-за нарастающей угрозы собственной безопасности, особенно со стороны Зиновьева, Горький, вконец осознав, что большевики явились всерьез и надолго, решил пойти с ними на компромисс. Тем более к этому представился случай — выразить сочувствие пострадавшему вождю...

Переступив порог спальни Ленина в Горках, Алексей Максимович оцепенел — в абсолютной тишине он услышал негромкий, но жутковатый скрежет. Вождь, задремав на высоких подушках, двигал во сне челюстью и, словно перетирая что-то, скрипел стиснутыми зубами...

Ленин, познакомившись с Горьким тринадцать лет назад, задумал поставить его талант на службу революции и принялся методично «вбивать свои гвозди» в сознание писателя. Еще в 1902 году, до оформления большевизма, вождь позаботился о том, чтобы с Алексеем Максимовичем были налажены нелегальные связи и установлен пароль. В 1905 состоялась их первая личная встреча, после которой Горький вступил в пар-

тию. С этого момента Ленин, восхищаясь «Песней о Буревестнике», поощряя горьковское «безумству храбрых», превознося роман «Мать», нахваливая нападки Алексея Максимовича на мещанство и вместе с ним осмеивая Бердяева, яростно атаковывал самого писателя при малейшем отклонении от «правильной материалистической линии». Так было с горьковскими увлечениями философией Богданова, идеями «богостроительства» и даже телепатией и некоторыми трудами по радиоактивности. А когда Алексей Максимович в войне 14-го выступил на стороне патриотов, вождь обвинил его за «великодержавно-шовинистические» взгляды, написав, что «Горький всегда в политике архибесхарактерен и отдается чувству и настроению, сгибаясь до точки зрения общедемократической вместо пролетарской». Иными словами, от объемного восприятия мира к плоскому пролетарскому Горького, в значительной мере, столкнул Ленин. Это подтверждает «ведущий» «горьковед» Бялик: «Всякий, кто хочет понять, что такое партийное руководство литературой, что такое подлинная свобода литературного и вообще художественного творчества, должен вдуматься в смысл отношений Ленина и Горького». Как говорится, не убавить, не прибавить...

Вождь неожиданно открыл глаза и несколько секунд, как бы еще из сновидения, враждебно и настороженно смотрел на вошедшего Горького. Затем узнал, отпустил с лица напряжение и потеплел взглядом. Ленин вновь стал Лениным, но именно таким, каким он хотел быть сейчас перед этим человеком: с живым умным блеском глаз и, по-своему, обаятельным.

— А... — сказал он тихим голосом и тихо улыба-

ясь.— Пришли все-таки...— Он полулежал в пи-
жаме, укрытый до пояса легким одеялом.

Писатель потоптался на месте.

— Я всего на пять минут... Врачи больше не по-
зволили...

— Ну, уж нет! — Вождь приподнялся повыше и поморщился от боли в плече.— Если пришли, бы-
стро вы от меня не уйдете. Да и рана — пустяк. Са-
дитесь.— Он кивком показал на стул возле кро-
вати.

Алексей Максимович, торжественно грустный и покорный, сел, куда ему указали, и оказался на-
против, глаза в глаза с Лениным.

Вождь остро нацелил на него левый зрачок, в
нем мелькнул и спрятался бесенок, и спросил

—Ну?..

—Что... Владимир Ильич? — напряженным во-
просом откликнулся Горький.

— Почему вы пришли?

Писатель покашлял.

— Я... потрясен. Да, потрясен этим выстрелом.
И еще...

— Договаривайте.

— Более я потрясен тем, что вы распорядились
пошадить террористку.

— Ага! Стало быть, ее вам жаль больше, чем
меня?

Алексей Максимович собрался возразить, Ле-
нин дотянулся рукой до его колена.

— Шучу. Вы пришли — потому что давно хо-
тели прийти. Так?

— Да, но...

Вождь опять не дал ему договорить.

— Пожалуйста, не хитрите! Я вас знаю не пер-
вый день. И осмелюсь похвастать — куда лучше,
чем вы себя сами.

— Возможно. Однако... что же вы знаете такое, чего не ведаю я?

— Вы наш. Всегда были и будете. Но среда, окружающая вас, лжеинтеллигентщина — обязывают быть другим. Согласны?

— Решительно нет! Все мои поступки и мысли — плод исключительно собственных умозаключений.

Ленин с усмешкой поинтересовался:

— И даже то, в котором я представляюсь вам кровожадным алхимиком-экспериментатором?

Писатель умолк, глядя в ноги вождю.

— Ничегошеньки-то вы не поняли, Алексей Максимович. Ровнешенько ничего!

— Поясните?..

— Извольте! Большинству нынешней интеллигенции глубоко чужды интересы рабочего класса. Да!..— Ленин упреждающе поднял руку.— Я хорошо осведомлен, как вы о них печетесь, но не торопитесь возражать. Они кричали и вопили об угнетении пролетариата, но как только он взял в руки власть, шарахнулись в кусты, обозвав революцию грубой и невежественной диктатурой. А почему? Ваша хваленая интеллигенция никогда всерьез не думала о рабочих, о жизни для рабочих,— а совсем наоборот: о своем месте «над рабочими». Пособница буржуазии, лакействующая перед капиталом — она никогда не станет другой. Пока... мы не покончим с ней и не создадим новую. Новую — из самих рабочих.

— Но помилуйте!..— возмутился Горький.— А культуру, духовные ценности, научный потенциал...— с этим вы тоже прикажете покончить?

— Так пожалуйста к нам: это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни. Нам позарез

нужны спецы во всех областях жизни. Так нет же! Не желают! Они предпочли вредительство из-за угла, саботаж и предательство. Это — ее вина будет, если мы разобьем слишком много горшков.

— Но как к вам идти? При вашем-то устройении «всеобщего счастья», куда вы загоняете «железной рукой»? Сие — полный абсурд!

Вождь разозлился и закричал:

— А мы — тогда обойдемся! Переживем! Ваши интеллигентники мнят себя мозгом нации. А я вот что скажу: на деле это не мозг, а говно!

Писатель встал.

— Вы что же?.. — Ленин сразу понизил тон. — Ничегошеньки не доказав мне, — так и уйдете?

Алексей Максимович сел обратно, избегая смотреть на вождя.

Он тоже отвернулся и, глядя в стену возле кровати, через паузу сказал:

— Не исключено, что я погорячился. И меня, пожалуй, можно понять: именно от интеллигенции мне и досталась пуля. Однако вы же... тоже из их породы, а вас я ценю. И может, более того...

— Что? — тихо уточнил Горький.

— Слово «люблю» — между мужчинами не принято. И все таки — что-то в этом роде. И вам — это прекрасно известно.

— Но ведь и я, Владимир Ильич... тоже... Не согласен и впредь не соглашусь... в средствах... но бесстрашием вашей личности не могу не восхищаться. — Писатель вдруг надолго и надсадно закашлялся в платок.

Ленин укоризненно заметил:

— Вы опять нездоровы.

— Пустое.

Переждав приступ кашля Алексея Максимовича, вождь улыбнулся:

— Покричали мы друг на друга расчудесно, теперь выкладывайте.

— Что именно?

— Ваши планы. Чую, пришли с какими-то предложениями.

Горький, все более оттаивая, улыбнулся тоже:

— Пожалуй, я готов поверить, что вы знаете про меня больше, чем я сам...

* * *

Шаляпин сидел на полу сцены в гриме Мефистофеля, но совсем не в подобающей позе — подавленный, с обвисшими, как плети, руками. Его обступила растерянная труппа Мариинского театра. Старший администратор, чуть не плача, вопрошал:

— Как же можно отдавать, Федор Иванович?.. Дикость! Одна надежда теперь на вас!

Артист тяжело продохнул:

— От этих закулисных революционеров — напасть... Кто подписал циркуляр?

— Некая Малиновская, заведующая театральным департаментом. По слухам, довольно ретивая коммунистическая дама...

Малиновская оказалась не только ретивой, но и «железной». Холодный взгляд, неподвижная посадка головы, тембр голоса — все в ней было «металлическое».

— А что вас собственно, гражданин, не устраивает? — сказала она Шаляпину. — Все бывшие Императорские театры буквально объелись театральной роскошью. А народ в провинции живет во тьме. Не ехать же этому народу к вам в «Мариинку» просвещаться? Так что, хотите вы или нет, но большая часть костюмов и декора-

ций будет отослана на помощь неимущим в провинцию.

— Но это невозможно! — воскликнул артист.

Дама отрезала:

— Не вам об этом судить.

— То есть как? — опешил Шаляпин. — А кому же?

— Уж простите за большевистскую прямоту, но вы пока не совсем полноценный член социалистического общества.

— В каком же смысле?

— Вас предстоит еще «социализировать» и «социализировать».

— Иначе, надо понимать так, что резон «буржуя-некоммуниста» не имеет права даже называться резонансом?

— Вот именно. Так что, знайте свое место.

Артист все время стоял перед казенным столом «железной дамы». Теперь он навалился на него руками и, близко подавшись к ней, негромко сказал:

— Вы уж простите меня... за мою мелкобуржуазную недалекость, но вам, милочка... по-моему, самое место под стеклом — в каком-нибудь специальном музее для «полноценных» и насквозь «просоциализированных» дур.

Малиновская изумленно открыла рот, Шаляпин царственной походкой удалился из ее кабинета...

Ленин, нуждаясь в Горьком, как в фигуре, которая пользовалась авторитетом в Европе, поддержал просветительскую идею писателя по созданию издательства «Всемирная литература». Алексей Максимович привлек в него лучшие литературные и научные силы Москвы и Петрограда. Теперь Блок, Гумилев, Мережковский, Тихонов,

Шкловский, Чуковский и еще несколько писателей и ученых сидели за пустым длинным столом и, повернув головы в одну сторону, слушали Горького. Он ходил от стены к стене, ступал с носка щеголевато-воровской походкой и глухо окал:

— ...Новое издательство под весомым названием «Всемирная литература», подчеркиваю — всего мира, будет по решению вождя подчинено только Наркомпросу и решит невиданную доселе задачу: популяризацию лучших достижений всех времен и народов во всех областях науки и искусства. Подобное гигантское издание станет обязательным чтением для масс и поможет мировому пролетариату освободиться от цепей мирового капитализма, а интеллигенции правильно понять всю мировую культуру от Гомера до наших дней. — Алексей Максимович беспрерывно курил и, подходя к пепельнице на подоконнике, гасил там очередную папиросу и, оставляя ее стоять столбиком, затягивался новой. — Эта колоссальная серия книг на всех языках мира должна будет воспитать юношество, открыть глаза рабочим и крестьянам на величие таких имен, как Ньютон и Павлов, Гиппократ и Яблочкин, Шекспир и Салтыков-Щедрин, Сеченов и Джек Лондон и тысячи других. Будет отстранено все бесполезное и оставлено только оптимистическое и всем понятное. То, что зовет в бой, поднимает дух, разрушает религиозное суеверие и всякую мрачную декадентчину. Но пока этого, к огромному моему сожалению, сделать нельзя, ибо не готов еще мировой план и, кроме того, в него должны будут включиться 10 000 идеальных переводчиков...

Мережковский склонился к уху Блока, спросил:

— Вам не кажется, что он немного маньяк?

Тот неопределенно пожал плечами и так же на ухо ответил:

— По мне, он пока только скверный писатель.

— Можно было бы начать с более скромного проекта,— продолжал Горький.— Во-первых, с издания переводов литературы Запада и Востока в их прогрессивных образцах, а во-вторых, дать читателю пока популярные научные издания о достижениях величайших умов человечества. Как полагаете, господин Ольденбург?

Представительный ученый муж тотчас отозвался:

— Замечательнейшая идея.

— Но...— Писатель остановился и, оглядев своих будущих сотрудников, с лукавством подкрутил ус.— Наряду с целью образования необразованного читателя, есть у меня и другая задумка: дать ученым и писателям, которые включатся в наш проект, возможность получить продовольственные карточки высших категорий и тем самым не помереть с голоду. Я попробую добиться от правительства, чтобы за ваши труды выдавали не только селедку и муку, но и калоши.

Писатели с учеными заплодировали, Шкловский, подавшись к Чуковскому, быстро проговорил:

— Из всего сказанного это самая гениальная мысль...

Напрасно Шкловский ёрничал. Да и не только он один — многие тогда эту идею откровенно высмеивали: в стране голод, война, разруха — и такие бредни вроде бы неглупого человека! Но, как оказалось, чем безумнее замысел, тем у него больше шансов стать реальностью. Сегодня на книжных полках массы людей хранится прекрасное стотомное собрание шедевров «Всемирной литературы»...

Чтобы попасть к Зиновьеву, необходимо было несколько раз предъявить пропуск. На пути в его кабинет Шаляпина останавливали то солдаты с ружьями, то чекисты в штатском — он терпеливо показывал им нужную бумагу...

Попав наконец в приемную председателя Петроградского Совета, артист без промедления направился к дверям, обитым кожей, но его строгим голосом придержала «секретарша-массажистка»:

— Товарищ Шаляпин... минуточку!

Он выжидающе остановился.

— Товарищ Зиновьев отбыл на совещание.

— То есть как? Он назначил решить мое дело на этот час.

Девушка снисходительно улыбнулась.

— А вам не приходит в голову, что у товарища Зиновьева случаются дела поважнее?

— Что ж...— сказал артист.— Подожду.— И сел на стул.

— Не советую.

Он тут же поднялся.

— Почему?

Секретарша заколебалась с ответом. Наконец сухо произнесла:

— Товарищ Зиновьев просил передать, что считает неэтичным вмешиваться во внутренние вопросы театральной дирекции.

— Понятно...— Озадаченно протянул Шаляпин.— А отчего же ему не сообщить мне об этом еще при телефонном разговоре?

Девушка, придвинув к себе печатную машинку, холодно отсекала:

— По-моему, я все сказала.— Принявшись печатать, она больше не повернула к нему головы.

Артист постоял и, «не солоно хлебавши», пошел прочь...

— Зачем ты к нему ходил? — с досадой спросил Горький. — Мария Федоровна все бы уладила, теперь сам осложнил дело. — Он и Шаяпин ехали на заднем сиденье служебного автомобиля писателя. За окошком была глубокая осень, навстречу летели иссохшие листья.

Артист сказал:

— Мерзавцы все они и варвары. И что за страну... — Он осекся. Алексей Максимович ткнул его в бок, кивнув на насторожившуюся спину шофера. Уже на ухо Шаяпин договорил: — Что за страну они делают: всюду ходить по пропускам и униженно все у них выпрашивать?

— Сие — риторика, — приглушенно откликнулся Горький. — А тебе надобно пробиться бы к Ленину.

— Хорошо бы, да как?

— Я ему позвоню и попрошу принять. — Писатель, поймав сам себя на произнесенном слове, ухмыльнулся в усы. — «Попрошу» — действительно... Но... — он тоже подался к уху друга, — не мешает маленько их задобрить. Да, подмаслить. Намекни там невзначай, что, мол, только при рабоче-крестьянском правительстве расцвел твой певческий талант.

Артист поморщился.

— Ничего, не убудет, — сказал Алексей Максимович. — Гордыню, ради театра, придется одолеть. — Машина остановилась, он стал надевать лайковые перчатки...

Кремлевскую дорожку застлал ковер из оранжевых листьев, поверх ложился первый снег. На

нем печатались два следа — один крупный, другой помельче — их оставляли Шаляпин и Ленин, неторопливо вышагивающие рядом.

— ...единственные в мире по богатству, они имеют свою историю и высокую художественную ценность! — горячо убеждал вождя артист. — Какой же это реквизит? А эти сокровища начнут растаскивать по провинциям люди, которым они решительно ни на что не нужны... Вы чему улыбаетесь?

Шаляпин остановился, Ленин тоже.

— Я давно все понял, а вы так долго рассказываете.

— Что же... — пробормотал артист, — приятно иметь дело с человеком, который сразу соображает.

Вождь улыбнулся снова.

— Возвращайтесь в Петроград, не говорите никому ни слова, а я употреблю влияние, если оно есть, на то, чтобы ваши резонные опасения были приняты во внимание в вашу сторону. Всего хорошего и благодарю вас за комплимент. — Он протянул Шаляпину небольшую крепкую ладонь.

Пожимая ее, артист смущенно сказал:

— Да чего уж там, все наоборот — вам спасибо... — И произнес заученную фразу: — Если бы не рабоче-крестьянское правительство, талант мой... не расцвел бы... Так.

Ленин, хлопнув себя по бокам руками и откинув назад голову, звонко захохотал с закрытыми глазами.

— Ай да Горький... — стал выкрикивать он. — Ай да Алексей Максимович... Ах, и хитрец!.. — Вождь еще долго не мог справиться со смехом...

В большой квартире Горького на Кронверкском проспекте, как обычно, было столпотворение. Постоянные обитатели и гости, в ожидании вечернего чая, бродили из комнаты в комнату и, то собираясь в одни группки, то распадаясь на новые, что-то обсуждали, о чем-то спорили или над чем-то похохатывали. Одиночки слонялись без дела из угла в угол, названивали по телефону, некоторые пробовали дрессировать новую собаку писателя — пока еще щенка.

Сам Горький находился в столовой, с буфетом и роялем, и, сидя в кресле, подписывал на коленях разные ходатайства. К нему с бумагами выстроились человек пять, в их числе Шаляпин и сын писателя Максим. За столом у большого самовара хозяйничала миловидная женщина лет сорока: расставляла чашки, сахар и печенье.

Горький, по утверждениям как друзей, так и недругов, слыл человеком хлебосольным и безотказным. Помимо его постоянных семи-восьми «нахлебников», не считая гостей и случайно заночевавших приезжих, в доме весь день толпились ученые, писатели, актеры, художники, революционеры, иногда какие-то спекулянты, «бывшие господа» и даже цирковые клоуны. И почти все с просьбами: подписать бумагу на выдачу калош, касторки, билета в Москву, очков, свидетельства о благонадежности и прочее. Алексей Максимович за всех ходатайствовал... В разное время за обеденным столом его квартиры хозяйничали разные женщины. Екатерина Пешкова, Мария Андреева, теперь, пользуясь длительным отъездом последней, появилась Варвара Васильевна Тихонова. Та самая женщина, из-за которой между Горьким и

Андреевой произошел разрыв. С мужем (он стал сотрудничать с Алексеем Максимовичем во «Всемирной литературе») Тихонова приехала на Капри в 1913 году, а в 1914 у нее родилась девочка Нина. Позднее, когда она стала известной балериной во Франции, ее разительное сходство с Горьким ставило в тупик тех, кто не знал о близости Варвары Васильевны с писателем. А вообще, по отношению к женщинам, и особенно к своим женам «Дука» (так звали Алексея Максимовича близкие) был человеком благодарным: расставаясь с ними, он продолжал с каждой дружить. С каждой по-своему и всю жизнь...

Горький, взяв на колени очередное прошение, поднял голову, спросил:

— Куда тебе столько аспирина?

— Так на всю труппу.— Перед ним высился Шаляпин.

— Кто же даст?

— Ты подпиши.

Писатель в углу бумаги начертал:

«Прошу удовлетворить просьбу великого артиста. М. Горький».

Отдавая ее Шаляпину обратно, он вздохнул:

— Пока в Питере Зиновьев, мои ходатайства ходу не имеют.

В квартиру раздался звонок, кто-то в коридоре открыл дверь, по оживленному шуму стало понятно, что заявились очередные гости. Алексей Максимович вскинул глаза на подошедшего сына:

— Ты что... тоже с прошением?

Он, улыбаясь, кивнул и протянул ему листок.

Отец прочел:

«Прошу, папаша, вашего согласия о моем переводе из ЧК в дипкурьеры. С большевистским приветом — Максим!»

Горький покачал головой:

— Не можешь без «кренделей»... Однако рад, одумался.— И поставил сверху тоже шутивную резолюцию: «Согласен. Дука».

В столовой возникла огромная неуклюжая фигура Корнея Чуковского — с руками до колен, с черными космами волос и увесистым носом. С ним — женщина лет тридцати, худая, изящная, черная, с какой-то особой сексуальной изюминкой, с темными умными вдумчивыми глазами.

Увидев ее, писатель сразу неувовимо переменялся: глаз его стал живее, движения энергичнее, а всегда сутулая спина — прямее. Он бодро встал из кресла, бодро приблизился к гостям, подал руку Чуковскому:

— Рад, Корней Иванович... всегда вам рад.— И ближе взглянул на незнакомку.

Чуковский ее представил:

— Прошу любить и жаловать: Мария Игнатьевна Закревская.

— Бенкендорф,— добавила она, в свою очередь внимательно рассматривая Горького.— Закревская-Бенкендорф.

Он приподнял бровь.

— Что-то я о вас слышал... но пока не припомню.

— И не надо.— Женщина улыбнулась, да так хорошо, что Алексей Максимович примолк.

Варвара Васильевна, заметив это от стола, громко объявила:

— Прошу всех к чаю! — И продолжительно забила ложечкой о край фарфоровой чашки...

Догадался ли Горький, что сейчас вошла его третья «невенчанная» супруга — неизвестно. Но так оно впоследствии стало. Мария Игнатьевна, урожденная Закревская, дочь генерала, по пер-

вому мужу Бенкендорф, любовница недавно высланного из Советской России английского посланника Локкарта; женщина, которую заместитель Дзержинского Петерс считал германской, а Зиновьев — английской шпионкой; не раз арестованная, но всякий раз выпущенная на волю... — она, как вошла в жизнь Алексея Максимовича загадкой, так до конца его дней ею и осталась. Но именно Марии Игнатьевне, а не какой другой из своих жен, Горький посвятил самый свой значительный роман «Жизнь Клима Самгина»...

За столом между Шаляпиным и Алексеем Максимовичем разгорелся спор об искусстве.

— ...Честность тут должна быть беспощадной! — горячо принялся доказывать писатель. — Выдумщик выдает себя с головой с первых шагов... — Горький все чаще поглядывал в сторону новой гостьи, и многим было понятно, что свои истины он изрекает для нее.

Варвара Васильевна смотрела в чашку и все больше тускнела.

— Жизнь — вот наш первый учитель! — продолжал он. — И другого наставника — не знаю.

— Кроме себя самого! — успел вставить артист.

— В каком это смысле?

— Не она тебя — жизнь — а ты ее теперь все чаще наставляешь.

— Пример?

— Да тот же твой пролетарский взгляд на искусство. Чувшь это собачья! Русское искусство корнями уходит в народ. Правду, за которую ты стоишь, пупом... инстинктом чуют надо. А не насиливать теорией, тем паче — о классах.

Алексей Максимович прикрыл в рыжих усах усмешку ладонью.

— Я так понимаю, что ежели ты против разума в искусстве, то ты против и его пользы?

— Напрочь! — Шаляпин рубанул по столу ладонью. — Особенно социальной, а заодно не признаю и твоего нового читателя из пролетариев. Нет искусства для рабочего, нет его для интеллигента, нет для мужика. Оно само по себе. И коли не понял ты его, то, значит, пока болван. И не на искусство пеняй, а на самого себя.

Обитатели дома, гости примолкли, прислушиваясь к разговору на своих местах. Лишь Ракицкий переселился на диван и лениво там растянулся, потеснив Максима, который уже давно и усердно что-то рисовал маслом на картине.

— Хорошо, — сказал Горький, — отбросим классы, прочую социальность, но что за творчество, которое не преследует цель хотя бы просто улучшить человека? На какой черт оно сдалось, если ты исключашь из него всякий умысел?

— Искусство, Алексей, есть тайна, загадка. Оно не имеет ничего общего ни с бичеванием, ни с пригвождением к позорному столбу, ни с прославлением как праведной, так и революционной жизни. И эту загадку нельзя объяснить, как глупому от рождения, что есть музыка.

— Но основа у сей загадки все же имеется?

— Эстетизм. Высочайшей пробы. Вот единственная основа. Главный ее инструмент, который заставляет звучать в душе человеческой до селе не звеневшие в ней струны.

— Теперь позволь спросить: чему подобный эстетизм служит?

— Да ничему! — досадливо воскликнул Шаляпин. — И никому! Ни Ленину, ни Николаю II, ни поэту, ни обывателю. Высшему смыслу человека, Алеша. Ибо он — человек — не буржуй и не проле-

тарий, а существо божественное и жить должен по законам Божьим, а не по своим дурацким выдуманным схемам. И будет еще, придет час! А твоя утилитарная польза — лишь уродует и опошляет всякое искусство.

Писатель нервно забарабанил по скатерти толстыми властными прокуренными пальцами.

— То есть ты хочешь сказать — я бездарь?

— Ты не передергивай. Ты художник тоже от Бога, но губишь его в себе, когда пытаешься свети всю его непостижимость к одной мысли. Нравоучительной, а то еще хуже — политической.

Алексей Максимович, в очередной раз метнув взгляд на Марию Игнатьевну, она слушала спор крайне внимательно, вдруг спросил ее:

— А как вы полагаете?

— Я?..— Она на миг растерялась.— Я согласна с Федором Ивановичем.

— Вот как.— Горький хмыкнул и надолго замолчал. Затем упрямо покачал головой.— Нет, нельзя жить одной стихией таланта. Надо еще и понимать его. Если у человека слепое пятно в глазу, он самого себя потеряет. И тебе, Федор,— сие грозит.

— А ты... Ладно!.. — Шаляпин безнадежно махнул рукой и замолк.

— Вот и верно,— произнес сын писателя.— А то уж скучно. Не желаете ли взглянуть на образец искусства по Федору Ивановичу — без пользы и всяческих наставлений? — Он показал всем кусок картона, исписанный грубыми мазками масла.

— А ну?..— Первым его взял Шаляпин. Изучив рисунок, артист покачал головой и, ничего не сказав, передал дальше. Картинка пошла по рукам... На ней была изображена уличная сценка, где человек сорок маленьких уродов жили своей мирной

городской жизнью: угол площади, посреди нее верхом на верблюде всадник в короне; парикмахер в открытом окне нечаянно вместе с бородой отрезал клиенту голову; справа шла толпа с флагами и с оркестром, состоявшем из десяти барабанщиков; вдали строили виселицу; на первом плане три нарядные дамы вели на цепочках восемь собачек, собачки весело переговаривались между собой. У лошади извозчика только что родился жеребенок, священник с крестом спешил окрестить его. Нищий держал в руках свою отрубленную ногу. На картине преобладали красные и синие цвета...

Ведущие «горьковеды» изображают Максима убежденным большевиком и истовым сторонником Ленина. Вряд ли это соответствует истине. И большевизмом, и службой в ЧК он, скорее, увлекся по запоздалой детскости своей неуравновешенной, но, в общем-то, безобидной натуры. Максиму шел 23 год, и эта запоздалая детскость все больше тревожила отца. Сын находился под сильным влиянием матери Екатерины Пешковой, большой поклонницы Дзержинского, и Горькому стоило немалых трудов уговорить ее перевести Максима из ЧК в более достойное место. И сейчас он добился назначения его в дипкурьеры. Но основные надежды в повзрослении сына отец возлагал на его предстоящую женитьбу на Надежде Введенской, дочери профессора Введенского и подруги одной из дочерей Шалыпина от первого брака. Горький очень любил Максима, но часто краснел до корней волос от его нелепых выходов...

Когда картинка дошла до возлежащего на диване Ракицкого, он спросил:

— А что это у тебя лошадь так морду воротит?

— Мама-лошадь смущена,— пояснил Максим,— она не совсем уверена, кто папа.

Некоторые из гостей рассмеялись, отец, низко опустив голову, проговорил:

— Здоровенный ты у меня балбес, однако... Федор,— он посмотрел на Шаляпина,— спой, вместо разговоров об искусстве, свою «Блоху». У тебя это — гениально.

Присутствующие оживились и дружно поддерживали Алексея Максимовича:

— Правда, Федор Иванович?..

— Просим...

— Пожалуйста!..

Шаляпин не стал кочевряжиться, лишь спросил:

— А кто подыграет?

— Давайте я,— предложила вдруг Закревская-Бенкендорф.

— А сумеете?

— Попытаюсь.

Она села к роялю, взяла несколько начальных аккордов... Артист одобрительно кивнул и встал рядом, облокотившись на крышку.

— «Жил-был король когда-то...— запел, а точнее музыкально заговорил Шаляпин:

— При нем блоха жила.

Блоха ха-хахахахаха!..»

Присутствующие замерли, ибо исполнение было действительно гениальным: богатейшее по тональности, с массой ироничных смысловых оттенков...

* * *

В России тем временем день ото дня набирал силу «красный террор», который большевики раз-

вернули по всей стране в отместку за убийство Урицкого и покушение на вождя... Групповые расстрелы, казни, концлагеря для несознательных заложников-крестьян, нескончаемые аресты... Тюрьмы не выдерживали подобного количества заключенных. Бутырка, например, была так ими забита, что женскую камеру пришлось сделать даже из прачечной... Но особенно новая власть недолюбливала бывшую буржуазную интеллигенцию и сажала ее, что называется, пачками и почти без разбора...

Горький вбежал в редакцию «Всемирной литературы» — весь в слезах.

— Арестован Сергей Федорович Ольденбург! — вскричал он и бросился в другую комнату. Открыв ее, он увидел там какое-то совещание. — Кто это? — спросил писатель и захлопнул дверь обратно.

Корней Чуковский, диктовавший что-то машинистке, ответил:

— Пунин — явился распекать.

— Я им, подлецам, — снова воскликнул Алексей Максимович, — то есть подлецу, — заявлю, что если он не выпустит его сию минуту, я сделаю им скандал и уйду совсем — из коммунистов! Ну их к черту! — Писатель опять вернулся в комнату с совещанием и, широко отворив дверь, остался стоять на пороге с мокрыми глазами.

— ...Получая от нас субсидии, вы занимаетесь в «Доме Искусства» посторонними делами, которые не соответствуют коммунистическим идеям, — говорил небольшой человечек, стоя за длинным столом среди затихших писателей и поэтов. — Что за буржуазные аукционы вы там устраиваете?..

— И правильно делают! — вдруг сказал Горь-

кий властным и свободным голосом.— А на нападки эти мы отвечать не станем, ибо они идут от личной обиды: человек, который их высказывает, баллотировался в «Доме Искусства» и был забаллотирован.

Пунин сел и принялся нервно то открывать, то закрывать свой портфель ключиком...

Пунин был заместителем наркома просвещения Луначарского. В 1953 году погиб в лагере...

— А я,— с вызовом отозвался чиновник,— как раз и горжусь, что меня забаллотировали! Ибо это показывает, что буржуазные отбросы меня ненавидят!

Писатель шагнул на середину комнаты и, не глядя на Пунина, повел для всех в его сторону рукой:

— Вот он говорит, что его ненавидят. Не знаю. Но я его ненавижу. Ненавижу таких людей, как он, и... в их коммунизм не верю!

Пунин, подхватив под мышку портфель, выскочил из комнаты, будто его ошпарили.

Блок, после некоторой тишины, восхищенно сказал:

— Таким вас, Алексей Максимович... мы еще не видели. Вы его растоптали, точно вошь.

Горький недовольно насупился.

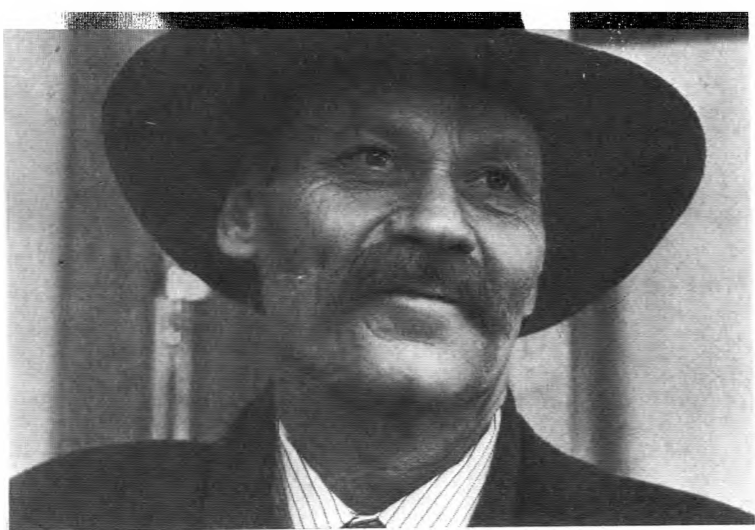
— А вот вами я как раз очень недоволен. Вашей вступительной статьей о Лермонтове.

Лицо Блока тотчас замкнулось и стало грустно-надменным.

— Чем же я не угодил?

— Вы посчитали зазорным принизиться, да, именно так, до уровня малокультурного читателя.

— Но позвольте... Лермонтов — для меня тайноvideц, сновидец, маг. И, если желаете...





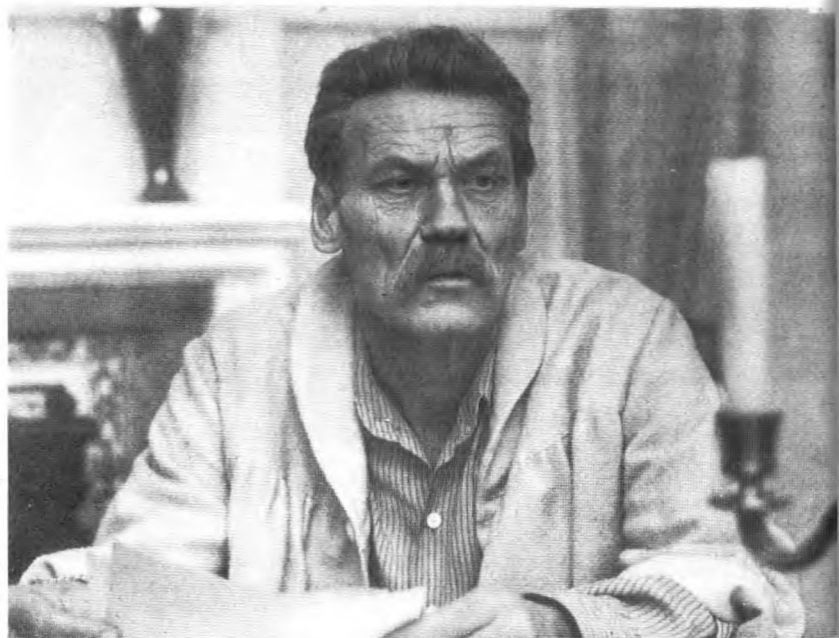




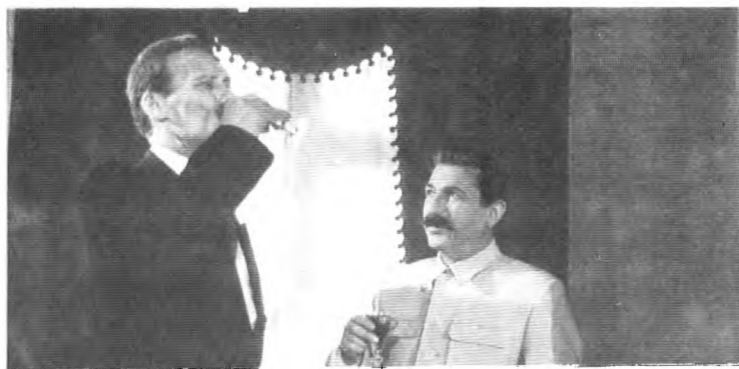


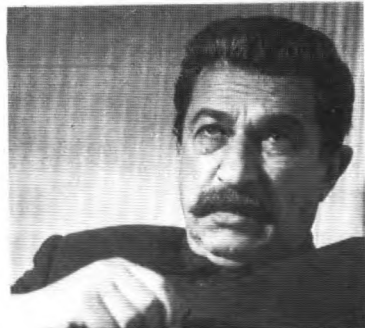


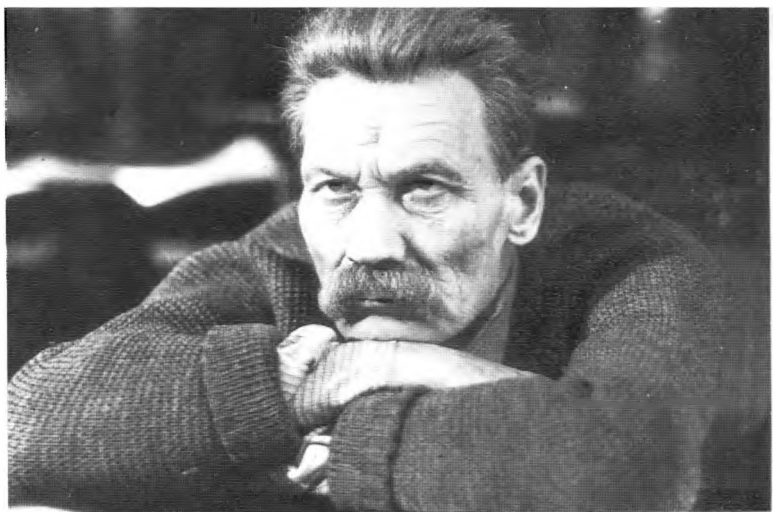


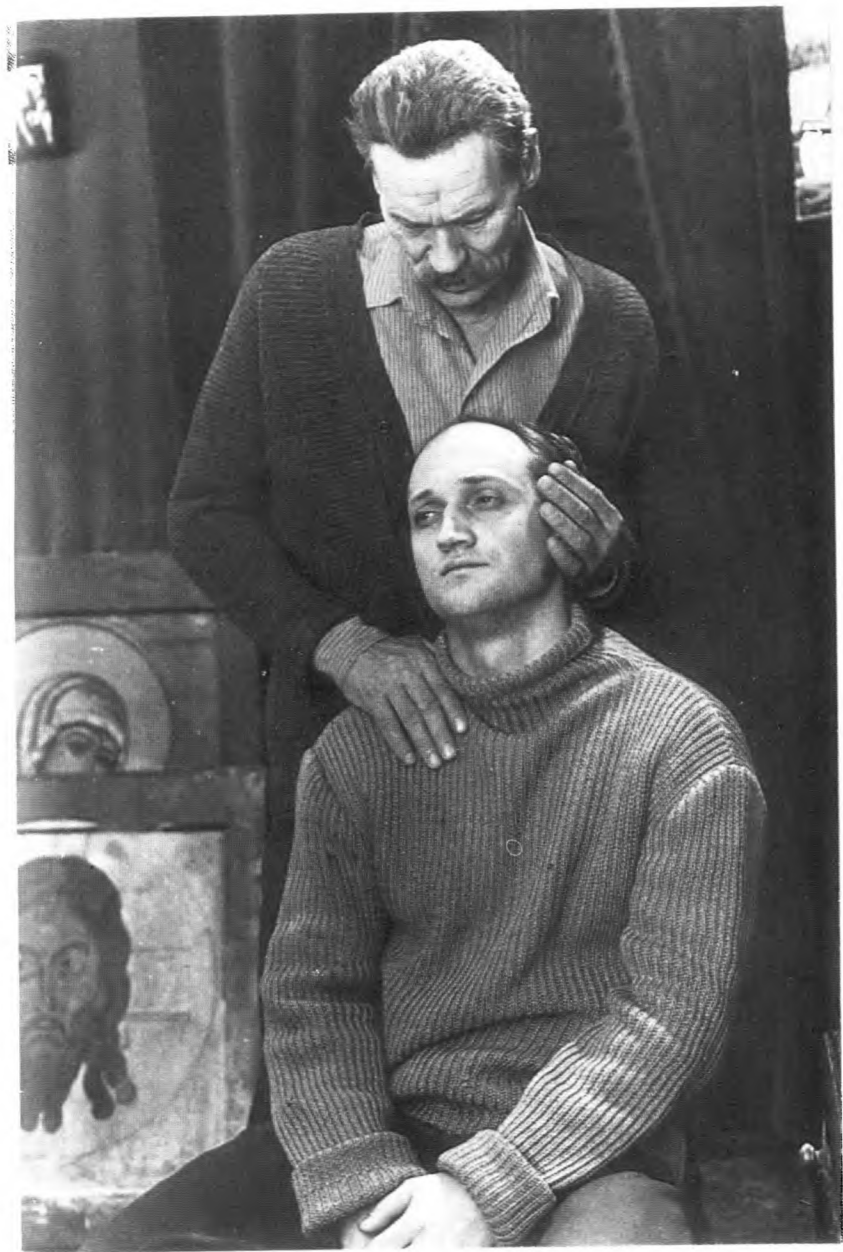


















— Ерундистика! Дело не в том, что Лермонтов видел сны, а в том, что он написал «На смерть Пушкина». И дело здесь не в стиле, а в сути, ибо Лермонтов — культурная сила, двигатель прогресса, а вы, сударь, напустили на поэта туману.

Блок стал и вовсе непроницаемым, лишь что-то неуловимо зыбко двигалось и реагировало во круг его рта.

— А мне кажется...— вдруг, как бы не кстати, тихо откликнулся поэт,— что вы притворяетесь, будто решили все вопросы и что не верете в Бога.— И, весь очень прямой, удалился.

Стараясь быть незаметными, комнату покинули и остальные присутствующие.

Алексей Максимович остался стоять в глубокой раздумчивости. Подняв угрюмые глаза, он увидел в проеме открытой двери Чуковского. Он держал какую-то бумагу.

— Я знаю, Корней Иванович...— неожиданно сказал ему Горький глухим голосом,— что меня должны не любить. Не могут любить — и примирился с этим. Такая моя роль.

Тот, слегка ошеломленный, промямлил:

— Однако ж... почему?..

— Бросьте. Я ведь и в самом деле часто бываю двойственен. Никогда прежде не лукавил, а теперь с нашей властью... и лгу, и притворяюсь. Что это у вас? — Писатель заметил в руках Чуковского почтовый бланк.

— Телеграмма... довольно странная.

Горький взял ее, вслух зачитал:

—«Максиму Горькому. Сейчас у меня украли на станции Каляево две пары брюк и 16 000 рублей. Огромная просьба — помочь поклоннику Вашего огромного таланта»...

Лев Каменев был одет с иголки, по-европейски, так же — по-европейски, — любезно и улыбочиво, он принял Шаляпина:

— Весьма польщен подобным визитом...— Он жестом пригласил артиста сесть напротив.— Что привело вас в наш Дом Советов?

Шаляпин, опустившись в кресло и бегло оглядев изысканный кабинет, ответил:

— Убедить самого себя, что я тоже до некоторой степени народ.

— Не совсем уловил!

— Понимаете ли, наше социалистическое правительство очень беспокоит мое серебро. На днях, теперь уже в мою московскую квартиру, нагрянули солдаты с обыском и изъяли большую часть ложек и вилок. А вчера я получил внушительное указание: переписать все оставшееся серебро и эту опись представить в ваше учреждение. Вот эта бумага...— Артист протянул ее председателю Дома Советов.— Надо ли понимать так, что у меня отберут последнее?

Каменев, пробежав документ глазами, беспечно улыбнулся:

— Нет, нет, товарищ Шаляпин, вы, как и прежде, можете пользоваться серебром. Но... не забывайте ни на одну минуту, что если оно понадобится народу, то народ, извините, не будет стесняться с вами и заберет его у вас в любой момент.

— Хорошо, и все же... позвольте мне, товарищ Каменев, описи не составлять.

— Почему?

— Если я ее составлю, то, уже по описи, отнимут решительно все.

Весело посмотрев на Шаляпина, «высокий революционер» сказал:

— Пожалуй, вы правы. Жуликов много. Но не очень сердитесь: нынче много нужд у народа, народ исстрадался, но ничего...— Он поднялся и заходил перед столом кабинета.— Начинается новая эра, при которой исключительно все эксплуататоры и империалисты больше существовать не будут. И не только в России, но и во всем мире. И мы сделаем для этого все!

Артист поднялся тоже.

— Оно, может, это и хорошо, но вот надпись над Домом Советов... сделали нехорошую.

— Как нехорошую?

— «Мир хижинам, война дворцам». А, по моему, народу давно надоели эти хижины, похожие, простите, на нужники. Вы написали бы по другому: «мир дворцам, война хижинам».

— Ну... это надо понимать духовно, иносказательно...— Каменев, шагнув к Шаляпину, пожал ему руку.— А насчет серебра можете быть уверены. И, пожалуйста, думайте о нас лучше.

— Я и думаю,— ответил артист.

— Что?

— С таким веселым революционером, как вы, если даже в тюрьму засадите, жить приятнее.

Каменев коротко всхотнул и уже в спину уходящему Шаляпину вспомнил:

— А в Петрограде вас ждет сюрприз.

Артист настороженно остановился:

— Какой же еще?..

— Там и узнаете.

Долго и недоверчиво взирая на Каменева, он застыл...

В Петрограде, на сцене Мариинского театра Солист Его Величества Федор Иванович Шаля-

пин волею судьбы превратился в Первого Народного Артиста Советской Республики. Эту награду перед офицерами Красной Армии и после первого акта «Севильского цирюльника» ему вручил Луначарский. При всей симпатии к великому певцу, хочется отметить злополучную «закономерность», которой, за редким исключением, подвержена наша интеллектуальная элита во все времена: охаивая и понося в своем кругу власть, она, тем не менее, охотно принимает от нее награды. И более того — довольно часто ссорится из-за них...

* * *

— ...«Сталину... Будьте беспощадны! Повсюду необходимо подавить беспощадно этих жалких истеричных авантюристов. Моя подпись». — Ленин взад-вперед мерил решительными шагами небольшую комнату в Кремле с телеграфным устройством.

У окна на стуле в молчаливой угрюмости сидел Троцкий.

Вождь остановился, выставил палец в сторону безликого службиста:

— «Пенза. Губисполком... — продиктовал он новую телеграмму. — Необходимо провести беспощадный массовый террор. Сомнительных запереть в концлагерь вне города».

— Пустить в ход карательную экспедицию, — подсказал Троцкий.

— «Экспедицию карательную пустите в ход. Телеграфируйте об исполнении. Предсовнаркома Ленин». — Он развернулся к соратнику. — Пока будто все?

— А Саратов?..

— Да, последнюю. «Саратов Пайкесу Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты Ленин»...

Выйдя с Троцким в просторный кремлевский коридор, вождь сказал:

— Начните совещаться без меня, я назначил встречу Горькому.

Лев Давыдович усмехнулся.

— Вы от него не устали?

— Что делать? — Ленин развел руками — Надо.

— Не люблю я этого «буревестника», Владимир Ильич.

— Отчего же?

— Писатель он некудышный, а главное — двурушник. У меня есть достоверные сведения, что в богемном кругу он костит большевиков.

— Что ж, допускаю. Но нам эта фигура пока крайне необходима. Так что, потерпим, Лев Давыдович.

— Разве что. Уж очень он не умен.

Ленин согласно покивал.

— Умников мало у нас. Русский умник — это всегда еврей или с примесью еврейской крови. А вот и Алексей Максимович!

Из-за поворота коридора навстречу соратникам вышел Горький. Лицо его было взволнованно, голос дрожал:

— Владимир Ильич...

— Знаю, знаю, — прервал его тот с усмешкой — Опять кого-нибудь арестовали?

— Да. Товарища, абсолютно ни к чему не частного...

Вождь лукаво прищурил глаза.

— Удивляюсь, как в нашем бедламе вы еще сами до сих пор на свободе?

Троцкий хихикнул, писатель, метнув на него косой взгляд, спросил

— Что сие означает?

— Шутка.— Ленин рассмеялся и взял Горького за плечо.— Идемте, Алексей Максимович, в кабинет. Да...— Он обернулся к соратнику — Резолюцию без меня не принимать, дождитесь

Троцкий утвердительно нагнул голову и пошагал в конец другого коридора...

Троцкому, впрочем, как и Ленину, было все равно, где делать революцию. Предпочтительнее, конечно бы, в Германии, но так вышло, что эта «миссия» выпала стране с «подлым — по словам Льва Давыдовича — земледельческим населением», с «вредной биологической массой» Троцкий был человеком «с размахом» не бесконтрольное правление в жалком аграрном государстве, а власть над миром — вот что являлось его конечной целью. Современники-оппоненты называли Троцкого империалистом наизнанку. Взорвав западный мир капитализма и поставив у руля вместо буржуазии пролетариат, он собирался всю прочую механику оставить прежней — то же угнетение крестьянства, та же эксплуатация колониальных народов, но теперь уже на благо пролетариата. Но вот как все взорвать?.. Вот тут Лев Давыдович и уповал на Россию. Она, по его мнению, отлично годилась на роль хвороста, разжигающего западный костер, а заодно — и пушечного мяса в предстоящей всемирной революции. Или; как любил выражаться вождь, «во всемирной драчке»

* * *

— ...Что вы хотите? — удивленно и гневно вопрошал Ленин.— Возможна ли гуманность в такой

небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас со всех сторон медведем лезет контрреволюция, а мы что же? Не должны, не вправе бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки.— Вождь говорил это, сортируя на своем столе ворох бумаг: рассовывая их по ящикам и складывая в отдельные стопки.

Горький сидел в одном из кресел его кабинета и был явно не в духе.

— Куда как умно,— заметил он,— бить при этом своих же.

Ленин скомкал какой-то правительственный бланк и с досадой швырнул его в корзину.

— Но какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке?

Писатель сумрачно уставился в пол и не ответил.

— Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками? Что вы компрометируете себя в глазах рабочих?

— Товарищи рабочие, Владимир Ильич, находясь в состоянии запальчивости и раздражения, слишком легко и просто относятся к жизни ценных людей. И это, а не мои ходатайства, компрометирует дело революции. Бессмысленная жестокость отталкивает от участия в ней немалое количество крупных сил.

— Вот!..— Вождь взял со стола телеграмму и потряс ею.— Подписано: «Иван Вольный». Небезизвестный вам крестьянский писатель.— И зачитал вслух текст: — «Опять арестовали, скажите, чтобы выпустили». Вот в нем я сразу по пяти словам чувствую человека, который понимает неизбежность ошибок и не лезет на стену из-за личной

обиды. А его арестовывают, кажется, в третий раз.— Эту телеграмму он тоже скомкал и механически выбросил. Спohватившись, Ленин достал бумагу обратно из корзины, расправил и сунул в боковой ящик.— Вам известно, что на воровском жаргоне означает слово — «мудак»?

Алексей Максимович не сказал «нет», он только сильно округлил глаза.

— «Человек — никогда не сидевший в тюрьме», — пояснил Ленин и сам же звонко рассмеялся.— Так что, многим и многим хныкающим интеллигентам не помешало бы недельку, другую посидеть в камере — для «поумнения». Особенно вашему любимцу Короленко — этому жалкому мещанину, плененному буржуазными пред-рассудками.

Горький вдруг тихо проговорил.

— Мне иногда кажется, что вы... Владимир Ильич... страшный человек.

Вождь на мгновение застыл, потом, точно в ознобе, передернул плечами.

— Любопытно... В чем же?

— Вы больше любите саму свою идею, но не живого человека, для которого она предназначена.

— Враки! — закричал Ленин.— Глупейшая выдумка!.. — Закричал, потому что писатель угодил в «самое яблочко». Он хаотично заходил, почти забегал по кабинету.— В этом винули и Робеспьера! Да, и его. А он, — умница! — как никто понимал, что террор — это эманация добродетели. Это — быстрая, строгая и непреложная справедливость, и тем самым он является проявлением добродетели.

Алексей Максимович встал во весь рост тоже, глаза его запылали гневом и горечью:

— Революция продолжается уже не один год, а люди не становятся чище и добродетельнее. Они ожесточаются, звереют...

Вождь близко подскочил к нему и, не дав договорить, стал дергать за борт пиджака:

— Чистейшая маниловщина! Демагогия!. Вас надо бить, бить и бить по голове, вместе с вашими сгнившими интеллигентами, и все равно вы не поймете: наша работа — это работа многих лет и десятилетий. Рабочие строят новое общество, не превратившись в новых людей, которые чисты от грязи старого мира, а стоя по колени еще в этой грязи. По колени!

Горький освободился от цепких рук Ленина и сел обратно.

— По колени — да, — сказал он, — но теперь не только в грязи, но и в крови.

Вождь взялся за голову, вернулся к столу и, сев на стул спиной к писателю, долго потирал ее в области правого виска...

На второй день после смерти Ленина «ренегат», «Иуда» и «предатель» Каутский в своем некрологе назвал его «великим человеком», который «ликвидировал анархию и создал свой порядок, превратив смертельно уставшую Россию в единый государственный организм». По мнению Каутского, «это было деяние, редкое в мировой истории». Однако дальше он писал, что «Ленин подобен «железному канцлеру». Если Бисмарк думал, что все большие проблемы времени должны быть решены кровью и железом, то так же думал об этом и Ленин...

Алексей Максимович, исподлобья наблюдая за вождем, проговорил:

— Анатолий Франс недавно заметил: «Кто желает насильственно облагодетельствовать чело-

вечество, со временем приходит к выводу, что люди — это сущие обезьяны. И тогда начинает рубить головы».

Ленин резко обернулся и, от обуявшей его ярости, не смог произнести ни слова. Вместо этого он стал часто и сильно колотить кулаком по столу...

Горький испугался и невольно вжался в кресло.

— Слюнтяи! Педерасты!..— вырвалось наконец из вождя.— Сопливое чистоплюйство, вот...— Он вдруг принялся подбрасывать вверх сложенные на столе бумаги и что-то лихорадочно отыскивать.— Вообразили спасти и открыть глаза — не вы первый!.. Вот где!..— Ленин выдернул на себя нижний ящик.— Тут коллекция...— Он со дна извлек блокнот, быстро залистал.— Плеханов: назвал меня «русским Робеспьером». Для Мартова — «партийный заговорщик». «Партийный Аракчеев» — это уже Акимов! А что они смогли сами, кроме разговоров? нуль! Болтающие «нули» — все исключительно! И уж простите за такую вольность, но даже Маркс: кто бы говорил сейчас о марксизме, не соверши мы в России революцию? А что вместо этого?..— Вождь, бросив блокнот обратно, снова стал ворошить бумаги.— Вот такая вот гадость вместо благодарности... Вот она! — Он нашел какой-то листок и опять затряс им.— Благожелатель, подобный вам, пишет — послушайте: «Вы оказались историческим несчастьем для России — могильщиком февральской демократии и основоположником нового типа государства — полицейской партократии». Каково?!

Писатель молчал.

— Понятно, вы с этим согласны.— Ленин сам себе покачал головой.— Жаль. Архижаль, что вы тоже слепы, как и остальные.— Навалившись на

край стола локтями, он застыл, уставившись в невидимую точку. После тягостного молчания он вдруг отрывисто спросил: — Так как, говорите, фамилия этого профессора?

— Ольденбург,— тихо и, никак того не ожидая, откликнулся Алексей Максимович.

— Хорошо. Я распоряжусь, его освободят сегодня же.

Горький поднялся. Смущенный и виноватый.

— Спасибо, Владимир Ильич. Всего доброго

— Постойте, я провожу...

Спускаясь рядом с писателем по широкой мраморной лестнице, вождь неожиданно сказал:

— Вам бы сейчас уехать, Алексей Максимович.

— Куда? — Горький сразу остановился.

— Идемте, идемте.— Ленин, улыбнувшись, подтолкнул его снова вниз.— Как бы вы посмотрели на границу? Отдохнете от нашей «робеспьерщины», подлечитесь... Кашель у вас нехороший.

Алексей Максимович нахмурился.

— Ладно, не сердитесь, нет, так нет.. — Вождь, не закончив фразы, вдруг подогнул колени, осел набок и покатился с шести оставшихся ступенек на пол. Там он сразу сел и стал с огромным трудом поднимать обвисшую правую руку левой.

Горький, не в силах сдвинуться с места, замер — оканемевший и онемевший.

Взгляд Ленина бессмысленно блуждал, он, продолжая отрывать от пола мертвую руку, не мог почему-то говорить и издавал невнятные мычащие звуки:

— Му-у-у... а-я... мя... мы... нмо-у... Не моя,— вдруг произнес он совершенно четко и уже нормально, но с явным недоумением посмотрел по сторонам. Правая рука вождя, как ни в чем не бы-

вало, согнулась и разогнулась, он встал. Поглядев на потрясенного писателя, он поинтересовался:

— Что со мной случилось?

— Вы... вы упали и потом... Вы чем-то серьезно больны, Владимир Ульянов.

Ленин отмахнулся:

— Пустяки. Обычное переутомление, не больше.

Алексей Максимович, не соглашаясь, замотал головой.

— В общем, так: — повелительно сказал вождь, — инцидент исчерпан и попрошу — никому об этом ни полслова!..

* * *

Болезнь Ленина только начинала развиваться, он был, по-прежнему, полон энергии и принялся воплощать в реальность свою давнюю идею: установить в стране продовольственную диктатуру...

На Россию после холеры обрушилась новая напасть — сыпной тиф. Но более кошмарная — кровавая «продразверстка», нацеленная на изъятие всех излишков хлеба у деревни. В ответ на это крестьянские лидеры Антонов, Сапожников и Махно объявили большевикам «малую гражданскую войну». Новая волна протестов, в виде забастовок и открытых митингов, прокатилась и среди зреющих рабочих: в Туле, в Брянске, в Петрограде, в других крупных городах. Власть не церемонилась. По распоряжению Троцкого: «Расправиться беспощадно!», в одной только Астрахани было расстреляно и утоплено около 3 тысяч взбунтовавшихся представителей «революционного пролетариата»... Маховик самоистребления раскручивался все сильнее...

Лев Давыдович Троцкий сидел в той самой ложе Большого театра, которую раньше занимали великие князья. Сидел грузно и спокойно. Рядом с ним, на мягких бархатных стульях, находились несколько представителей правящих верхов Дзержинский, Луначарский, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, последний ряд занимали Сталин и Ворошилов.

В театре (он был весь увешан кумачом) проходил большой коммунистический вечер. Шаляпин, завершая исполнение романса Глинки, долго, с застенчивой глубинной тоской дотягивал последнюю ноту. Наконец смолк. Некоторое время стояла тишина, затем раздались громкие аплодисменты.

Правительственные деятели сдержанно похлопали тоже. Прозвучало объявление:

— Антракт!

Они зашевелились, но, увидев приближающегося Шаляпина, остались на местах. Ложа имела прямое соединение со сценой, и артист подошел к ним этим путем.

— Здравствуйте! — сказал он всем. И, повернувшись к военкому, повторил конкретно: — Здравствуйте, товарищ Троцкий!

Тот, не двигаясь, не подавая руки, без какой-либо интонации ответил:

— Здравствуйте.

От этой безучастности и неподвижности Шаляпина стало не по себе.

— Видите ли... — сбивчиво заговорил он, — я не за себя, конечно, пришел... за актеров... просить у вас...

— Что? — Острые и энергичные глаза Троцкого блеснули из-под очков.

— Гражданская война все идет, а с пайками все неладнее... Особенно актеры страдают от недостатка жиров... — Артист запнулся, он заметил на лицах некоторых вождей едва уловимые усмешки. Лев Давыдович бесстрастно приказал:

— Продолжайте.

— Вот я поэтому к вам... Трудно им, паек уменьшили, а мне сказали, что это от вас зависит — прибавить или убавить.

После секунды молчания, оставаясь в той же неподвижной позе, Троцкий четко и веско ответил:

— Неужели вы думаете, товарищ, что я не понимаю, что значит, когда не хватает еды? Но не могу же я поставить на одну линию солдата, сидящего в траншеях, с балериной, весело улыбающейся и танцующей на сцене?

Шаляпин ступешался.

— Да, резонно... — пробормотал он. — Извините... — И попятился на сцену обратно.

Вожди смотрели на отдаляющегося артиста с безмолвным отчуждением, даже приветливый Каменев...

* * *

Горький и Ходасевич — худощавый, лет тридцати с лишним человек, с тонкими чертами лица, неторопливо прогуливались вдоль петроградской набережной. Дул осенний ветер, но не сильный, по Неве бежала легкая рябь. Город, как и все последние три года, был почти безлоден, и силуэты домов на фоне серого неба выглядели особенно одиноко и сумрачно. Алексей Максимович шел, иногда опираясь на трость, и, глядя под ноги, говорил:

— ...Русская литература — самая пессимистиче-

ская литература Европы, Владимир Фелицианович. У нас все книги пишутся на одну и ту же тему, о том, как мы страдаем: от не­достака разума, от гнета самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устройства вселенной, от недостатка зубов, несварения желудка, наконец от необходимости умереть.

— Но пока больше от большевиков,— вставил Ходасевич.

Писатель, покосившись на него, никак не отреагировал на это замечание и, спустя паузу, продолжил:

— И никто до сего дня не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался.

Ходасевич метнул из-под очков ироничный взгляд.

— Вы полагаете, такая книга возможна?

— К сожалению, нет.— Горький вздохнул.— Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренне любить, а значит, и всегда прибывать в радости. Уже только эта одна необходимость раздвоения души — неизбежность любить сквозь ненависть, осуждает современные условия жизни на разрушение.

— Очень удобная философия для Ленина.

— Да! — вдруг запальчиво отозвался Алексей Максимович. Он зашел наперед собеседнику и остановился.— В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как он, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастьям и страданиям людей.

— Принося им тем самым страдания новые.

— Но это неизбежность! Как вы не понимаете?.. Никуда от этого не деться.

Ходасевич отшагнул к парапету и, облокотившись на него, стал смотреть на стальную воду. Горький встал рядом, но боком, глядя вдаль, на шпиль Петропавловской крепости...

Владимир Ходасевич, как «сбежавший эмигрант», 70 лет у нас не печатался. Ныне он приравнен к таким поэтам, как Цветаева, Мандельштам, Ахматова и Пастернак. Владеющий несколькими иностранными языками, прекрасный стилист, глубоко образованный — Ходасевич в 20-ом году начал сотрудничать с Горьким во «Всемирной литературе», в Петрограде, куда его вытянул Алексей Максимович из Москвы, где он наверняка бы сгинул от ретивых большевиков. И поэт до конца дней ценил это.

Добрый, тонкий, порядочный человек, он смолodu приобрел за свою ироничность репутацию «злой язвы». Шкловский о нем говорил: «У Ходасевича муравьиный спирт вместо крови. В крови его микробы жить не могут. Дохнут...»

— Счастье и несчастье, Алексей Максимович, это как левая и правая рука,— сказал после долгого молчания Ходасевич.— Как трава. Всегда были и будут И страдания — тоже. И мерзость неустранима, ибо она во всякую эпоху своя. А товарищ Ленин со своим «воинствующим оптимизмом материалиста» тянет Россию под узды в страну блаженных идиотов, которой пока не было и, слава Богу, быть не может. Его непримиримость наломает, и уже ломает, столько русских костей, во имя их счастья, что лет эдак через 50 самодержавие покажется нашему народу, так любимому вами, «золотым сном».

Горький задето усмехнулся.

— У меня не меньше вашего претензий к этому человеку. И все же позвольте мне верить, что его роль в хаосе мира — роль врага хаоса.

— Неужели вы всерьез думаете, что мир, так разумно устроенный, есть хаос? И что именно не мы сами его и вносим?

Алексей Максимович неопределенно хмыкнул и тронулся с места. Ходасевич пристроился рядом.

— Я понимаю, вы увлечены им,— проговорил он раздумчиво,— и все же ни один человек не вправе распоряжаться судьбой другого, кроме Бога. А Ленин, если уж говорить о роли, эту роль на себя и взял. Но... с религией ненависти ко всем инакомыслящим и инакочувствующим.

— Да-а...— протянул Горький.— Жестокая вы в оценках личность. Кстати, жестоко вы написали и о Брюсове, но — превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне. Так же.

— Хорошо, Алексей Максимович.

— Не забудете?

— Не забуду.

Они понесли молча, каждый думая уже о своем...

* * *

За кулисами Мариинского театра творился переполох. Администрация, артисты бегали в гримерную, на сцену, по коридорам, заглядывали в туалет, опять на сцену — друг у друга спрашивали:

— Где Федор Иванович?..

— Федор Иванович пропал! Второй акт, десять минут до выхода...

— Федор Иванович не появлялся?..

— Ничего не понимаю. Приходит обычно за час, распевается...

— Определенно что-то случилось...

— Боже, спектакль горит! Где же этот чертов Федор Иванович?

— Да вот он я!

Все обернулись на мощный голос артиста и в недоумении застыли.

Шалапин выступил из-за декорации, но... в рабочей спецовке и с молотком в руке.

— Что это... значит? — в ужасе спросил старший администратор.

— А вы поинтересуйтесь этим у нашей партийной ячейки.— Артист указал молотком на группу людей в таких же, как у него, спецовках.

Администратор грозно к ним подступился:

— Вы чего, пьянь такая, натворили?

— Ты потише, потише,— ответил один из них.— Недобитый. Коля, огласи этим лакеям буржуазии нашу резолюцию.

От группы сделал шаг красномордый здоровяк.

— В общем так,— сказал он: — партячейка рабочих сцены, бутафоров, декораторов и артистов миманса постановила ходатайствовать перед товарищем Зиновьевым, чтобы на театре всем была положена одна плата. И ему...— Здоровяк кивнул на Шалапина.— Огребает тыщи, а по времени работает с нами одинаково.

— Идиоты! — закричал администратор.— Я тоже хочу получать зарплату английской королевы! Вы что с чем сравниваете?

— А для тебя... жиденок,— сказал тот, что назвал его «недобитышем»,— у нас особь статья: как работнику языком, получать втрое меньше.

Администратора от подобной выходки перекосило, он язвительно заметил:

— Боюсь, товарищ Зиновьев вас не поймет, он тоже еврей.

Красномордый парировал:

— Он — еврей пролетарский, а ты — жалкий прихвостень капитала.

Администратор взглянул на часы и схватился за голову:

— Что творится, Боже! Через минуту второй акт. Федор Иванович, что делать?

— А ничего,— ответил Шаляпин.— Пусть вот партячейка и поет, а я вместо них стану забивать гвозди.— И невозмутимо начал приколачивать какую-то доску.

Старший администратор повалился в обморок...

* * *

— Все, Алексей,— заявил Шаляпин,— теперь сбегу.

— Куда же?

— А куда глаза глядят. Хочу в Америку

Он и Горький голыми сидели в горячем бассейне турецкой бани.

— Нехорошо, Федор. В певческом искусстве ты равен Пушкину, не меньше. Как же без тебя Россия?

— Обойдется. Особенно твой разлюбленный приятель Ленин.

— А народ?

— Где ты его видишь? Большевички из него уж всю душу вытрясли. Масса, помешавшаяся на красном кумаче,— вот что осталось.

— Однако ты хватил.

— Эх, Алеша...— Шаляпин вздохнул.— Вспомни, как мы думали: будет революция, отстранят заурядного царя, а власть перейдет к умным, благородным да самым талантливым. Дадут они людям равные права, землю, волю и скажут: «Работайте, подымайте Россию, а мы вас, если что не так, в нужное русло направлять станем». А что вышло? Прав был Иван Бунин. Перед отъездом

он сказал: «Более наглых жуликов, чем большевики, мир не видел. Их счастливое будущее — это вечная сказка про красного бычка».

Писатель усмехнулся в намокшие обвисшие усы и, осуждающе поведив головой, ничего не ответил.

— Они, Алексей, — наш рок, — снова сказал певец. — Тут на днях один из наших актеров меня огорошил. Он на астрологии помешан. Так вот, говорит: «Если бы большевики захватили власть в июле, как они поначалу и собирались, то все бы кончилось большой говорильней: спорами да дискуссиями, как и куда дальше двигаться. А Октябрь упал на знак «Скорпиона». Вот кошмар-то

— И что же сие знаменует?

— А то, что пока друг друга не сожрем, не успокоимся. Что сегодня и наблюдается.

— Бабы сказки это, Федор. А ты — дитя малое

— Устами младенца...

Алексей Максимович, не дав другу договорить, встал в воде по пояс. Он был очень худ, с торчащими лопатками и шрамами на груди.

— Ты зачем меня в баню зазвал?

— Обмывать Народного артиста, а что?

— Вот и давай! От политики меня уже воротит.

В просторном отдельном номере стояли мягкие диваны в белых чехлах, посредине был закольцован небольшой бассейн с ажурным фонтаном в центре. На его бордюре стояли четыре стакана с водкой. Горький и Шалапин, выйдя из турецкой парной, тотчас залезли в прохладную воду и, сев на дно по шею, блаженно замычали. Артист тронул рукой грудную клетку друга.

— Не знал, что ты такой покалеченный. От чего это?

— Это... — писатель показал на шрам в области

сердца,— стрелялся. А здесь — один дурак в Нижнем ножом ударил.

— Зачем?

— У него, как у тебя ко мне, тоже были политические претензии.— Алексей Максимович, обернувшись на стаканы с водкой, спросил: — А чем закусывать?

Шаляпин зычно позвал:

— Митрич!..

Из дверей мигом явился улыбающийся старичок с пушком на голове. На подносе он держал банку с сардинами.

— Все готово-с, господа пролетарии!

Артист снял с бордюра два стакана, один передал Горькому.

— Если без скромности, Алексей, я ведь и правда Народный.

Друг подтверждающе кивнул.

— А то, что пожаловали меня в него большевики — от судьбы, как говорится, не уйдешь. Давай!

— За твой талантище!

Оба до конца осушили стаканы. Горький скривился и замахал Митричу руками, чтобы он скорей давал закуску.

Тот подцепил вилкой из банки сардину и швырнул ее в бассейн.

Шаляпин, пока она не утонула, точас схватил ее в воде зубами и быстро сжевал. Алексей Максимович выпучил глаза. В бассейн плюхнулась вторая сардина, артист тут же слопал и ее.

— Да бросай...— сквозь застрявшую водку выкрикнул писатель,— всю банку...

Митрич вытряхнул из нее все содержимое, сардины разлетелись. Горький рванулся наперерез Шаляпину и поймал одну перед самым его ртом. Оба стали перехватывать рыбу друг у друга зу-

бами, поспешно прожевывая ее и успевая при этом хохотать гулками басами...

Все стаканы на бордюре стояли уже пустыми, друзья, завернувшись в простыни, перебрались на диван и опять заспорили, теперь без тормозов, с хмельной откровенностью.

— ...Зачем ты его защищаешь? — напирал на друга Шаляпин. — Уж при мне-то?.. Ах, он, видите ли, тоже недоедает... А я тебе сейчас скажу правду, как на духу...

Алексей Максимович запротестовал:

— Не надо. Правду мерзкого быта я давно уже не переносу.

— Нет, брат, я все же выложу. Твой Ленин — нарочно организовал голод!

— Ты что, совсем спятил?

— А как прикажешь понимать, что он не дает крестьянам везти продавать в Питер и в Москву хлеб? Всюду выставил заградотряды. Как объяснишь, что при почти всеобщем голоде он запретил мужику засеять огород и держать корову? А что в Сибири хлеб сейчас есть — родня ко мне недавно из Омска приезжала и утверждает точно есть! — а вождь об этом помалкивает, это, по-твоему, что?

— Ну, что? — припертый к спинке дивана, спросил писатель.

— А то, что, кто будет владеть всем российским хлебом, перед тем народ и на брюхе станет ползать. А ему этого и надобно. И как, погляди, хитро да подло: крестьян грабит, хлеб складывает, а рабочих в городах в голоде держит

— А сие-то для чего?

— Чтобы пролетариат твой вконец на мужика озверел и разорил его уже подчистую.

— Да зачем же?! — в бессильном раздражении вскричал Горький.

— Такая у твоего «недоедающего» «хлебная политика». Оставить крестьян без кола, без двора, дабы шли они уже рабами на ваши «сельские фабрики». А ты, друг мой сердешный, своей антимужицкой философией этой банде потрафляешь.

Писатель вскочил.

— Тебе нельзя пить, Федор! Ты и так... не особо умный, а от водки и вовсе дуреешь. Опомнись! Какой-никакой Ленин, а твои декорации да костюмы он спас.

— Ах, какой благодетель! — закричал Шалапин. — Они что — мои? — Он тоже сдернулся с дивана. — Да настоящий-то вождь мне в ножки поклониться должен, что я о народном добре пекусь. А он это сделал только ради тебя!

— Почему?

— За твоим именем он перед культурным Западом как за каменной стеной. Ты — всем его гнусностям и народному кровопусканию романтический флер придаешь.

— Ах, ты... болван эдакий! Нет, определенно напился... Все — не прощу я тебя такого! — Горький, одной рукой удерживая на себе простыню, другой схватил со стула в охапку свою одежду и бросился вон из номера.

— А туфли... — крикнул вслед друг, — забыл?

— Подавись ими! — Алексей Максимович в ярости хлопнул дверью.

Шалапин сразу сник и, вновь опустившись на диван, застыл в сломленной позе...

* * *

Мария Игнатьевна, приподнявшись в постели на обнаженном локте, смотрела на Алексея Максимовича и кончиками пальцев другой руки во-

дила по его морщинистому лбу, утиному носу, усам и подбородку. Он лежал подле нее с прикрытыми глазами под шелковым одеялом. В дальнем углу спальни приглушенно светил ночник.

— Вот уж не ожидала,— тихо произнесла женщина,— что будет так...

Горький размежил веки без ресниц:

— Как?

— Так необычно... с вами.

— Мы по-прежнему на «вы»? — спросил он.

— Разумеется.— Мария Игнатьевна мягко и застенчиво улыбнулась.— «Ты» — это сразу проза. А в интиме, чем ее меньше, тем он длится дольше.

Алексей Максимович хмыкнул.

— Интим... И только?

Женщина выскользнула из-под одеяла в ночной рубашке и босиком подошла к столику с вином и закусками. Там она налила себе в хрустальный бокал янтарной жидкости, выпила до дна и с какой-то жадностью затянулась папиросой.

— О любви я никогда не говорила ни с одним мужчиной, Алексей Максимович.

— И даже... с Локкартом?

Мария Игнатьевна быстро взглянула на Горького.

— И с ним,— отозвалась она ровно и налила еще вина.— И хочу предупредить: я рассказала вам о себе очень многое, но, естественно, не все. То, что вы узнаете дополнительно, дело уж ваше — верить или нет. Но обо мне говорят немало вздора.

— Мне с вами тоже необыкновенно, Мария Игнатьевна,— ответил Алексей Максимович.— Как в другом мире. А по сему, кто бы ни притемнял вас из мира этого, для меня не будет иметь значения.

Женщина вновь улыбнулась своей удивительной внутренней улыбкой и опять выпила. Затем

прошла к коллекции нефрита, выставленной за стеклами объемистого шкафа. Изящные фигурки занимали несколько полок.

— Какое... совершенство! — сказала Мария Игнатьевна. — Это еще один ваш другой мир?

— Не только. Еще и единственная моя материальная ценность. В сущности, я нищий.

Мария Игнатьевна обернулась на Горького (он, оставаясь в постеле, тоже закурил) и согласно покачала головой.

— Я догадалась об этом, как только здесь поселилась. Однако слухи... «пролетарский писатель живет в роскоши, у него виллы и миллионы». Откуда подобное возникает?

Алексей Максимович равнодушно пожал плечами.

— У нас ведь как — один скажет: «такой-то подлец», — и пошла писать губерния. Каждый уже охотно повторяет «подлец», и держат во рту это слово, как дешевую конфетку. Но вы... не особо удручены моими материальными обстоятельствами?

Женщина сжала губы и несколько секунд молчала, как будто куда-то отдалившись.

— Я, Алексей Максимович, — проговорила она очень четко, — ведь только на вид женщина. Внутри я мужчина, и достаточно сильный. Да, да, не улыбайтесь. Я хочу, чтобы вы знали это, ибо свою жизнь и судьбу я делаю сама. Нужда или богатство — для меня вещи преходящие. Незыблемо одно — независимость моего духа перед любыми событиями. Это единственная ценность, которой стоит дорожить.

— Однако как хорошо вы вдруг открылись... — Писатель в приятном изумлении сел на кровати. Мария Игнатьевна чуть усмехнулась.

— Не торопитесь восхищаться, я принесу вам еще немало неприятностей. Я даже знаю, что они явятся в ваш дом в лице Зиновьева.

— Плевать я на него хочу?

— А я — нет. И действительно удручена, но в ином плане — вам бы следовало из России уехать.

— Это по какой же причине?

— Я догадываюсь, что ваша личная дружба с Лениным дает трещину. Она день ото дня станет расширяться, потому что вы не удовлетворитесь ролью статиста в революции и просителя за гонимых — вы будете все чаще и настойчивее ему возражать.

— Ну?..

— Придет время, когда он начнет вас избегать, а потом вконец отвернется. И тогда... вы не будете гарантированы от самого скверного.

— У вас и вправду мужской ум, — озадаченно пробормотал Горький. — То есть вы убеждены, что мои попытки спасти русскую культуру и интеллигенцию обречены?

— Да. Как это ни горько. А, кроме всего... в Эстонии мои дети, и я, хотя бы наездами, хочу их видеть.

— Но причем тут они?

— Если мы... — Мария Игнатьевна подчеркнула «мы», — станем жить за границей, все это окажется возможным.

Алексей Максимович как-то странно улыбнулся.

— Об отъезде, полагаю, говорить пока рано. А вот как бы вы взглянули на то, если бы я, как меня называют иные писатели — «человек прошлого века», — предложил вам... руку и сердце?

— Нет! — ответила она решительно. — Только не это.

Писатель сконфуженно поник.

— Не воспринимайте это как отказ, ни в коем случае,— торопливо объяснила женщина,— но официальных уз я не желаю. Давайте уговоримся. относиться друг к другу с уважением, но во всякую минуту считать себя свободными. Жить вместе, не насилуя эту жизнь, а как оно будет житься.

— Я согласен, но... тогда идите ко мне снова.

— А вот это — охотно!

Мария Игнатьевна улыбнулась и, пробежав по ковру, прыгнула на Алексея Максимовича, повалив его под себя на постель...

Мария Игнатьевна ошибалась редко... Через некоторое время у Горького начались неприятности. Они явились именно в лице Зиновьева и именно из-за нее. Председатель Петроградского Совета нагрязнул в квартиру писателя со вторичным обыском. Досмотрели только комнату Марии Игнатьевны: перетряхнули все ее белье, бумаги, платья и книги. Ничего не нашли, ничего не взяли и убрались восвояси. Алексей Максимович был взбешен. Он немедленно выехал в Москву, чтобы требовать прекращения травли, которой подвергал его Зиновьев. Там, в доме его первой жены Пешковой, по просьбе писателя собрались Ленин, Дзержинский и Троцкий. Если первые двое явились почти без охраны, то перед приходом Льва Давыдовича целый отряд красноармейцев оцепил всю улицу. Вожди, выслушав возмущенного Горького, решили заслушать Зиновьева. Его вызвали в Кремль, но на первом же заседании он разразился сердечным припадком. Зиновьеву дали каплеу, пожурили и отпустили с миром.

В этой «баталии» Горький выиграл одно: он добился для Марии Игнатьевны заграничного паспорта и разрешения Дзержинского на ее отъ-

езд. Вскоре Алексей Максимович отправил свою «невенчанную жену» в Эстонию и впервые всерьез задумался о собственной эмиграции из России...

* * *

Памятник Володарскому был взорван в области живота и обмотан в этом месте тряпкой. Теперь тряпка рвалась и хлопала под холодным февральским ветром и крутящейся поземкой. На постаменте крепко держался обрывок на две трети содранной листовки: «...Мировой капитал, чужая своя неминуемая гибель, в предсмертной агонии тянется окровавленными руками к горлу расцветающей весны обновленного человечества».

Сунув лица в поднятые воротники осенних пальто, мимо торопливо двигались, чуть ли не трусцой, Блок, Чуковский, Мережковский и Гумилев. Александр Блок жаловался:

— ...Эти совещания с Горьким все невыносимей... Он так подавляет, что при нем — я умираю.

— И все же, по-человечески, — сказал Корней Иванович, — Алексея Максимовича жаль. Запнулся.

Мережковский недобро ухмыльнулся:

— Вот, вот — и нашим, и вашим.

— Ты, Дмитрий, злой, и от этого многое не чувствуешь. — Гумилев еще выше натянул к голове воротник. — Помяните мое слово, Горький пойдет в монахи. В нем есть религиозный дух. Он вчера так говорил о литературе, что я подумал: ого! Его пролетарство прикрытие своей незащищенности. Иначе зачем ему спасать культуру от большевистского варварства?

Мережковский буквально взвился:

— Но какую ценой? Ценою оподления! Прости, Гумилев, но ты глуп: твой «монах» хуже всех большевиков — хуже Ленина и Троцкого! Те убивают тела, а этот убивает и расстреливает души. Своей религиозной, ты прав — религиозной, но одержимой до умопомешательства пропагандой однополушарного человека, который бдительно будет различать где черное, а где белое; где прогресс, а где мелкобуржуазное уныние; какие мать и отец сознательные, а какие ничтожные обыватели, которых следует перековывать...

— Он нигде такого не говорил.

— Если нет, так еще скажет! И помяни это мое слово тоже. Он...— Мережковский хлебнул ветра, поперхнулся воздухом и надолго закашлялся.

Его товарищи шли в промозглом феврале в абсолютном молчании...

* * *

— ...Надо очистить детские сердца от кровавой ржавчины этого нелегкого времени, надо восстановить в сердцах детей веру в человечество и уважение к нему...— Горький выступал перед педсоветом одного из петроградских детских домов.

Воспитатели слушали его в глубоком молчании и нахмурившись.

— В русских детях,— продолжал наставлять писатель,— мы должны снова пробудить социальный романтизм. Наша с вами задача — просветить маленьких граждан, жаждущих просвещения. Книга научит любить их...

— Простите...— вдруг прервал его один из педагогов.— Вы наших детей успели увидеть?

— Пока нет, но очень надеюсь.

— Так, может быть, сначала посмотрите? А уж потом обсудим, какие им читать книги.

— Что ж, в этом есть свой резон...

В большой грязной палате на тридцать железных коек с серым бельем и дырявыми одеялами, с замызганным столом у облупленной стены, с развалившейся печью и тремя покалеченными стульями перед Алексеем Максимовичем предстали исключительно одни девочки. В настороженной беспризорности, в лохмотьях и вшах, лет двенадцати — пятнадцати.

На ухо Горькому педагог шепнул:

— Все воровки, сифилитички, половина беременны.

Лицо писателя болезненно исказилось, от волнения у него перехватило дыхание.

— Дети...— сказал он и, не в силах говорить, замолк.

— Это что ж за чучело ты к нам привел? — сипло, но громко спросила одна из девочек, самая старшая, у воспитателя.

— Но, ты!..— осек ее тот.— Прикуси язык. Это великий пролетарский писатель — Максим Горький.

Беспризорницы, переглянувшись, хихикнули.

— Дети! — снова произнес Алексей Максимович.— Вы получите галерею литературных портретов ряда великих людей. И я хотел спросить вас...

— Ты бы, писатель, угостил нас лучше пивом,— опять сказала самая старшая.

— Хи-хи! — засмеялась ее подруга.— А меня папироской!

Горький опять онемел.

Девочки мигом обступили его плотным кольцом и кокетливо заверещали:

— Угости, не жмотничай...

— Ты же мужчина!..

— И, видать, с какой еще штуковиной!..

Они, завизжав, пронзительно начали хохотать. Старшая вскочила у стены на стол и, подняв до годового пупа юбку, крикнула:

— Смотри, писатель! И у меня штучка — но другая!

— И мы!..

— Нет, я!..

— И у нас!..

Беспризорницы, все как одна, стали прыгать перед Горьким и показывать ему свои срамные места. Спереди и сзади.

— Угости пивом, фраер!..

— Да он фальшивка, сучки,— без штучки!..

— А мы чичас проверим!..

Писателя принялись дергать со всех сторон за штаны.

Воспитатель сильно заработал руками и взялся их отталкивать и отгонять.

Алексей Максимович, глубоко потрясенный, не двигался и стоял со стиснутыми челюстями и окаменевшим на лице ужасом...

* * *

А «знак Скорпиона» продолжал накладывать на Россию свою неумолимую печать. Теперь в виде каннибализма. После голода в Крыму и на Украине наступил мор в Поволжье. Власти ввели сокращенные нормы выдачи хлеба — 100 граммов на детский рот. На улицы вновь вышли негодующие рабочие, за ними студенты, а в марте 21-го года моряки балтийского флота, «краса и гордость русской революции», подняли восстание в Крон-

штадте, с одним требованием: «Власть советам — без коммунистов!» Следом вспыхнул тамбовский бунт крестьян... Законное возмущение трудящихся «родное правительство» утопило в крови и удушило газами с помощью спецотрядов Троцкого и Тухачевского. Но хлебную норму не отменило. Более того — негибимый Ленин, твердо и последовательно проводя политику хлебной монополии, разогнал «Общественный комитет содействия голодающим», который был организован при содействии Горького. «Помголод» ликвидировали в самый разгар голода, когда по всей России смерть от него косила людей десятками тысяч. Среди этого беспредела неожиданно умер Блок, затем был расстрелян Гумилев... деяния большевиков походили уже на откровенный геноцид. Русский народ, что называется, ломали через колени. За три с лишним года «борьбы за светлые идеалы» в стране умерли от недоедания 3,5 миллиона человек, а 13 миллионов погибли в гражданской. Пока. Россия не уставала сама себя убивать...

* * *

Весь всдрюченный, в слезах, Горький нервно и продолжительно затрзвонил звонком в квартиру Шаляпина.

Дверь открыл сам Федор Иванович.

Алексей Максимович почти прокричал ему:

— Федя, они сделали из меня провокатора!.. Мерзавцы!..

— Кто?

— Эти бандиты! Я уговорил достойных людей организовать Комитет по голоду, я! А они их сейчас арестовали! И Кускову, и Прокоповича, и Кишкина...

- И Короленко?
— Нет, его пощадили. Мерзавцы! Сволочи! В каком я теперь свете перед границей, Федя?..
— Заходи.
— Не хочу? Давай куда-нибудь... Напьемся!..

* * *

Они нашли себе место у самой Невы, под одним из ее мостов, на гряде поломанных ящичков. Пристроившись среди этого хаоса, друзья держали на коленях по бутылке вина. Три, уже опорожненные, валялись рядом.

— ...Два ока за око! — негодовал Алексей Максимович. — Не один — все зубы за зуб — вот их мораль, Федор! Нет, я, пожалуй, сбегу раньше тебя!.. Как же они меня подставили, негодяи!

— Будет тебе, — сказал артист. — Лучше подумай, на что ты там жить станешь?.. Если сбежишь.

Писатель затеребил ус.

— Да, это загвоздка... Однако не пропаду. Надобно раскошелить подлеца Парвуса, он большие деньги у меня увел. Помнишь? За пьесу.

Шаляпин утвердительно кивнул, но усомнился:

— Время прошло немалое. И потом это такой хлюст — голыми руками не возьмешь.

— Ничего. — Горький оглянулся по сторонам и, хотя вокруг не было ни души, приглушенно сообщил: — Я так догадываюсь, что Парвус и был тем третьим лицом, что вел переговоры между немцами и нашими архибольшевичками.

— А доказательства?..

— Я и без них того прохвоста к стенке припру. Скажу: раньше молчал, а теперь, если, конечно, за границей окажусь, — не стану. Мне терять уже не-

чего, и, коли долг не отдаст, все о его поганой роли узнают. Ему есть за что держаться — миллионером сделался.

— Для таких дел ты, Алексей, не годишься. Тут дока нужен.

— Ладыжников мой... подойдет?

— Этот да. Своей степенностью он из этого вертухая душу вытрясет.

Друзья опять хлебнули вина и замолчали.

Сверху на мосту тяжело скрипела колесами колонна проезжающих броневиков, с посаженными на них сумрачными матросами.

— А этот у меня теперь покрутится! — вдруг сказал Алексей Максимович. — Я ему все выскажу. Уж до самого конца...

* * *

Вождь явно не ожидал такого натиска: он сидел, откинувшись в глубину кресла, и, задрав голову, изумленно взирал на высоченную фигуру Горького.

Писатель, стоя над Лениным, был неузнаваем. Он отбросил маску обычной мягкой стеснительности и говорил сейчас беспощадно и сухо, будто стрелял:

— ...Насилие... разруха... кровь... — и все ради одного — власти! Любой ценой вам нужна только власть, и ничто иное. Вот корень вашей революционности, ваших идеалов, вашего заморочивания мозгов целой нации. Вы, ловкий политический делец, сумели окрутить и меня. Пешков — стал в ваших руках пешкой, а теперь — и презренным посмешищем перед Западом! Ваша революция, совершенная «краплеными картами», стала торжеством лицемерия, невежества и солдатской

казармы. Вы — грубый шахматист! Для вас и вашего самовлюбленного актера Троцкого Россия — всего лишь испытательный полигон, не больше! И вам надо отдать должное в одном: не всякий отважится эксплуатировать злобу и ненависть обойденных и униженных во имя собственного политического триумфа. Вы...— Алексей Максимович резко смолк и невольно отступил назад.

Глаза вождя стали вдруг черными. И зрачки и белки. В глубине двух темных бездонных дыр сверкнула какая-то жуть и тут же пропала. Глаза опять стали обретать цвет, а лицо Ленина — человеческое подобие. Он рывком выдернул свое тело из кресла, сунул большие пальцы обеих рук под мышки, склонил набок голову, остро сощурился и, поднявшись на носки, стал похож на петуха, изготовавшегося сильно клонуть. Но не «клюнул» — у этого человека оказалось колоссальное самообладание. Относительно спокойным тоном он сказал:

— Отлично. Если уж я делец, так и давайте по деловому. По пунктам. Что вас не устраивает?

— Все!

— Это не разговор. Конкретно?

— Вы уже докатились до того, что арестовываете студентов за разговоры между собой. Вы держите страну во тьме и голоде, выдаете детям по 100 граммов хлеба на рот и одновременно разгоняете Комитет по голоду. Вы сделали из девочек сифилитичек, воровок и проституток. Вы напускаете на рабочих отряды красных курсантов. Ваше ЧК затравило население облавами. Вы громите крестьян, возмущенных грабительскими прод- и заградотрядами, и сажаете их в полевые концлагеря. Ваши Троцкий и Тухачевский нещадно расправились с «цветом революции» — с

балтийскими моряками. Они сейчас казнят тех, кто сделал Октябрь. Казнят добровольно сдавшихся в плен. Казнят без суда и следствия и не публикуют никаких данных. А вы... что делаете лично вы? На требование кронштадтцев «Советы — без партий», вы заявляете, что «диктатура пролетариата слишком серьезная вещь, чтобы ее можно было доверить самому пролетариату, и осуществить ее может только партия». Но сами на X съезде ликвидируете в партии всякую оппозицию, замыслив превратить ее в бессловесную массу, которая обязана лишь исполнять все установки партийной верхушки. Не думать, а подчиняться диктатуре партийной элиты! Что вы делаете?.. До каких пределов может дойти ваше властолюбие? А Гумилев?..— Лицо Алексея Максимова вдруг поплыло, суксилось, он заплакал, как ребенок, и, отвернувшись от безмолвно стоящего вождя, сел на стул.— За что вы убили и этого... безвинного и талантливое человека?..— Все эти обвинения дались Горькому не легко, но теперь, выговорившись, он раскис, страшное напряжение спало, воля его оставила, и он откровенно зарыдал.

Ленин быстро прошел к столу, налил из графина в стакан воды, принес писателю.

— Выпейте.

Расплескивая дрожащими руками воду, Алексей Максимович отпил три глотка.

— Вот и хорошо,— сказал вождь.— Выпустили из себя всю желчь и мерзость... это даже неплохо.

Писатель, вытирая глаза платком, упрямо и отрицательно замотал головой.

Ленин чуть усмехнулся. Затем, разделяя почти каждое слово, проговорил:

— Понятие диктатуры, Алексей Максимович, означает не что иное, как ничем не ограниченную,

никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть.

— А Капри? — все еще сквозь слезы откликнулся Горький. — Ваша мечта о правовом государстве... это на свалку?..

— Всею свое время. А пока отвечу словами, так нелюбимого вами Троцкого «Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть ханжой, чтобы этого не понимать».

— Это ужасно... Сие не устрашение, а изничтожение нации!

— И опять же цитирую вам Льва Давыдовича. «Мы, сыны рабочего класса, заключили договор со смертью, а стало быть, и с победой».

Приходя в себя и, отчужденно замыкаясь, писатель ответил

— Он — кроваво-романтический садист. И рабочим никогда не был.

— А вы?.. — Ленин тут же подался к нему всем корпусом. — Или я? . Кто мы такие?

Алексей Максимович, оставаясь сидеть на стуле, согнулся и угрюмо нахохлился

— Нет уж, откровенно, так откровенно — Вождь энергично заходил по своему кабинету. — И давайте начистоту . чтоб никаких больше недомолвок. — Продолжая фланировать мимо Горького и кося на него накаляющимся взглядом, вождь вдруг присел перед Алексеем Максимовичем на корточки и снизу заглянул ему в самые зрачки. Затем отставил указательный палец и продолжительно поводил им

Писатель скованно пробормотал

— Не понимаю вас... Владимир Ильич..

Ленин резко выпрямился и вновь стал мерить кабинет быстрыми шагами

— Отлично понимаете. Даже превосходно! — Он воздел вверх все тот же палец и потряс им — Вы далеко не недотепа, далеко! — Вождь круто развернулся к Горькому на каблуках. — Вы не задумывались, почему мы оба ненавидим мещанство?

— Как?.. Я полагаю, нравственные критерии, выработанные жизнью...

— Чепуха! Никаких критериев! Мещанство — питательная среда для возрождения мелкой буржуазии. А мы с вами — как раз из нее. Но те, которые — возненавидели собственный класс. Возненавидели, ибо этот класс нас отверг. Да, да! — Ленин замахал рукой на писателя, который собрался что-то возразить. — Я никогда не был так откровенен и больше не буду. Я вовсе не собирался быть политиком. Я намеривался сделать карьеру юриста, был круглым отличником и в гимназии, и в университете, и по поведению в первую голову. И не помышлял ни о какой революции. Но они меня... вышвырнули! Из-за брата! А вас — из-за бедности: рано умер ваш отец, заправлявший немалой пароходной компанией. И уж простите за такую язвительность, но ваш кокетливый псевдоним «Горький» — больше от этого. Признайтесь Алексей Максимович, вы и стрелялись оттого, что среда, в которой вы родились, вас не приняла. От безысходности. А потом и интеллигенция на вас кислую физиономию соорзила

— Ложь!..

— Я говорю об аристократах от интеллигенции. Она вас не приняла и не принимает до сих пор. И не примет. И меня — тоже. Наш «барин от марксизма» Плеханов всю жизнь считал меня недоучкой и выскочкой. А о вас у меня точные сведения: ваши коллеги по «Всемирной литературе», коих вы рьяно спасаете от голодной смерти, — они

отзываются о Горьком свысока и крайне пренебрежительно.

Писатель совершил движение подняться, вождь придавил его рукой обратно к стулу.

— Выслушайте два совета: первый — уезжайте. И лучше подобра-поздорову. Наши товарищи на вас крайне раздражены, и я опасаясь, что настанет час, когда я не смогу вас защитить. И второй: не лезьте к интеллигенции в задушевные приятели. Ни здесь, ни там. Не получится. Как не лезу к ней я. У нас с вами другая дорога. И будущее — за нами. Именно мы оседлали колесницу истории — не они! Так что давайте ехать вместе и поменьше ссориться. Путь долгий, нелегкий, через массу ухабов.

Алексей Максимович встал, громко высморкался в платок и решительно пошел вон. У двери он сказал:

— Ни на какой колеснице я больше не поеду. Она по оси в крови. А с вашими товарищами у меня нет и ничего не было общего.— И переступил порог одной ногой.

— А «слово»?..— крикнул Ленин.— Забыли? «Вначале было ваше слово»...

Горький отшагнул обратно в кабинет и застыл.

— Вы, оказывается, шутник, батенька...— Вождь, снова приближаясь к нему, неприятно улыбался.— Увидели свое «слово» во плоти, то бишь наши действия, и ужаснулись? А нам-то что делать? Мы-то — всего-навсего ваше, Алексей Максимович, порождение.— Он схватил писателя за руку и стал ее дергать.— Да-да, и не отопретесь! Нашалили, извольте держать ответ перед историей. Вы — автор, мы исполнители.

— Да в чем же авторство?

— А босяки? «Челкаши», так талантливо вами

воспетые!.. Для них же, в конце концов, мы и сделали революцию. А у босяков-люмпенов за душой пока ни дела, ни культуры — что же с них строго спрашивать? Вся наша ставка — именно на этот класс. Что прикажете делать?

— А рабочие?..

— На Россию их пока горстка — настоящих, квалифицированных. На кого же ставить?

— Кто... хоть с какой-то культурой...

— На мещанство?

— Не знаю.

Ленин отвернулся от Алексея Максимовича и отошел в дальний угол. Оттуда он, прищурившись, сказал:

— Скорее всего, так и придется поступить. Иначе — будем погребены под собственной разрухой. Станем превращать ваших «челкашей» в мелких собственников.

— То есть как... а все жертвы... напрасны? Вновь к тому, от чего ушли: к своей лавке, своему клочку земли, к зоологической психологии кулака-индивидуалиста?..

— А как, по-вашему, по-другому накормить страну? «Челкаши» теперь охотнее воруют общественное, чем, как прежде — личное.

Горький опять сел на стул. Сникший и удрученный.

— Вот видите, — заметил вождь, — к чему нас... привел ваш... абстрактный гуманизм пролетарского бунтаря. — И, откинув голову, вдруг заразительно и надолго засмеялся.

Писатель уставился на него исподлобья, с нескрываемой враждебностью.

— Однако не все потеряно, — оборвав смех, серьезно сказал Ленин. — В наших руках остается власть, за которую вы меня тут так карали. И

вот...— Он вытянул опрокинутую руку и сжал кулак.— Пока она здесь, новая экономическая политика, которую мы будем вынуждены повести, нам не помеха. Мы в любой момент свернем ей шею

Горький, подняв на вождя тоскливые, как у побитой собаки, глаза, вдруг тихо проговорил:

— Вы так восхищаете и вместе подавляете меня своей натурой, что глубоко в подсознании... я вас... ненавижу.

Ленин невозмутимо сказал:

— И все-таки: уезжайте. Уезжайте лечиться за границу, хотя бы на некоторое время. А не то... мы вас вышлем.— И, повернувшись к писателю коренастой спиной, покинул кабинет...

* * *

Осенью Горький выехал в Берлин. Как он сам предполагал — на небольшой срок, но который впоследствии растянулся на шесть лет

Алексей Максимович сидел в пустом купе поезда и сосредоточенно смотрел в окно на удаляющуюся Россию.

Заброшенные поля, перелески, сгоревшие или вросшие в землю скособоченные избы, брошенная военная техника, разрушенные полустанки, виселицы, отряды солдат, покарженные паровозы, дым, гарь, вывороченная снарядами земля, нищие оборванные люди...— все проплывало и оставалось позади, как в дурном сне... Неожиданно состав вздрогнул, завизжал тормозами, лязгнул тоннами железа, зашипел и остановился как вкопанный. В купе все затряслось и попадало с полка. Писатель опустил на окне раму со стеклом и, высунувшись, заглянул вперед.

Оттуда по однопутному пути двигался

встречный расходящийся локомотив. Он тянул за собой длинную вереницу открытых платформ.

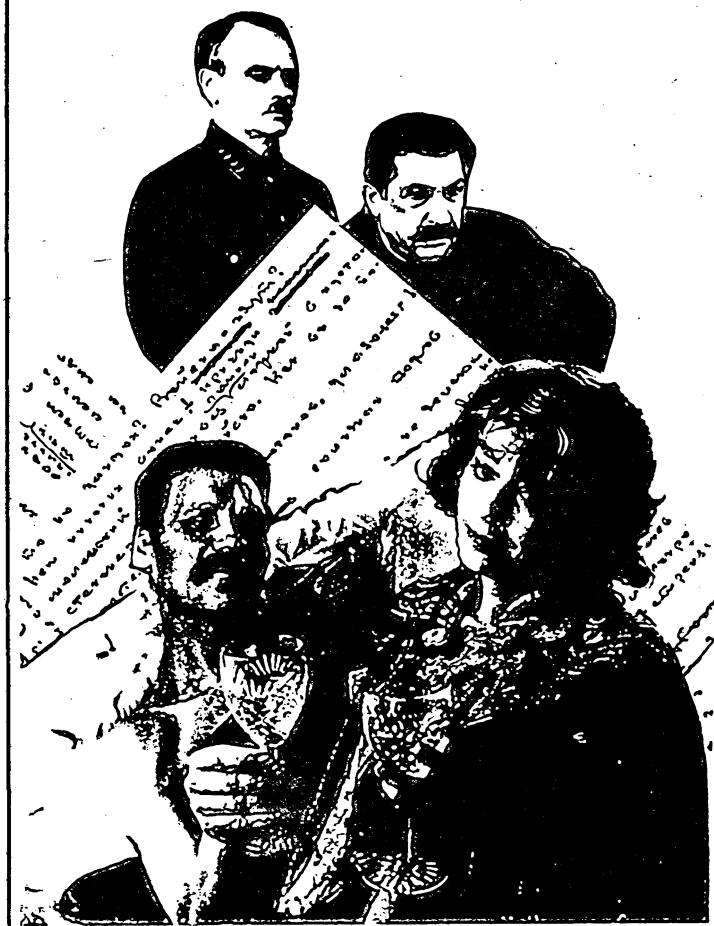
По мере его приближения, Алексей Максимович все дальше отстранялся от окна, пока не замер, чем-то пораженный.

На тихоходных платформах штабелями лежали синие окоченевшие трупы людей в одном исподнем. На них вдруг повалил октябрьский снег 1921 года. Крупный и мягкий... Неожиданно один из трупов сели, проезжая, помахал писателю рукой. Это был опять тот самый человек из его сна, с острой бородкой.

Горький, проводив его остановившимся взглядом, вдруг дернулся всей грудью, отвернулся и, согнувшись, исторг из себя прямо на подушку темный сгусток. У Алексея Максимовича открылось кровохарканье. Он стал долго, надсадно и страшно кашлять — словно отплевываясь от всей крови, захлестнувшей Россию...

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я

ВЫБИТЫЙ ЗУБ



АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ СОШЕЛ С ПОЕЗДА большим, усталым и изможденным.

— Ну,— сказал он, и глаза его увлажнились. Горький первым обнял сына, затем невестку, последним художника Ракицкого. На Берлинском вокзале никто больше писателя не встретил.

Следом за Алексеем Максимовичем носильщики вынесли четыре запакованных ящика.

— Что это? — спросил Максим.

Отец уныло развел руками:

— Я, братцы, приехал без копейки. На сию коллекцию нефрита надобно бы срочно найти покупателя...

* * *

Легковой автомобиль неторопливо покати́л по Берлину.

Всматриваясь в чистые улицы, в ухоженные дома, в размеренных немцев на тротуарах, Горький с переднего сиденья обернулся на сына, его жену и Ракицкого:

— Живут и горя не знают. Кто нас так наказывает?

— Да ведь сами же,— лениво откликнулся художник и зевнул.

Писатель, поджав губы, долго и согласно покивал. Затем поинтересовался:

— Что ж не встретили Мария Федоровна с Крючковым?

Ответила невестка:

— Берлинское торгпредство послало их в Париж на выставку, Алексей Максимович.

— Как вам-то здесь?

— Да так, папаша,— неопределенно отозвался Максим.— Катаюсь по Европам с пакетами да донесениями. «Тимоша» иногда со мной.— Он обнял за плечи жену.

— А что в свободное время?

— Сытых немцев рисовать не могу, раскрашиваю в книгах картинки.

Алексей Максимович укоризненно сказал невестке:

— Вам бы, Надя, эту ребячливость из него выбить надо.

Сын усмехнулся.

— «Тимоша» сама — бабочек рисует, да цветы в вазе. Вон, Ракитский.. натюрморты для нее устраивает.

— Точно,— спокойно сознался тот,— понемногу валяем дурака и устраиваем балаган. Как думаешь, Максим, «кондор» комод поднять может?

Тот в тон ему ответил.

— Конечно, может!

— А «кондор» два комода поднять может?

— Два нет, у него уши набекрень.

— Да-а...— тяжело вздохнул Горький и опять стал вглядываться в Берлин.

Остальные примолкли тоже...

Художник Ракицкий, как однажды прилип к жизни писателя, так до конца его дней и не отлип. Чем-то он устраивал Алексея Максимовича: то ли

как покладистый спорщик, то ли как некое индеферентное существо, которому, ничем не рискуя, все можно было высказать — и похвастать собственным талантом, и на кого-то обидеться: Своеобразная «душевная мебель». Эта «мебель» никогда ничего не делала, чаще всего лежала на боку, всегда чем-то болела, но жила хорошо и сладко. Ракицкий был образован, знал пять языков, умел рассказывать истории и приятно петь украинские и еврейские песни. Читал он всегда то, что никому не приходило в голову читать: о Наполеоне на острове Елены или о нравах обезьян в районе реки Амазонки. Ракицкому покупали костюм, водили к зубному, а в редких случаях использовали его по хозяйству в отсутствие той или иной женщины-хозяйки. Еще он очень много спал...

— Значит, скверные у нас дела, «Дука»? — нарушая молчание, спросил Ракицкий.

Писатель удрученно качнул головой.

— А прежние договоры, из них ничего не выгорит?

— Ничего. Победоносная революция их аннулировала.

— Что ж, придется тогда печататься здесь Максиму. Какой ты недавно стих придумал?

Сын Горького с удовольствием продекламировал:

— Сейчас я подойду к окну

И вниз на публику какну!

Все засмеялись, кроме отца. Он сжался и втянул в плечи голову, — было заметно, что от этого двустипшия ему хочется провалиться сквозь землю. Неожиданно Алексей Максимович дернулся всей спиной и надолго закашлялся в платок...

Парвус — еврей огромного роста и необъятных размеров, с нервной усмешкой сказал:

— Не было печали, так вас теперь уже черти накачали.

Иван Павлович Ладыжников посмотрел на него хмурым взглядом и никак на эту реплику не отреагировал. Степенный, коренастый и невозмутимый, он вышагивал рядом с Парвусом по Монмартру.

Парвус показал на крошечное кафе, сказал:

— Зайдемте. Вы выпьете кофе, а я, простите, в туалет. От вашего известия у меня случился понос.

Войдя в кафе, он повесил в гардеробе свой макинтош и сразу скрылся в кабинке. Ладыжников, сторожа его, сел за стойку бара, попросил соку со льдом и принялся неторопливо потягивать его через соломинку...

Ладыжников — поверенный в издательских делах Горького — был единственным надежным человеком в жизни писателя, на которого тот всегда мог положиться. Он поймал Парвуса в Париже, чтобы выбить из него деньги. Александр Лазаревич Парвус в 1903 году получил от Горького доверенность на сборы доходов от пьесы «На дне» во всех европейских театрах. Договор был такой: 20 процентов от вырученных средств — Парвусу, 40 — в кассу большевиков и 40 — автору. Однако все деньги, 130 000 золотых немецких марок, остались в кармане Александра Лазаревича Гельфанда — такова была его настоящая фамилия. Будучи гурманом и большим охотником до женщин, он заявил, что его попутал бес и вся сумма израсходована им на прекрасную блондинку. В

тот период деньги к Алексею Максимовичу текли рекой (за одну брошюру ему тогда платили 5000 долларов; и именно тогда Ленин писал Богданову: «Тащите с Горького хоть понемногу»), и писатель относительно легко примирился с потерей. Кроме того, с Парвусом не очень хотелось связываться и по другой причине: он был не только авантюрист, но еще и теоретик социалистического движения. Покинув Россию в 19 лет, Александр Лазаревич приехал учиться в Швейцарию, где тесно сошелся с Плехановым, Аксельродом и Верой Засулич. Многие удивлялись его уму, энергии и способности к теоретическому мышлению. Переехав в Германию, Парвус стал своим человеком в доме Розы Люксембург, познакомился с Бебелем, Каутским, спорил с Бернштейном и начал писать в ленинской «Искре». Он стал «крестным отцом» Троцкого. Именно от Александра Лазаревича тот усвоил и развил идею «перманентной революции». Этот же Парвус устроил «ленинцам» проезд из Швейцарии, через воюющую с Россией Германию, в plombированном вагоне. Он же, как советник по революционному движению в России при германском генеральном штабе, был главным посредником в «дьявольской сделке» между немцами и большевиками. И все же Алексей Максимович попытался с Александра Лазаревича «сбить спесь». Он поведал немецким социалистам о его мошенничестве, за что тот был изгнан из партии, а русскими социалистами подвержен остракизму. Троцкий отвернулся от Парвуса одним из последних. Но 130 000,— которые Парвус и не собирался проматывать, стали для него тем капиталом, на котором он развернул свои дела во всеевропейском масштабе. Тогда он легко перенес «отлучение от социализма» и начал новую

жизнь, наживаясь на военных поставках с Германией и валютных махинациях. Именно деньги Горького стали той базой, на которой «агент» и «спекулянт» Александр Лазаревич сделался богатым человеком, собираясь одно время издавать 200 ежедневных газет сразу — в России, Китае, Афганистане и Японии на сумму в 200 миллионов...

Тучный Ладыжников неожиданно резво встал, приблизился к туалетной кабинке, прислушался и быстро вышел на улицу, прихватив верхнюю одежду Парвуса.

С тыльной стороны кафе небольшое окно было распахнуто настежь, тот по булыжной мостовой торопливо уходил вниз.

Тягучим басом Ладыжников его окликнул:

— Александр Лазаревич, а макинтош? Мне он не по размеру.

Парвус остановился и стукнул себя по лбу ладонью:

— Боже, я совсем забыл, что вы меня дожидаетесь. Так на чем мы остановились? — И сел на паркет, выложенный из неотесанных камней.

Иван Павлович, медленно подойдя и передав ему одежду, ровным голосом напомнил:

— На 130 000 золотых немецких марках, растраченных «на блондинку». По сегодняшнему дню — это 35 000 долларов.

— И всего-то?

— Для Алексея Максимовича эта сумма немалая.

— Но ведь и для меня, любезный. Наличных нет — хоть убейте. Все в делах.

— Нам можно выплачивать и частями. Скажем, по две тысячи каждый месяц.

— С ума сойти! Куда столько? Если учесть фу-

рор, который произвел приезд Горького в Европу, он здесь столько зарабатывает — гребни лопатой!

— Не трудитесь считать чужие деньги,— присек его Ладыжников.— Какие бы сенсации об Алексее Максимовиче сейчас ни писали, тираж его книг все одно упадет. На небосклоне литературы новые имена.

— А кино? Я слышал, он намерен писать киносценарии — так это же бешеные барыши!

— Не думаю, чтобы из подобной затеи что-то вышло. А «семья» у Алексея Максимовича здесь будет побольше, чем на Капри, так что, понимаете сами:

— Ну и гнал бы он этих «прихлебателей»! Сколько можно пить кровь из пролетарского писателя?

— Пока больше всех выпили ее вы. И перестаньте валять «ваньку», господин Гельфанд. При ваших то тратах, при трех домах в Копенгагене, замке в Швейцарии, миллионах в Женевском банке, при содержании вами дворца на острове посреди озера Ванзее,— 35 000 долларов, плюс три с половиной процента годовых — сущий пустяк.

— Как?! Еще и проценты?

— А почему нет? Мы ведь с вами деловые люди.

— С какого же года?

— С того самого — с 1903-го.

— За семнадцать лет? Нет, это идиотизм, я решительно отказываюсь! — Парвус встал, натянул на свою громадную фигуру макинтош и опять пошел вниз.

— А суд? — спросил вслед Иван Павлович.— Не третейский, как прежде, а истинный. Да еще в Германии. Вас настоящий суд, с подробностями в прессе,— устраивает?

Александр Лазаревич вновь застопорил, его лицо подернулось жесткой усмешкой.

— А вашего подопечного — тоже? Новая слава на всю Европу, но теперь уже как сутяги?

— Полагаю, теперь Алексей Максимович такое переживет. А вот вы вряд ли. Особенно некоторые детали, которые неминуемо вскроются в ходе суда.

— А точнее?

— Ваше посредничество между немцами и большевиками.

Парвус заржал. Громко, как лошадь. Но видя невозмутимое лицо Ладыжникова, смолк и зло спросил:

— У вас есть соответствующие документы?

Иван Павлович ответил вопросом:

— А вы-то как считаете?

Александр Лазаревич, окончательно сбросив маску добродушно-глуповатого толстяка, цепко всмотрелся в Ладыжникова стальными глазками.

Тот глядел на Парвуса спокойно, мрачно и тяжеловато.

Они стояли так с минуту, пока Парвус не стал Гельфандом и под взглядом Ивана Павловича не опустил первым дрогнувшие глаза...

* * *

Немецкий конец ноября был сухим, безветренным и холодно-солнечным.

Алексей Максимович с удовольствием гулял по самым малолюдным улочкам Берлина. В душевном покое, в тишине, никем неузнаваемый...

Но стоило ему выйти на одну из центральных площадей города и заказать в открытом гаштете кружку пива, как за столик к писателю тут же сели

трое. Все русские эмигранты: старик, молодая женщина и средних лет усатый мужчина.

— А он спокойно пьет немецкое пиво,— без каких-либо предисловий заявила женщина.

Горький поглядел на подсевших исподлобья и промолчал.

— Вы к нам как...— любопытствовал мужчина,— в гости или навсегда?

Глухим баском писатель ответил вопросом:

— Позвольте спросить, к кому это — к вам?

— А вы не догадываетесь? В одном только Берлине 600 000 жизней, потерпевших крушение от большевизма,— а вы нас до сих пор и в упор не видите?

— А зачем? — сказала женщина.— Он пьет пиво.

— Да, второй месяц,— согласился с ней усатый.— И это все, на что вы годитесь, после восторженного приема, который мы устроили вам в прессе?

— С кем я все-таки имею честь?

— Штаб-ротмистр Колываев! Это — графиня Смолина, попечительница Домов милосердия на Псковщине. Член Земской управы в Гжатске — Билибин.

Старик, коротким поклоном головы, это подтвердил.

— И что же вы от меня, господа, хотите?

— Имя Горького у всей эмиграции сейчас на устах,— горячо объяснил штаб-ротмистр.— «С чем он приехал?», «Что скажет?», «Услышим ли мы от него оправдательное слово?».

— А он все пьет пиво,— опять произнесла Смолина.

— Да, а вы отмалчиваетесь,— подтвердил Колываев,— и упорно не желаете стать на защиту рус-

ских изгнанников перед лицом подозрительной Европы.

— И это тем более странно,— с печальным укором заметил старик,— что, находясь в России, вы открыто протестовали против террора, насилия и разгрома нашей культуры. А что же здесь? Такое впечатление, что именно на свободе вы сами себе связали руки и закрыли рот.

Алексей Максимович опустил глаза и тихо ответил:

— О трагедии России я предпочитаю размышлять сам с собой.

— И пить пиво,— в четвертый раз прибавила женщина.

Писатель наконец не выдержал и вспылал.

— Да что вы ко мне с этим пивом?

Графиня Смолина вдруг, по-мужски, ударила кулачком по столу:

— А то, что вы — «Лука», милейший. Из своей знаменитой пьесы. Наговорили молодежи добрых, утешительных слов, воззвали к буре, она вам поверила, набила себе шишек, а вы убежали на Капри. Это в 1905-ом. А в 17-ом — и того хуже!

— Неправда, я...

— Да,— вы! Именно вы написали через газету Ленину: «Добро пожаловать в Россию!» А теперь собираетесь размышлять об этом наедине? Нет, я вам скажу больше: вы умный, хитрый, самоизворотливый перед собственной совестью человек и, временами, как мне кажется, страшны даже для самого себя.

Горький сильно стиснул челюсти, так что на щеках проступили желваки.

— Интересно узнать, чем же?

— Вы — оборотень. У вас десятки масок — и

вам самому непонятно, каково же ваше лицо истинное.

— А вы, надо полагать, желаете мне в этом помочь?

— Да! — сказал Колываев. — А потому — требуем от вас публичного осуждения, нет — проклятия всего коммунистического варварства!

Алексей Максимович едко усмехнулся:

— А заодно и всей своей предыдущей жизни: признать что я накликал на Россию несчастье, так?

Эмигранты переглянулись, старик сказал:

— Ну... это было бы слишком.

— Нет, господа, — Горький стал заводитьсь, — позвольте спросить: революция в России нужна была или нет?

— Естественно, нет, — сразу ответила графиня.

Писатель вопрошающе посмотрел на остальных.

— Допустим, да, — проговорил штаб-рот-мистр, — что это меняет?

— Многое. Ибо русский коммунизм пошел не от большевиков и, тем более, не от меня, он — еще от Радищева и декабристов. Стало быть, вопрос в ином: почему революционные идеалы пришли в противоречие со средствами их осуществления.

— Да, да, — подтвердил старик. — Так почему же?

— Вот в этом я и намерен сначала разобраться, а уж после выступать в печати.

Женщина колко заметила:

— Боюсь, что, с вашей «гибкой натурой», вы будете разбираться в просчетах большевиков всю оставшуюся жизнь.

— Значит, так и будет, — жестко ответил писатель. — И полагаю, мне не пришлось бы этого делать, если бы вы не потакали неумной политике царя в своей жизни предыдущей.

Штаб-ротмистр Колываев, задето усмехнувшись, поднялся:

— Не обессудьте, господин Пешков, но я вижу лишь один способ помочь вам быстрее решить эту дилемму.

— Какой же?

— А вот...— Он взял со стола кружку с остатками пива и резко плеснул их в лицо Горькому.

Женщина ахнула, старик воскликнул:

— Право, ротмистр, это чересчур!

— Согласен,— отметил тот,— если бы кружка была полной.— И пошагал из гаштета прочь.

Двое остальных поспешили за ним следом.

Алексей Максимович сидел, нагнувшись к столу, и, весь сморщившись, ждал, когда с его бровей и усов сама стечет белая пена...

Русская эмиграция не приняла Горького, и он, по собственному выражению, почувствовал себя за границей словно «выбитый зуб». К тому же ухудшилось здоровье, и писатель решил удалиться от эмигрантских пересудов на всю зиму в санаторий Сент-Блазиен. Одиночество Алексея Максимовича скрашивали сын Максим, невестка Надя и иногда наезжающие к нему из Берлинского торгпредства вторая жена Мария Андреева со своим секретарем Крючковым. На Новый год к Горькому собралась приехать из Москвы в гости и первая супруга — Екатерина Пешкова. Иначе — две прежние подруги жизни постоянно держали его под опекой, но вот третья «невенчанная»... она, по смутным слухам, дошедшим до писателя, выкинула в Эстонии странный фортель — неожиданно вышла там за кого-то замуж. Алексей Максимович, втайне от близких, попросил перепроверить эти сплетни своего верного Ладыжникова...

«Милый друг мой Федор Иванович!

Как ты живешь? Я пока скверно. Пишу тебе из Сент-Блазиена,— курортное местечко. Решил уехать подальше от неприятных людей и подлечиться. Здоровье трещит по всем швам, чувствую: старость пришла! И, знаешь, сердцу скучно, очень уж одинок я. Однако дома вряд ли скоро буду, ибо предполагаю, что там еще хуже. И тебе, брат, там, пожалуй, не место, уезжай...»

Шаляпин дочитал письмо до конца, отложил на спальную тумбочку и, посмотрев на уснувшую на соседней кровати жену, потушил ночник. Заложив руки за голову, артист широко раскрытыми глазами долго смотрел в темный потолок. Затем тихо вылез в пижаме из постели и отправился в коридор.

Там он набросил на плечи шубу и вышел на балкон.

Была декабрьская ночь уходящего 1921 года. Петроград лежал в снегу, слабо освещенный уличными фонарями. Но многие люди еще бодрствовали. Из открытой форточки противоположного дома, из дверей кабака внизу — доносилась одна и та же, входившая в моду, песенка:

Мама, мама, что я буду делать,
Как настанут зимни холода?
У тебя нет теплого платочка,
У меня нет зимнего пальта...

Шаляпин явственно услышал глуховатый басок Горького из прочитанного письма:

«...И тебе, брат, там, пожалуй, не место, уезжай...»

Петроград продолжал на разные голоса распевать про «маму, без теплого платочка...»

Из зимнего сада санатория, через широкие плоскости окон, на заснеженных скалах просматривалась темная гряда Шварцвальдского леса, а в непосредственной близости — ухоженный парк с мохнатыми елями и ажурными беседками в белых шапках. На все это падал пушистый снег и делал открывающийся вид похожим на сказку... Приемный сын Горького — Зиновий Пешков (он был без правой руки по самое плечо), раздумчиво взирал на эту рождественскую картинку и в пол-уха слушал писателя. Тот сидел в кресле возле камина и, закрыв колени пледом, читал свою новую работу «О русском крестьянстве». Читал негромко, нарастающим, сильно окая:

— «Про русского крестьянина можно сказать, что он не злопамятен: он не помнит зла, творимого им самим, да, кстати, не помнит и добра, содеянного в его пользу другим. У этого народа нет памяти. Психология тысячелетнего раба, способного ужаснуть... Мужик съест и большевика и пролетария! С его кровожадностью и патриархальными пережитками. Рабочий должен понять это...»

Голос Алексея Максимовича проникал в сознание Зиновия отдельными фразами, он все больше уходил в свои мысли, пока и вовсе не перестал его слышать...

Зиновий приходился родным братом Якову Свердлову. Всех братьев — было четверо. Их отец работал гравером в Нижнем Новгороде и главным образом изготавливал фальшивые печати для подпольщиков. Атмосфера в доме была революционная, но Зиновий, в силу сложных душевных процессов, порвал с революционерами, с семьей и с

иудаизмом. Отец сына проклял, и тогда его усыновил Горький, дав ему свою фамилию. Вообще Алексей Максимович любил совершать подобные благородные поступки, он сделал своей приемной дочерью и дочь одного умершего аптекаря, с которым долгое время был в дружеских отношениях. И если бы не его жены — Екатерина Пешкова и Мария Андреева, Горький бы усыновил и удочерил очень многих. Зиновий Пешков не вернулся с новым отцом из Италии в Россию и принял французское подданство. Он вступил в Иностранный легион, храбро сражался и потерял в боях правую руку. Затем вернулся в легион снова, побывал в нескольких сражениях, получил награды и чин полковника. Значительно позже, во вторую мировую войну, он стал генералом, и его очень ценил Де Голль. Как только Зиновий узнал, что Горький находится в Германии, он немедленно приехал в Сент-Блазиен...

— Зина!...— услышал Зиновий.— Да ты меня не слушаешь.

— Нет, нет, почему? — Он очнулся от задумчивости.— Я все понял.

Алексей Максимович недоверчиво поглядел на приемного сына из-под очков и сложил рукопись.

— Тогда что скажешь?

Зиновий замялся и потер отсутствующую правую руку.

— Полагаю, тебе достанется и от большевиков, и от местной эмиграции.

— С чего бы это? Я как раз думаю, что сия брошюра примирит интеллигенцию Запада и некоторых эмигрантов с Советской властью. Убедит порядочных людей в правильности политики большевиков по отношению к деревне.

— Нет, отец,— честно сказал Зиновий,— ты этой книгой сыграл самую неблагоприятную роль в формировании взглядов западного человека на природу и сущность русского характера.

— Объясни.

— Трудно. Я сам еврей, но наотрез не принимаю твоей ненависти к русскому крестьянину. Она тебя ослепляет.

— А именно?

— На мужике держалась и будет держаться Россия.

Горький усмехнулся.

— Ты, Зина, будто спелся с Шалапиным. Странно... Расстроил ты меня.

— Врать не привык. Ты этому научил меня сам.

— Ладно,— пробурчал Алексей Максимович.— Они требовали, чтобы я не молчал, вот пусть послушают.— Он выпрямился.— Идем, посмотрим на слку...

Елка была большая, в шарах и в гирляндах. Она стояла в углу просторной комнаты, вокруг нее, прикрепляя свечи, хлопотали Крючков, Максим, его жена и первая супруга Горького Екатерина Пешкова. Она была вся в коже, строгая, с властным взглядом. Обернувшись на вошедших Алексея Максимовича с Зиновием, она спросила:

— Ну, как мы расстарались?

— Замечательно, Катюша,— ответил писатель. В его голосе прозвучало легкое занскивание.— А Зина наш с тобой каков! — Он положил руку на плечо их общему приемному сыну.— Расчихвостил сейчас мою книженцию в пух и прах.

— И правильно, наверное, сделал,— отреагировала Пешкова.— Не читала, но Зиновию доверяю. Помоги Максиму, он упадет.

Ее настоящий сын стоял на шаткой лесенке и

надевал на елку верхушку. Зиновий прошел под-
держать его.

К Горькому приблизился благодушный Крюч-
ков — полный, в круглых очках, он походил на
бюргера — сказал:

— Тут журналисты просят.

— Где?

— В холле. Ждут.

— Не надо,— сразу сказал писатель.— Опять
все злостно исказят, не отмоешься. А вон, нако-
нец, и Иван Павлов! — Алексей Максимович, за-
метив в окне подъехавший к санаторию автомо-
биль, быстро вышел из комнаты.

— Ну, что? — нетерпеливо спросил он Ладыж-
никова, встретив его в коридоре.— Это правда?

Тот наклонил голову.

— Да. Мария Игнатьевна действительно
вышла в Эстонии замуж.

Лицо Горького передернулось от душевной
боли, он отвернулся от Ивана Павловича, встав
лицом к окну.

— Какова же ее фамилия теперь?

— Баронесса Будберг,— тихо ответил Ладыж-
ников.

— Закревская-Бенкендорф-Будберг,— с нер-
вной усмешкой проговорил Горький.— Таин-
ственно и нелепо ведет себя эта дама. Впрочем,
господь с ней!

Иван Павлович сочувственно посмотрел в
спину писателю.

— У меня для вас новогодний подарок, Алек-
сей Максимович.

— Да,— рассеянно откликнулся тот.— Какой
же?

— Парвус положил на ваш счет в Дрезденском
банке первые две тысячи.

Горький никак на это не прореагировал. Суточный, тусклый, он по-прежнему не оборачивался и невидяще глядел на сказочную новогоднюю открытку, которую из наружного вида обрисовывало окно санатория.

— И все же это удивительная женщина,— вдруг произнес он.— Ее ни в чем нельзя осуждать...

* * *

Вернувшись из Сент-Блазиена в Берлин, писатель снова почувствовал себя неважно и решил еще раз обследоваться.

Доктор простучал крепкими пальцами худую грудь Горького, выслушал все его хрипы и сипы стетоскопом. Наконец озадаченно подытожил:

— Шварцвальд явно не помог. У вас тяжелое состояние сердца, серьезный невроз и сильное переутомление.

Алексей Максимович, до этого полуголым сидевший на кушетке, надел рубашку.

— Как же это может быть? — спросил он.— Я там смиренно лечился: во всякую погоду два часа в день лежал на воздухе.

— Поезжайте теперь к морю. Например, в Херингсдорф — отменное место. И не нервничайте. Ваше сердце, пока не будет остановлен процесс в легких, лечить нельзя.

Писатель махнул рукой:

— Ну, и шут с ним. В общем-то, я болен всю жизнь и, знаете, давно примирился с этим. Умру я скоро?

— Все зависит от вас, господин писатель. В 54 года — мужчина в самом, можно сказать, соку, а вы рано записали себя в старики.

— Ладно,— пообещал Горький,— буду молодиться.— И нахлобучил на седоватый бобрик во-лос черную широкополую шляпу.

На улице он сразу закурил, прокашлялся и широким шагом зашагал по весеннему Берлину.

Приближаясь к зданию берлинского издательства «Книга», Алексей Максимович заметил перед его парадным подъездом большую группу русских эмигрантов. Они стояли в пикете с самодельными транспарантами: «Горький-Иуда!», «Позор могильщику русского крестьянства!», «Буревестник» — большевистский провокатор!» и тому подобными. Несколько человек стучали в закрытые двери подъезда, другие в сторону окон выкрикивали:

— Пусть выйдет! Мы требуем от него объяснений!

— Ужасы большевизма свалить на крестьянина! Вы подлец, Горький!

— Покажитесь в окно, если у вас есть мужество!

— Ваша книжонка — мерзость! Вы слышите?

Горький, остановившись за тумбой с городскими афишами, попятился и торопящим жестом поманил подъезжающую пролетку.

Однако был замечен одним из пикетчиков.

— Да вон же он где! — закричал тот.— Вон он!

Эмигранты побежали за тронувшимся экипажем.

— Быстрее! — попросил писатель извозчика.— Пожалуйста, побыстрее!

Пикетчики стали отставать. Кто-то швырнул вслед Горькому его собственную брошюру. Она сильно ударила его в спину и осталась валяться на мостовой. «О русском крестьянстве» — гласило ее название. Новую книгу Алексея Максимовича не

приняли ни эмигранты, ни Советская власть. По этой причине Горькому долгое время пришлось жить и метаться как бы между двух огней...

* * *

Войдя в свой номер гостиницы, Алексей Максимович поднял с пола несколько газет, просунутых коридорной под дверь. Среди них были и две советские. Писатель, скинув пальто и шляпу в одно из кресел, сел в другое у окна, нацепил очки и нетерпеливо развернул «Петроградскую правду». Она писала:

«Новое «произведение» Горького «О русском крестьянстве» — ничем не прикрытая клевета на Октябрьскую революцию. Перед нами обыватель, испугавшийся неистовой энергии масс».

Горький отшвырнул газету, сбросил очки и на несколько секунд как бы оцепенел в согбенной позе. И вдруг с бешенством, продолжительно стал ударять кулаком по столу, вымещая на нем все свое отчаяние. Так же неожиданно он застыл, изумленно уставившись на двери.

В номер без стука проскользнула Мария Игнатьевна Закревская-Бенкендорф-Будберг и остановилась на пороге, поставив на пол дорожный баул.

Алексей Максимович, перемещая свое отчаяние теперь на эту женщину, выставил в ее сторону палец:

— А вы, вы меня предали больше всех, Мария Игнатьевна! Вы потребовали в наших отношениях свободы, да, я согласился, так, да! Но мы договорились и об уважении, а вы, как никто, поставили меня в унижительное положение.

Лицо Марии Игнатьевны сияло невозмутимым покоем и миром, ее голубые, широко рас-

ставленные глаза излучали искреннее сочувствие, но какое-то «сверхсходящее», без капли боли. Она спокойно произнесла:

— Но я...

— Да, именно вы более всех терзаете мою душу,— прервал ее писатель.— Еще там, в Питере, вы сочли не посчитаться со мною и в моем доме сблизились с моим гостем Гербертом Уэллсом. Ваша свобода — конечно, я стерпел, я полагал это мимолетно, да и кто, в самом деле, вам я? И вдруг это нелепое замужество — картежник и полуавантюрист барон Будберг. Что это? Зачем? И вранье, вранье на каждом шагу: вы извещаете, что не можете без меня и приедете в Сент-Блазиен, а сами отправляетесь в Лондон к Герберту Уэллсу. Да! — с горечью воскликнул Горький, в ответ на шевельнувшееся удивление в глазах женщины.— Мне все о вас известно! Все — и ничего! Я не понимаю мотивов ваших поступков. И теперь снова. вы явились, и все тут, а я? Как прикажете понимать мне вашу несуразную загадочность?

— А просто, Алексей Максимович,— на голубом глазу сказала Мария Игнатьевна.— Я опять в разводе, Будберг ничтожество, и я готова снова быть с вами.

Горький обхватил руками голову

— Боже,— тихо простонал он,— да вы вы ведете себя хуже кокетки.

Женщина спокойно подняла баул и взялась за дверную ручку.

— Нет! — Алексей Максимович вдруг сполз с кресла и встал возле него на колени.— Нет! — Он сильно замотал головой.— Если вы уйдете, я не выживу. Мне сейчас так же плохо, как зубу, выбитому из челюсти. Нет, еще хуже. Пусть все будет, как будет. Нет.

Мария Игнатьевна поставила обратно дорожные вещи и, не торопясь, прошла к Горькому. Не вставая с колен, он обхватил ее двумя руками и приник лбом к ее животу. Она стала молча и раздумчиво гладить его по волосам. Странная это была картина: словно блудный муж вернулся к верной жене. Хотя все выходило наоборот...

* * *

В кепке, в плотном пиджаке-куртке, застегнутом на все пуговицы, Ленин сидел в беседке и, шурясь, подставлял лицо майскому солнцу. На коленях у вождя пристроилась кошка, он время от времени ее гладил. Напротив, в глубокой тени, прямо и неподвижно сидел Дзержинский. Он осторожно говорил:

— В Курской, Орловской, Тамбовской губерниях мы сейчас имеем по нашим расчетам до 10 миллионов пудов избытка хлеба. Может быть, стоило, Владимир Ильич, как-то, не знаю... В общем, не слишком ли мы перегибаем палку? Если бы часть этого хлеба...

— Ни в коем случае, — прервал его вождь. — Ни крошки. Жалко голодающих? Да, и мне тоже. Но если раздать просто так весь хлеб, не выживем мы, Феликс Эдмундович. Наше с вами дело. Ибо главный вопрос сейчас — не вопрос продовольствия, а вопрос политики. Хлебная монополия, хлебная карточка является в руках пролетарского государства могучим средством контроля и принуждения к труду. И это — куда посильнее, чем законы конвента и его гильотина.

— И все же мы достаточно сильны, чтобы отпустить вожжи. Поволжье доведено до предела, и нам следовало бы... — Натолкнувшись на острый взгляд соратника, Дзержинский примолк.

— А вы, я смотрю, и не такой уж «железный», Феликс Эдмундович.

— То есть?

Ленин сбросил кошку.

— Уголовный кодекс, он готовился и при вашем участии, меня крайне разочаровал.

— Если можно, конкретнее?

Вождь поднялся и некоторое время молча ходил перед Дзержинским.

— Надо расширить применение расстрела ко всем, подчеркиваю, ко всем видам деятельности меньшевиков, эсеров и прочей дряни.

— Как? Просто за то, что они эсеры или меньшевики?

— Найдите формулировку. Таковую — которая поставит все их деяния в связь с международной буржуазией. И потом суд... В кодексе размазана его сущность. Он должен не устранить террор, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас.

Феликс Эдмундович, поднявшись, сухо ответил:

— Мы учтем эти замечания при доработке, Владимир Ильич.

Ленин положил ему на плечо руку и благодушно улыбнулся.

— Вот вы и обиделись, напрасно. Но именно вам я доверяю, как никому, и потому так резок.

Дзержинский опустил глаза и ничего на это не ответил.

— Идемте-ка прогуляемся. Погода чудесная. — Вождь вывел его из беседки на тропинку, ведущую к лесному участку в горах.

Взяв соратника под руку, Ленин, после продолжительного раздумья, проговорил:

— Хочу с вами поделиться некоторыми сооб-

ражениями.— И, обаятельно прищурившись, добавил: — Секретными. Речь о нашем декрете по поводу изъятия церковных ценностей. Вопрос этот, как и вопрос «хлебный», тоже вопрос политики и крайне важный и архисложный. Но полагаю, что именно теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем провести изъятие этих ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления

Лицо Дзержинского напряглось, он, неожиданно подсевшим голосом, спросил

— Но почему... «теперь»?

— Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо нейтрализовано. Позже сделать это нам не удастся, ибо никакой момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого общественного настроения.

— Вы полагаете церковь значительно пополнит наши фонды?

— Да! Притом в несколько миллионов золотых рублей, дорогой Феликс Эдмундович. А может, даже и миллиардов! Взять в свои руки этот фонд — без него никакое хозяйственное строительство немыслимо. Дайте самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавите его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Только так. И чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. А главное — в предельно короткий срок.— Оба вошли в лес, вождь неожиданно остановился.— Послушайте, как заливается...

Неподалеку от них в кустарнике звонко пела малиновка.

Дзержинский искоса взглянул на размягченное лицо Ленина, которое за несколько секунд до этого было жестким и решительным. Поразительно быстро он умел переходить от одного состояния к другому.

— Но как на это посмотрит граница? Впереди — Генуя.

— Вот именно, что «впереди», — тотчас отреагировал вождь. — «После» — жестокие меры против церкви будут политически нерациональны. А сейчас, из-за голода, граница не поддержит против нас тамошних эмигрантов. И повторяю: осуществить изъятие в предельно короткий срок, длительного применения жестокостей народные массы не вынесут.

Соратники в глубоком молчании зашагали дальше.

— И еще такая деталь... — вновь сказал Ленин. — Официально, по поводу изъятий, выступить должен только товарищ Калинин. Никогда и ни в каком случае не должен выступить ни в печати, или иным образом перед публикой товарищ Троцкий.

— Понимаю.

Вождь со стороны пристально посмотрел на соратника, сосредоточенно смотрящего под ноги, спросил:

— Любопытно, о чем вы в данный момент размышляете?

Тот, не поднимая головы, ответил:

— Что жизнь, в общем, довольно неприятная обязанность, Владимир Ильич.

— Вот как! Не ожидал. Впрочем, понимаю: когда-то давно со мной тоже случались подобные настроения.

Они опять пошли молча. Позади них своею жизнью жил лес, пронизанный солнцем. И в этой его жизни не было ни грамма неприятной обязанности. Без людей лес был естествен и прекрасен...

* * *

Когда большевики обвинили в печати церковь, что она морит народ голодом, и приступили к запланированному разграблению сотен храмов и уничтожению тысяч священнослужителей, большинство русской интеллигенции промолчало. Как не отреагировал на это и атеист — Горький.

Тогда только один патриарх Тихон осмелился написать бесстрашное обращение к новым властям. Вот отдельные строки из него:

«...Поистине, вы дали народу камень вместо хлеба и змею вместо рыбы!.. Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство... Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, искусственно разожгли классовую вражду. Теперь вы казните епископов, священников, монахов и монахинь и, мало что опустошаете Божьи храмы, вы не выдаете тела убитых родственникам для христианского погребения. Не есть ли это верх бесцельной жестокости со стороны тех, которые выдают себя благодетелями человечества. Вам мало, что вы обагрили руки русского народа его братской кровью: вы толкнули его на самый открытый и беззащитный грабеж и святотатство. Вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха. Поистине ужасно время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ

зверя... Сбываются слова пророка — «Ноги их будут ко злу и они спешат на пролитие невинной крови, мысли их — мысли нечестивые, опустошения и гибель на стезях их»... Но взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая, и от меча погибнете сами вы, взявшие меч!..»

* * *

Ленина хватил новый удар... Он катался по полу своего кабинета, мычал и мучился в страшных судорогах. Рядом никого не было. Вождь, видимо, звал на помощь, но речь опять его оставила. Он опрокидывал стулья, пытаясь подняться, тянулся скрюченными пальцами к столу, срывал на себя бумаги, опрокидывал чернильницу, пресс-папье, но ноги судорожно извивались и были неуправляемы. Перекошенное лицо страдальца как бы окаменело в жестокой муке... Напольные часы кабинета вдруг звякнули и стали безучастно отбивать двенадцать часов дня...

* * *

Алексей Максимович и приехавший в Германию Ходасевич медленно прогуливались вдоль побережья Балтийского моря в Херингсдорфе.

— ...На время или навсегда? — спросил писатель поэта.

— Поскольку большевики надолго, умру в Европе.

Горький чему-то раздумчиво покивал.

— Что с Лениным?

— По слухам, была парализована правая половина тела и частично потеряна речь. Истинная причина болезни скрывается.

Алексей Максимович тяжело вздохнул.

— Он надорвался. И, что бы про него ни говорили, для меня он — великое дитя окаянного мира сего.

— А может, наоборот: «окаянное дитя великого мира»? Ведь не успел он обрести речь, как затеял процесс над эсерами.

— Нет,— решительно возразил писатель,— это не он. Вернее, я думаю, что не он. Ленин в постели, и его слабостью, наверняка, пользуется Гроцкий Это его стиль; ребром поставить вопрос, как предотвратить любую смычку недовольного народа с оппозиционными партиями.

— Так или нет, Алексей Максимович, но суд над эсерами по делам четырехлетней давности оттолкнет и западных социалистов, и ту часть здешних интеллигентов которые с восторгом принимают революцию в России

— Да, это ужасно. судить людей, которые эту же революцию и делали. Ромен Роллан уже вышел из компартии. Нет, готовящееся кровопролитие нельзя допустить.

- Каким образом?

- Я написал Анатолию Франсу с просьбой обратиться к Советскому правительству с предостережением о недопустимости преступления А от себя подготовил письмо Рыкову

Ходасевич поднял с песка плоский камушек и швырнул его вдоль воды. Он, проскакав несколько раз, утонул.

— Извинитѣ за нескромность,— вдруг повернулся он к Горькому,— но лечитесь вы... за чей счет?

Алексей Максимович не понял:

- Как это?

- На свои деньги или на средства большевиков?

— Разумеется, на свои. Но почему вы об этом спрашиваете?

— Перед отъездом я узнал новость: в то время, как в самарской губернии не носят трупы детей на кладбище и оставляют их для питания, они утверждают смету на золотую валюту, по которой сотни тысяч золотых рублей отдаются на нужды Коминтерна и на содержание заграничных домов отдыха для партийной элиты и членов их семей.

— Как?.. А зачем же я, по их заданию, клянчу у немцев деньги для голодающих?

— Не знаю. Но я все это к тому, чтобы вы не обольщались по поводу «великого дитя».

Горький, ничего не ответив, сумрачно нагнул голову и побрел дальше. Ходасевич, на некотором расстоянии, следом...

С пляжа они вышли к вилле, перед которой прямо на лужайке стоял большой стол с самоваром и разной снедью. Вокруг, пока ещё не за столом, на стульях, шезлонгах сидели Крючков, Ладцыжников, Ракицкий, молоденькая супруга Ходасевича, Шкловский, Андрей Белый, Максим и его жена Надя.

Из дома вышла Мария Игнатьевна, она несла фарфоровую супницу с дымящимся супом

— Как вы вовремя, — сказала она подошедшим Алексею Максимовичу и Ходасевичу. — Давайте наконец обедать.

— Я не буду, — буркнул Горький и направился мимо нее в виллу. — Да! — Он приостановился, обернувшись к посту. — Вы так и не познакомили меня с вашей супругой.

Ходасевич указал на нее рукой

— Нина Николаевна Берберова.

Она встала со стула и с улыбкой чуть поклонилась.

— Пешков,— в свою очередь склонил голову писатель и ушел в дом.

Мария Игнатьевна, поставив супницу, укоризненно посмотрела на поэта.

— Мне кажется, Владимир Фелицианович, вы как-то по особому влияете на Алексея Максимо-
вича.

— Как умею,— спокойно ответил Ходасевич.

Женщина перевела взгляд на Крючкова, они обменялись какими-то понимающими взглядами.

— Что ж,— с легким вздохом произнесла Мария Игнатьевна,— пока наш «Дука» в гордом одиночестве, мы будем обедать в гордом большинстве. Прошу к столу...

Мария Игнатьевна в первые дни близости поведала Горькому, и не только ему, что она праправнучка Аграфены Федоровны Закревской, жены московского губернатора графа Закревского, которой Пушкин и Вяземский писали стихи. Писатель был далеко не лишен честолубия, и его это «грело». Он, видимо, находил, что связь с Закревской — есть некая символическая ниточка, протянувшаяся к нему от самого Пушкина. Будучи «пролетарским богом» из «босяков», он подспудно испытывал слабость к потомственной аристократии (из писателей, в частности, к Бунину), к их глубокой культуре и образованности. И потому Алексею Максимовичу наверняка льстило и то обстоятельство, что Мария Игнатьевна кончила Кембриджский университет. Как выяснилось теперь, все это было ее собственной легендой. Да, она была Закревской, но совсем не графиней, а всего лишь дочь сенатского чиновника. И первый ее муж Иван Александрович Бенкендорф не являлся графом тоже, и с царским послем, внучатым племянником николаевского

шефа жандармов, был в весьма отдаленном родстве по боковой линии. Что касается Кембриджского университета, то до первой мировой войны женщин туда не принимали. Единственно, что было правдой — это факт ее недавнего замужества, который сделал Марию Игнатьевну баронессой Будберг. По тому, как моментально они разошлись, оставалось думать, что от брака ей нужен был лишь титул. Но зачем?.. Много загадок было в Марии Игнатьевне. Например, почему между нею и Крючковым иногда возникало странное интуитивное понимание, не нуждавшееся в словах: что можно и что нельзя, что нужно и что не нужно. Какое, эти столь разные люди, могли иметь отношение друг к другу?.. Или ее регулярные отъезды «в Таллин, к детям», которые не могли отменить никто и никакие обстоятельства... Назвав Марию Игнатьевну «железной женщиной», Горький, вероятно, имел в виду не только ее характер, но и что-то глубоко спрятанное в ее душе под «железной маской».

Мария Игнатьевна взяла пустую супницу и ушла с нею в дом. Поднявшись на второй этаж, она заглянула в кабинет к Алексею Максимовичу. Он сидел над каким-то письмом и пятерней ерошил бобрик волос. На Марию Игнатьевну он посмотрел задерганными глазами.

— Что происходит? — спросила женщина.

— Вот... переписал письмо Рыкову. Прочтите. — Горький протянул ей исписанный лист бумаги.

Она, приблизившись, быстро пробежала текст глазами и неодобрительно поводила головой.

— Что же не нравится? — произнес писатель.

— Все. От начала и до конца. Эсеры — это не ваше дело.

Алексей Максимович вскочил.

— Да как вы смеете? то есть можете... Они хо-

тят срубить сук, на котором сидят, и я обязан их остановить!

— Я сказала, что думаю, Алексей Максимович,— став вдруг очень покорной, ответила Мария Игнатьевна.— И простите, ради Бога.

— За что?

— Я забыла, что, всего-навсего, я при вас секретарша.

— Зачем вы так?..— мучительно произнес Горький.— Я очень ценю ваше беснужное обо мне, но сидеть сложа руки...— Писатель опять сел за стол и надолго о чем-то задумался.— А может, правда,— вдруг спросил он,— не посылать?.

Женщина молчала.

— Ну... отвечайте же?

— Могу сказать лишь одно они сидят не на том суку, на котором вы думаете.

Писатель стиснул желваки и, после некоторого молчания, сухо распорядился:

— И все же отправьте письмо сегодня же.

— Да, Алексей Максимович. Слушаюсь —
Женщина удалилась.

Внизу, на кухне, убирая со стола в раковину супницу, Мария Игнатьевна, застыв на несколько секунд, вдруг подняла ее над головой и с неожиданной силой и злостью обрушила на пол.

На грохот в открытую дверь заглянул Ракицкий.

— Что стряслось?

— Вот...— Женщина безмятежно улыбнулась,— разбилась..

* * *

Грянул духовой оркестр, пароход стал отчаливать. Артисты Мариинского театра, оставаясь на

берегу, замахали руками. На палубе стоял хмурый Шаляпин — он уезжал из России. Навсегда...

* * *

Ленин неподвижно сидел в кресле-каталке с прикрытыми глазами и слушал Троцкого. Он стоял перед ним напротив на зеленой лужайке и читал вслух письмо:

— «...Если процесс социалистов-революционеров будет закончен убийством — это будет убийство с заранее обдуманым намерением — гнусное убийство. Я прошу вас сообщить Л.Д. Троцкому и другим это мое мнение...» Каково! — не удержался от комментария Троцкий.— Его мнение!

— Читайте, читайте,— не открывая глаз, поторопил вождь.

— «Надеюсь, оно не удивит Вас, ибо за все время революции я тысячекратно указывал Советской власти на бессмыслие и преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране. Ныне я убежден, что, если эсеры будут убиты, это преступление вызовет со стороны социалистической Европы моральную блокаду России».

— Все?

— А вам этого мало, Владимир Ильич?

Ленин открыл глаза, снял левой рукой кепку, потер энергичным движением голову и надел ее обратно. Правая его рука висела вдоль тела к земле, на ней лишь чуть-чуть пошевеливались пальцы.

— Да,— озадаченно проговорил он,— в чем-то писатель не ошибается, но письмецо поганое. Почему он отправил его именно Рыкову?

— Стратег,— насмешливо откликнулся Троц-

кий.— Он помнит, что Рыков был в 17-ом за создание коалиционного правительства с меньшевиками и эсерами. Вспомните, когда мы эту затею прихлопнули, Рыков в знак протеста вышел даже из ЦК и правительства.

Вождь утвердительно качнул головой и повторил:

— Нет, письмо поганое. Что станем делать?

— Для начала следовало бы пожурить художника в «Правде». Пока мягко, как персону, которую в политике никто всерьез не берет.

Ленин поморщился:

— Ругать Горького публично — это чересчур. Мы раздуем тогда процесс сверх всякой меры.— Он задумался...

Письмо Алексея Максимовича все же сыграло свою роль — эсеров осудили, но не решились расстреливать...

— Что у вас еще? — спросил вождь.

Лев Давыдович протянул длинный лист.

— Это тот самый список... по идеологической ассенизации.

Ленин, взяв бумагу в одну руку, попросил:

— Давайте-ка меня обратно, посмотрю по дороге.

Троцкий зашел сзади коляски и, осторожно толкая ее, покатил вождя по дорожке к его дому в Горках. Тот углубился в изучение фамилий.

«Бердяев, Булгаков, Вышеславцев, Ильин, Зеньковский, Карсавин, Лапшин, Лосский, Новиков, Степун, Трубецкой, Франк, Шестов...» — в списке было 75 человек.

Ленин вдруг коротко всхотнул:

— Если их морем — получится «философский пароход»!

В ответ Троцкий сдержанно улыбнулся.

Вождь круто повернул к нему голову:

— Поставьте дело так, чтобы этих явных контрреволюционеров, пособников Антанты и растлителей учащейся молодежи регулярно излавливать и систематически высылать за границу.— Он кивнул в сторону детей обслуживающего персонала, которые с шумом и азартным визгом играли неподалеку от вождей в роще.— Вот они, полагаю, в подобные списки уже не попадут.

Дети увлеченно играли в «жмурки».

Ленин вновь наклонился к бумаге и еще пристальнее стал изучать фамилии. Троцкий повез его дальше... Неожиданно вождь выронил лист на землю и уставился мутным взглядом на дверь маленького флигеля, который проплывал мимо.

— Вы потеряли, Владимир Ильич...— Его соратник, остановившись, наклонился поднять список, но... так и застыл в согбенной позе.

Ленин вдруг встал на здоровую левую ногу и, искривившись корпусом, судорожно ухватился левой рукой за колесо кресла. Глаза его блуждали и наполнялись какой-то пугающей чернотой, а нижняя губа при этом по-детски отквасилась.

— Туда!..— Он кивнул головой на флигель.

Лев Давыдович опешил:

— Зачем?..

Вождя внезапно затрясло, как в лихорадке.

— Бу-бу!..— закричал он в страшном гневе.— Туда! Хочу, я хочу!.. Не приставайте! Ты бу-бу!..— И показал Троцкому язык.

Тот отвернулся и в панике побежал к большому дому за врачом и близкими.

Ленин, отпустив руку, сдернул с себя кепку и швырнул ее ему вслед, но тут же свалился наземь, извернулся и встал на четвереньки. Затем ползком, поскольку правая половина тела без-

действовала, поволочил себя по пыльной дорожке к флигелю.

Он открыл дверь головой, перебрался через порог и снова головой захлопнул дверь обратно. Внутри помещения он с колоссальным трудом сумел подняться на ноги и закрыться на щеколду. Вновь упав, вождь прополз коридор и таким же образом заперся в одной из комнат.

Там он залез под кровать с пустым матрацем и, свернувшись под ней калачиком, затих. Затем, кому-то воображаемому, опять показал язык и, облегченно вздохнув, устался в пространство детским умиротворенным взглядом... За окном появились Крупская, Троцкий, сестры вождя и его врач. Они принялись стучать в стекло и жестами просить Ленина выйти обратно или открыть им дверь Тот, никак на них не реагировал и оставался неподвижным...

Лечащий врач Ленина Осипов, описывая этот эпизод, свидетельствовал: «...Никакие уговоры не могли заставить Владимира Ильича выйти из этой комнаты, туда потом принесли обед, затем ужин, там Владимир Ильич и заночевал при всеобщем волнении окружающих...» В этом флигеле Ленин пробыл три дня. С учетом его физических возможностей, этот уход мог быть уподоблен уходу Толстого из Ясной Поляны. Из «затемнения сознания» вождь, в значительной мере, вышел благодаря своей воле. «Два раза отброшенный ударами в детство,— вспоминала Рейснер,— два раза он из него вырастал в гиганта: учился говорить, учился писать, учился выражать свои мысли...» У Ленина стремительно прогрессировал артериосклероз. Сосуды заполнялись известью и окаменевали. Правая половина мозга перекрывалась от левой — отсюда потеря речи, потеря коор-

динации, потеря логической связи, потеря индивидуальности, страшные судороги и галлюцинации. Каждый новый удар для вождя был тяжелее предыдущего. При вскрытии врачи обнаружили, что из всего окостеневшего мозга у него работал лишь крошечный участок серого вещества...

* * *

Горький, Шкловский и Шаляпин решили в одном из берлинских ресторанов пообедать. Но.. «по-советски».

Шкловский был круглоголовый, небольшого роста, веселый человек, с умными, в искрах, глазами.

— Значит, так, милейший...— сказал он официанту — Мы хотим выразить солидарность нашим соотечественникам и съесть то, что едят сейчас в России. На первое — дай нам воблу, на второе пшеничную кашу на воде, на третье — кипяток без сахару.

— О!..— немец покачал головой.— Это трудно. Что есть «Во-обла?»

— Рыба,— пояснил Шаляпин,— селедка! Вот такая...— Он постучал ребром ладони по столу, показывая, что она жесткая.

— Надо искать,— сказал официант.— Хорошо.— И удалился.

Алексей Максимович, скептически улыбаясь, покачал головой.

— Боюсь, из этой затеи ничего не выйдет Ну, что там, в России, Федор?

— Все то же: с методичностью идиотов убиваем друг друга.

— А я все же вернусь,— вдруг с тоской проговорил Шкловский.— Сбежал, подлец, жену оставил, как здесь с этим жить? Нет,— помолчав, произнес

он снова,— напишу во ВЦИК покаянное письмо — и будь что будет.

Писатель и артист переглянулись.

— Так нас там и ждут,— сказал Алексей Максимович.— Вона, погляди, что про меня их «мастер быстрого реагирования» пишет...— Он достал из кармана свернутую газету и передал Шаляпину.

Артист, расправив ее, сразу увидел, отмеченное красным карандашом, стихотворение Демьяна Бедного. Пробежав его глазами, Федор Иванович поцокал языком, затем вслух зачитал:

О... Он, конечно, нездоров:
Насквозь отравлен тучей разных
Остервенело-буржуазных
Белогвардейских комаров.
Что до меня, давно мне ясно,
Что на него, увы, напрасно
Мы снисходительно ворчим:
Он вообще неизлечим.

— Каков же гнус! — отреагировал Шаляпин.— Этого Бедного я как облупленного знаю: отъел морду и пузо на большевистском вине и харчах, а теперь над твоей чахоткой потешается.

— Во! — увидел Шкловский.— Несет!..

Официант приблизился с подносом, на котором стоял горшок с кашей, три тарелки, три стакана с кипятком и блюдо с крупной селедкой серо-буро-малинового цвета. Все это он аккуратно поставил перед клиентами, спросил:

— Все хорошо?

— Лучше не бывает! — подтвердил Федор Иванович. Он взял в руки дубовую рыбину и отбил ее о край стола. Затем на три части еле разрезал ее ножом.— Вот вам... пролетарии умственного труда, угощайтесь.

Все трое, переглядываясь и посмеиваясь над самими собою, принялись с отвращением жевать и проглатывать селедку, запивая ее иногда кипятком... Съели.

Шкловский наложил из горшка в тарелки пшенной каши.

— Может, сделаем «маленький компромисс»... чуть маслица?

— Нет, нет,— не согласился Горький.— По-советски, значит, по-советски.

Каждый съел по две, три ложки сухого варева и; не в силах больше преодолеть себя, отодвинул тарелку.

— Не вышло,— сказал Шкловский,— отвыкли. Подлец, человек! — Он поднял руку, чтобы его увидел официант.— Любезный!.. Принеси-ка нам теперь баварского пива.

— И сосисок с капустой! — добавил Шаляпин...

* * *

Высылка из Советской России «философским пароходом» 160 ученых и писателей явилась своеобразным ультиматумом народившейся партийной номенклатуры русской интеллигенции — либо вы отказываетесь от независимого образа мыслей и соглашаетесь думать, как мы хотим, либо сведены на «нет».

Западу эта «интеллектуальная посылка» показала нелепой. Но логика все же была: «репрессии,— как замечал Ленин,— диктовались революционной целесообразностью». А нарком Луначарский высказывался и того циничнее: «...если у спеца какого-нибудь, например, инженера, много идей, это хуже, ибо эти идеи мешают использо-

вать для работы такой элемент. А вот когда у него нет никаких идей, тогда его можно пускать в работу...» То есть всех, кто не желал превращаться в подручный «элемент» «а-ля Генриха IV с одесским акцентом», следовало выслать или ликвидировать. А о тех, кто явится им на смену, четко сказал «страдалец» Бухарин: «Нам необходимо, чтобы кадры интеллигенции были натренированы идеологически на определенный манер. Да, мы будем штамповать интеллигентов, будем вырбатывать их, как на фабрике». ...Как бы не хотелось в этом признаться, но в значительной мере им это удалось. Нас натренировали и наштамповали...

* * *

В Херингсдорфе все лепили пельмени. Гости и хозяева: Шкловский, Шаляпин, Ходасевич, его супруга Берберова, Мария Игнатьевна, Горький, Крючков, жена Максима Надя. Лепили за длинным столом, который опять вынесли перед виллой на лужайку: их было уже около пятисот штук. Максим разводил неподалеку костер под большим казаном с водой, стоявшим на железных ногах, а Ракицкий, как всегда, бездельничал. Он выволок на воздух три стула и, сдвинув их вместе, разлегся на них на боку, с интересом наблюдая за лепкой.

Всех в своем мастерстве превосходил Алексей Максимович: повязанный вместо передника по пояс простыней, он расправлялся с тестом и фаршем быстро, ловко, точно и артистично. Это была не лепка, а высокое искусство. Однако при этом он еще успевал и возмущаться:

— ...Эта высылка, господа,— отрицание всякого разума и всякой нравственности в пользу идейной догматики! Не что другое!

— Можно считать,— заметил Ходасевич,— что битва большевиков за введение единомыслия в России завершилась победой.

Горький согласно мотнул головой:

— Средневековье! Они не понимают, что вплотную подвели страну к той грани, за которой начнется деградация общества. Хотя многих из высланных я и не люблю, особенно лжепророка Бердяева.

— Почему же — «лже»? — неожиданно вступился за него Шаляпин.— Лично я считаю, что в России он кое-что подметил «не в бровь, а в глаз»

— Например?

— Большевизм, по Бердяеву, совершил предательство вечности. Он отверг «предрассудок» о Боге, с ним все непреходящие ценности, а принял — все тленное от него, все его корысти, все его рабство... Или другое: «их идея «социалистического» рая на земле и превращает нашу жизнь на земле в ад». В чем же тут ложь?

— В главном, Федор: ибо, если и есть Бог, так только один — свобода человеческого разума. А он ставит его на второе место после Бога выдуманного.

— Ну, и к чему твой разум привел — к «целесообразным» убийствам себе подобных и к отрицанию уже всякого разума?.. Ты ведь сам об этом сказал только что.

— Я имел в виду другое.

— Может, хватит политики? — проговорила Мария Игнатьевна.— Вы опять поссоритесь.

— Ты сам себя желаешь обмануть, Алексей! —

не обращая на нее внимания, продолжил артист.— Одновременно винишь их в варварстве, а под спудом оправдываешь. Ты...

— А ты! — перебил его писатель.— Почему же тогда ты отказался вчера от концерта в честь Романовых? Они ведь все были «богоносцами».

— Потому что — дурак! Сдрейфил я, смалодушничал, а теперь каюсь! — Шалапин в сердцах шлепнул об стол недоделанный пельмень и отошел от стола.— Испугался я, понимаешь? — с досадой сказал он оттуда.— Что опять меня твои большевички затравят.

Горький ухмыльнулся в свои рыжие усы:

— Ты, Федор, цены себе не знаешь. Ты больше аристократ, чем любой Рюрикович. Ты в русском искусстве музыки первый, как в искусстве слова первый — Толстой. Так чего ж тебе каяться, что не стал перед царской фамилией холопом? К тому же, вспомни, и ты желал их падения.

— А по совести?.. Дом Романовых стоял триста лет, и с ними жил и здравствовал мой народ. А теперь — я им кукиш в кармане? Нет, свинья я! Большевики — куда паскуднее, чем царь.

— Неправда! — Писатель тоже шлепнул об стол пельмень.

Шалапин вернулся.

— Не хотелось говорить, Алексей, но там...— он показал рукой за спину, — они тебя уже крепко переоценивают. Маяковский громовым голосом объявил, что Горький — труп, он сыграл свою роль и больше литературе не потребен.

— А я плевал на него!..— закричал Алексей Максимович.— На выскочку!

— А не он один — и другие. Так прямо и говорят: «сбросить его с корабля современности».

Как тебе — такая большевистская благодарность?

Горький стиснул желваки, лицо его стало белее муки, что была на его ладонях.

— Нет,— очень тихо сказал он.— Это не так... Не будет так, Федор.— И, не снимая с себя простыни, побрел к морю.

Мария Игнатъевна осуждающе покачала головой в сторону поникшего Федора Ивановича, отряхнула руки, сбросила передник и пошагала за Алексеем Максимовичем.

Нагнав его, она молча пошла с ним рядом...

Когда они отошли на достаточное расстояние от дома, Горький, не глядя на нее, сел у воды на большой плоский валун.

Женщина, постояв сзади, осторожно запустила мягкие руки ему в волосы и стала легко ворошить их пальцами.

Алексей Максимович прикрыл глаза и перестал двигаться.

— Завтра я уезжаю,— вдруг сообщила Мария Игнатъевна. Он, встрепенувшись, обернулся.

— Куда?.. Опять... к «детям»?

— А почему — ирония? — Женщина убрала от его головы руки.— Я полагала, что к моим поездкам в Эстонию вы уже привыкли.

Писатель горько усмехнулся:

— Мне порой кажется, что после одного из таких... регулярных,— он подчеркнул это слово,— визитов в Таллин, вы вдруг можете не вернуться.

— Глупости! Отчего бы?

Горький не ответил и, отвернувшись от женщины, нахохлился и замкнулся в молчании.

Мария Игнатьевна подсела кошачьим движением рядом и прижалась к его спине теплым боком. Затем тихо и убедительно сказала:

— Вам известно, что без вас я не смогу больше, чем вы без меня. И потому не делайте из себя страдальца, я не поверю. Мне хотелось бы серьезно обсудить с вами совсем другую тему.

Уставившись в накатывающие волны, писатель буркнул:

— А именно?

— Вы, как я догадываюсь, больше всего страдаете от самого себя, Алексей Максимович. Да, не усмехайтесь. Вы теперь оказались между двух злых огней: меж неблагодарными большевиками и психически неуравновешенными эмигрантами. А результат один: ваши связи с Москвой идут к неминуемому разрыву.

— Вы преувеличиваете.

— Отнюдь. У Ленина случился новый удар, и кто-то скоро заступит на его место. Не исключено, что Зиновьев. А в России сейчас немало, по вашему же выражению, «революционеров на время», которые готовы спровоцировать Горького на отречение от Советской власти. Вы видите сами, что литературные подручные типа Демьяна Бедного и Маяковского все больше нагляют и набирают там силу. Вас это не настораживает?

Горький нервно передернул плечами.

— Не знаю. Я страшно от всего устал. Иногда хочется забиться в какой-нибудь угол и все и вся послать к черту!

— А дальше? — холодно спросила Мария Игнатьевна. — Парвус выплатит долг, а в Европе появятся новые литературные имена, которые, про-

стите, смогут и заслонить вас, Алексей Максимович... Что же дальше?

— Что вы предлагаете?

— Отойти от эмиграции и, на всякий случай, не ссориться с большевиками. И печататься: не только здесь, но и в России.

Писатель круто развернулся к женщине:

— Иначе, вы предлагаете мне циничную программу: существовать за их счет, а жить здесь?

— Да,— спокойно подтвердила Мария Игнатьевна,— и как можно дольше. А что делать — другого выхода у нас с вами нет.

— У нас с вами... Вы, как всегда, удивляете, Мария Игнатьевна: при вашей-то нелюбви к большевикам, так хлопотать, чтобы я с ними не разругался.

— Если и вовсе откровенно, Алексей Максимович, я хлопочу за себя. Станете нищим вы, быть нищей и мне. А насчет «нелюбви» к большевикам или эмигрантам скажу одно: судить вас, в конечном счете, будут не они — временщики, а русская история.

Горький вновь отвернулся и, согласно покачав головой, углубленно замолк.

— Теперь по поводу «какого-нибудь угла»,— после паузы произнесла Мария Игнатьевна.— Это очень верная мысль. Но, естественно, не в Париже — там пекло эмиграции, а, например, в Италии... Солнце, покой, море...— именно в этом вы сейчас и нуждаетесь, Алексей Максимович.

— Муссолини меня не пустит.

— А мы настойчиво его попросим.— Женщина плотнее прижалась к спине писателя и опять запустила в его волосы руки.— А до визы, на зиму, не-

плохо бы забраться в какой-нибудь глухой Мариенбад. Вы же обожаете мертвые сезоны.

Горький хоть по-прежнему и не оборачивался, но явно помягчел лицом и снова закрыл глаза, ничего не отвечая.

Напротив них беспрерывно накатывалось, шуршало о гальку море...

* * *

Крупская учила парализованного супруга говорить. По картинкам в детской книжке. Подставляя близко к его лицу страницу, она спрашивала:

— Кто здесь нарисован, Володя?.. Как зовут?..

Ленин, неподвижно возлежкий на высоких подушках, мучительно напря. лоб.

— За...я...— наконец выговорил он.

— Хорошо. Замечательно.— Жена перевернула страницу с зайцем, играющим на барабане.— А это?..

— Лис...а-а...

— Правильно. А вот?..

— Ко-ро-ва...— На лице вождя появилось подобие улыбки.

— Ты сегодня просто молодчина. Давай попробуем без книги. Скажи: «мама».

— Ма-ма...

— «Папа».

— Па-па-па...

— Не торопись.

— Па-па! — четко произнес Ленин.

— А теперь посложнее: ре-во-лю-ци-я.

— Ре-вре... люци... вр-р-р... вре... ре...— Лицо вождя исказилось от невероятного напряжения.— Ры-ы...— он зарычал.— Вр-ры... Р-р-р...

— Не надо! — закричала Крупская. — Прекрати!.. Остановись, Володя... — Она вдруг набросила мужу на голову нижний край одеяла, обнажив его голые синеватые ступни.

Но он продолжал рычать и под накидкой:

— Р-ры... Вр-ры... Р-р-р...

Жена повалилась возле него на кровать и громко зарыдала...

* * *

Нина Николаевна Берберова и ее супруг Ходасевич, направляясь в толпе пассажиров к берлинскому вокзалу Цоо, одновременно застыли.

С его широких ступеней, среди публики, сходила Мария Игнатьевна. Она была под руку с каким-то блондином, моложе ее лет на десять. Женщина шла, одетая совсем по-иному, чем в Херингсдорфе: элегантная, веселая, красивая, она искрилась кокетством.

Ходасевич потянул жену за колонну, Мария Игнатьевна, не замечая их, прошла со спутником мимо.

— Как же?.. — тихо и ошарашенно произнесла Нина Николаевна. — Только вчера от нее пришла открытка со штемпелем из Таллина, что она задержится в Эстонии.

Муж, глядя женщине вслед, предупредил:

— Мы ее не видели, ты поняла?

Берберова согласно и подавленно наклонила голову.

Мария Игнатьевна и блондин остановились на обочине тротуара и стали кого-то дожидаться. Прямо к ним подъехал автомобиль, из него тотчас вышли двое пожилых солидных мужчин. Один с

подчеркнутым почтением распахнул перед женщиной переднюю дверцу. Мария Игнатьевна очаровательно улыбнулась и, подобрав подол платья, села в машину. Мужчина захлопнул дверцу и, оставив блондина на тротуаре, устроился вместе с другими на заднем сиденье.

Ходасевич негромко проговорил:

— Я всегда подозревал, что нам и Алексею Максимовичу эта женщина говорит о том, чего не было, и молчит... о том, что было.

Автомобиль с Марией Игнатьевной тронулся и, удаляясь, покотил по берлинской улице...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Не воя конара староу, о? С кин
 выеи знаеи ешто и керпие
 ирри то а кини делнате воя
 еталоу зователл иринковедан
 пил сави еиетеме? Оу-у е
 воре во конкеди...
 Подози конкелл, ~~Федеро д'уна~~
 и ереу етало во воре бене.
 да, с бауеином, с к'с'еан и
 к'еан келлр маеетато вора
 Фереу еиетеме трати еи еиреу
 кин конара!
 Не во кини? Претио а
 хен еиетеме еана и кини
 маеетателл востанеу а еиетеме
 еталеу предон бауеу.



ЗИМОЙ 24-го ГОДА АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ переехал с семьей в Мариенбад и стал ожидать здесь визу в Италию.

За окном лежал засыпанный снегом, заколоченный на сезон уютный городок в самом глухом немецком уголке Чехии. Под порывами ветра он иногда как бы встряхивался от зимней спячки и кружил легкой поземкой.

В камине потрескивали дрова, напротив, то закрывая, то открывая один глаз, умиротворенно дремала собака, а еще дальше, у другого окна, за столом работал Горький. Работал упоенно, будто изголодавшись. Испещряя страницы быстрым почерком, он вдруг откидывался в кресле и нашептывал те или иные фразы своих персонажей, проверяя их на слух. Натываясь в мыслях на какое-то препятствие, он тут же закуривал, вскакивал и, хмурый, мерил взад-вперед широкими шагами кабинет. Собака при этом садилась и вопросительно на него смотрела. Неожиданно он бросался на кожаный диван, закладывал руки за голову, плотно закрывал глаза и замирал с отставленной в пальцах папиросой, от которой струился к потолку длинный дымок. Вновь резко вставал, возвращался к столу и, стоя, согнув пополам высоченную фигуру, что-то торопливо записывал. Увлекаясь, писатель по-детски высовывал кончик языка и механически гасил левой рукой в пепель-

нице недокуренную папиросу. Вспомнив о кресле, он опять садился, и вместе с этим его движением снова умиротворенно ложилась на пол собака. Она чувствовала — хозяина прорвало, и теперь уже надолго.

Горький не просто писал — его лицо произвольно жило тем, что он описывал: волновалось, недоумевало, неприятно перекашивалось, неожиданно распускалось в улыбке, тут же становилось резким, решительным, потом за кого-то испуганным, — оттенкам не было конца. Но под спудом всех этих эмоциональных всплесков в писателе ощущался какой-то очень уверенный и спокойный пласт добра. Ибо в итоге он творил в данное время именно его. И именно в эти минуты Алексей Максимович становился самим собой — ничем не прикрытый, не замаскированный и никакой социальной позы не изображающий. Просто человек: наивный, доверчивый, до всего любопытный, порой слабый, порой сильный, но искренне желающий все и вся понять и пропустить через свое сердце. Среди вороха бумаг, на отложенном в сторону титульном листе рукописи значилось ее название: «Дело Артамоновых»... Горькому давно так не работалось, впервые за долгое время он обрел наконец душевный покой. Время от времени Алексея Максимовича раздражали лишь полутаинственные отлучки Марии Игнатьевны в Эстонию, но он уже научился глушить в себе все неприятные о ней мысли...

«Семья» писателя занимала в гостинице «Максхоф» весь первый этаж из семи комнат. Все еще спали: Ракицкий... Максим с женой... Мария Игнатьевна... Супруги Ходасевичи... Владислав Фелицианович Ходасевич поднялся первым, посмотрел на часы, было уже девять.

Он умылся; стараясь не шуметь, на скорую руку позавтракал на кухне, прошел в коридор и взял с журнального столика у входных дверей почту массу газет, журналов и писем.

Затем осторожно заглянул в кабинет к писателю

— Ради Бога, простите, я вам почту...— И, положив ее на стул, собрался исчезнуть обратно.

Горький — он до этого перечитывал рукопись — быстро сказал:

— Нет, нет, останьтесь.— Алексей Максимович отложил страницы и вышел из-за стола.— Я только что закончил новую главу. По-моему, чертовски интересную.— Он улыбнулся как школьник: и хвастливо и смущенно.— И, знаете, прихожу к простому выводу: писать — это мое настоящее дело. Все остальное...— Писатель безнадежно махнул рукой.— Как вы считаете?

Гак же,— ответил Ходасевич

— Потом перечтете, ладно?

— Обязательно.

— Вы для меня барометр, Владислав Фелицианович.— Горький взял его под руку, отвел от двери и усадил на диван.— Да, да — во всем.— Он остался стоять напротив.— И в писании и в прочем, так уж у нас с вами вышло. Кстати.— Алексей Максимович шагнул к столу и принялся что-то искать под бумагами.— Вы просмотрели циркуляр Надежды Крупской, что пришел еще на прошлой неделе? Где же он? Бог с ним.— Горький перестал искать.— Изучили?

Ходасевич равнодушно пожал плечами.

— Я не посчитал нужным обратить на него внимание.

— Напрасно. Он именуется... если не изменяет память: «Указатель об изъятии антихудожественных произведений».

ственной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя». Этот указатель ошеломляет разум. Крупской запрещены для чтения Платон, Кант, Данте, Шопенгауэр, Владимир Соловьев, Ницше, Библия, Коран, Лесков и даже Лев Толстой! Все сие — отнюдь не анекдот, Владислав Фелицианович, и напечатано во множестве экземпляров. Куда же она подевалась? — Писатель опять стал рыться на столе. — Белая книжечка небольшого формата.

— Похоже на какой-то духовный вампиризм, — раздумчиво заметил Ходасевич.

— Очень точно сказано! — Горький снова к нему вернулся. — Притом «Надюша» наверняка руководствуется добрыми намерениями, оберегая читателя от разного рода чуждых влияний. Я сразу написал ей довольно резкое письмо, правда, пока по поводу нашей с вами «Беседы».

— А что именно?

Алексей Максимович в раздражении заходил по кабинету.

— Все, как есть, и все, что думаю, Владислав Фелицианович: они ставят меня в дикое положение перед иностранными сотрудниками. Я привлек в журнал гигантов зарубежья: Ромена Роллана, Голсуорси, Уэллса, Стефана Цвейга, с советской стороны в нем сотрудничают Сергеев-Ценский и другие, журнал беспартийный, никому и ничему не навредит, принесет России лишь пользу, но «воз и ныне там». Издано два тома, а подписка идет туго, потому что никто не верит, что «Беседы» будут жить. Короче, я поставил ультиматум: если журнал не будет допущен в Россию и «верхи» станут и дальше волынить с ним вопрос, я ничего своего на родине печатать не стану и запрещу это делать другим. — Писатель неожиданно

воровато оглянулся и тихо попросил: — Только, пожалуйста, не говорите об этом Марии Игнатьевне.

— Так ведь все равно узнает,— сказал Ходасевич.

Горький потускнел и согласно качнул головой. Затем опять непроизвольно оглянулся на дверь.

— Как полагаете,— спросил он,— не написать ли мне заявление в Москву о выходе моем из русского подданства? Доколь терпеть их физические и духовные зверства?

— Вряд ли я хороший для вас советчик, Алексей Максимович.

— Почему?

— Я пристрастен. Я действительно хочу, чтобы вы остались здесь. Навсегда. Но вам сначала надо попробовать здесь прижиться.

— Что вы имеете в виду?

— В литературном плане. Я имею запрос от одного солидного эмигрантского издательства о вашем сотрудничестве. Как бы вы к этому отнеслись?

Писатель хмыкнул и, в раздумье, снова заходил по комнате.

— Вообще-то, можно,— наконец проговорил он,— но надо, чтобы инициатива исходила от этого издательства. Сам я никогда и никому не навязываюсь.

Вошла Мария Игнатьевна. Без стука. Она принесла поднос со вторым завтраком для Алексея Максимовича.

— Утро доброе! — улыбнулась она мужчинам. И тут же, зорко нацелив на обоих глаза, благодушно спросила: — Уж не заговор вы какой готовите?

Ходасевич поднялся.

— Отчего вы так решили?

— Лица у вас уж очень значительные.

— Так вы мне дадите главу? — напомнил Владислав Фелицианович Горькому.

Тот, засуетившись от присутствия Марии Игнатьевны, передал ему стопку исписанных листов

— А указатель я еще найду, — пообещал он.

Ходасевич удалился.

Писатель снова сел за письменный стол, покосившись на поднос, поставленный женщиной на тумбочку, буркнул:

— Благодарю, я позже.. Я продолжу.

Мария Игнатьевна посмотрела на него испытующим взглядом и, покачав головой, вышла тоже.

* * *

К вечеру, за общим чаем в гостиной, Алексей Максимович, сделав хитрое лицо, спросил:

— А не совершить ли нам «выезд пожарной команды»?

Молоденькие жены Максима и Ходасевича закричали:

— Ура! В синематограф! Ура!

Все бросились наверх одеваться.

Затем все семеро расселись в парные сани у крыльца гостиницы: Мария Игнатьевна и Горький на заднее сиденье, Ходасевич и Ракицкий на переднее, Нина Николаевна Берберова и Надя им на колени, а Максим на козлы рядом с кучером. Одетые, кто во что горазд, и многие в валенках.

— Пошел! — лихо скомандовал писатель.

Сани повеселись по пустым улицам мимо закрытых магазинов, театра, курзала, поухажывая и

повизгивая женскими голосами, на удивление редких прохожих.

На оглоблях сверкали фонари, звенели бубенчики, холодный ветер резал лица, но всем было очень весело.

В кино их встретили с почетом — кроме них, никого из посетителей не было.

Довольные, счастливые, все уселись в первый ряд и стали смотреть комедию Макса Линдера. Громко смеясь от проделок комика, подталкивая друг друга в бок, «семья» Алексея Максимовича и впрямь пребывала в прекрасном настроении, в ее веселье не было ничего натужного. Однако главной причиной тому было одно — Горький сегодня отлично поработал...

* * *

Среди ночи писатель вдруг открыл глаза и не обнаружил рядом с собой Марию Игнатьевну. Для убедительности он даже потрогал рукой ее постель с откинутым одеялом. Алексей Максимович тихо встал, бесшумно открыл дверь и выглянул в темный коридор.

Из-за приоткрытой двери гостиной, откуда сочился слабый свет, он услышал ее приглушенный голос.

Горький, босой, на цыпочках, приблизился и краем глаза заглянул за дверь.

Мария Игнатьевна, поджав под себя ноги в домашних тапочках, сидела в халате в кресле при свете настольной лампы. Напротив нее на стуле в полумраке сидел неестественно прямой Ходасевич.

— Сердце Алексея Максимовича чувствительно, но изменчиво, — тихо говорила жен-

щина.— И смею думать, именно это вы не учитываете. Он хочет участвовать в эмигрантском журнале,— Мария Игнатьевна усмехнулась,— вряд ли. Он, скорее, представляет себе это как соблазнительный, но несбыточный поступок — вроде выхода из советского подданства.

Бесстрастное лицо Ходасевича дрогнуло.

— Как? — спросил он.— Он вам говорил и об этом?

— Не только говорил, любезнейший Владислав Фелицианович, но не раз при мне принимался писать об этом заявление во ВЦИК. Его тайны никогда не предназначены для одного человека.

На некоторое время оба замолчали, каждый думая о своем.

Писатель, не двигаясь, продолжал оставаться за дверью.

— Я монархистка, Владислав Фелицианович,— вновь услышал он голос женщины,— и свою ненависть к большевикам, по-моему, вполне доказала, но Максим, вы сами знаете, что такое, он только умеет тратить деньги на глупости. Кроме него, у Алексея Максимовича много еще людей на плечах, нам нужно не меньше десяти тысяч долларов в год, а одни иностранные издательства столько дать не смогут. И потом,— Мария Игнатьевна сделала долгую паузу.— Если Алексей Максимович утратит положение первого писателя советской республики, то они, ваши эмигранты, и совсем ничего не дадут; да и сам он, уверяю вас, будет несчастен, если каким-нибудь неосторожным поступком испортит свою биографию. Поймите меня, я монархистка до мозга костей и ненавижу большевиков,— повторила она,— но для блага Алексея Максимовича и всей семьи... В общем, я убеди-

тельно прошу вас, Владислав Филицианович, для общего нашего мира...— Мария Игнатьевна многозначительно это подчеркнула, — не вставать между мной и Алексеем.

В передней раздался громкий и продолжительный звонок, она замолкла.

Горький на цыпочках попятился, потом на цыпочках побежал и, лишь поравнявшись со своей комнатой, нарочито громко затопал, направляясь к входной двери.

Вслед ему из гостиной встревоженно выглянули Мария Игнатьевна и Ходасевич.

— Что случилось? — крикнула женщина.

— Ничего, — не оборачиваясь, ответил писатель. — Иду открывать.

На пороге гостиницы предстал почтальон.

— Прошу простить, но это... — он вручил Алексею Максимовичу телеграмму, — срочно и, полагаю, для вас важно.

Писатель пробежал текст глазами и замер. Затем перечитал еще раз.

— Что там? — спросила подошедшая Мария Игнатьевна.

Лицо Горького было очень серьезным и даже вроде как бы злым. Он молча отдал женщине телеграмму и, ничего не сказав, быстро ушел в свою комнату.

Она тихо вслух прочла:

— «Владимир Ильич скончался, телеграфируй текст надписи на венке. Екатерина Пешкова»...

* * *

Ленин при жизни заложил не только структуру партийной верхушки, но и всю драму и трагедию, которая развернулась в ней после его кончины в

борьбе за лидерство. Опасаясь влияния Троцкого, он организовал в ЦК мощную тройку из его противников и высоко поставил их в партии: Зиновьева — во главе Коминтерна, Сталина — генеральным секретарем, Каменева — фактическим руководителем Совнаркома. Он прекрасно знал, что Троцкого особенно ненавидят Зиновьев и Сталин, и никак не пресекал их настроения. Вождь полагал, что благодаря постоянному противодействию этих двух сторон, сам он будет всегда крепко держать руль власти. (Сейчас Сталина изображают монстром, как самого по себе. Но даже подобную тактику — «разделяй и властвуй» — Иосиф Виссарионович, как и очень многое, с прилежностью добросовестного ученика перенял от своего учителя.) Ленин не рассчитал одного — сокрушительных ударов которые, с короткими перерывами, обрушились на него один за другим. И уже после второго — его соратники поняли, что он выпадает из игры. Они тотчас повели друг против друга поначалу тайную, а после смерти вождя и явную борьбу. «Тройка» сразу объединилась и поставила задачу дискредитировать и удалить от власти Троцкого. Первым тактическим ходом был простой обман. Смерть вождя застала Троцкого на Кавказе, но ему послали телеграмму с неверными сроками похорон, а по сему среди скорбящих соратников его не оказалось. По замыслу «тройки», имя Троцкого не должно было в глазах народа связаться с именем Ленина. И не связалось, — он приехал, когда вождя уже погребли во временном Мавзолее. «Первым номером» в партии стал считаться Зиновьев, «вторым» — Каменев, «третьим» — Сталин, который подлобно, шаг за шагом, прибирал весь партийный аппарат к рукам и готовил себе на будущем съезде боль-

шинство голосов. Как теперь известно, «третий номер» «съел» всех: поначалу, при активной помощи «тройки» и пассивном нейтралитете Бухарина, Рыкова и Томского — Троцкого; затем «первого» и «второго» — Зиновьева и Каменева, а уже после и всех остальных. Недаром в завещании Ленин назвал Сталина среди предполагаемых наследников одним из первых. Этот человек до конца дней свято и с железной непреклонностью выполнял все, без исключения, заветы своего вождя...

* * *

Горький сидел в кресле своего кабинета, «как опущенный в воду», со сторбленной спиной, с обвисшими к полу руками, с померкшим взглядом, который был неподвижно уставлен в пол. Перед ним, то наседая на писателя, то его увещевая, ходили, опускались на диван, на стулья, снова вскакивали Петр Петрович Крючков и Мария Игнатьевна. Сменяя друг друга, они говорили то с жаром, то с грустью, то с усмешкой, то с укоризной, а иногда и с нескрываемым раздражением. Алексей Максимович не шевелился и не менял позы, и было непонятно, слышит он их или нет..

— Бунин! — восклицал Крючков.— Вы только вслушайтесь, что он написал. Вот,— Петр Петрович нервно вздернул и расправил парижскую газету.— «Планетарный скот, выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее: он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек — и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он челове-

чества или нет? В черепе этого нового Навуходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе в своем красном гробу он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице; ничего не значит, спорят! На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках и поминутно высовывал язык...» Да что эту мерзость читать. Как же можно молчать, Алексей Максимович?

Писатель продолжал оставаться нем...

С Крючковым Мария Андреева порвала, и он перешел к Горькому, как бы «по наследству» от второй его супруги, в качестве нового секретаря — и остался с ним уже и до конца жизни...

— Или вот, перл итальянского дружка Кропоткина! — снова воскликнул Пётр Петрович. — «Несмотря на лучшие намерения, Ленин был тираном, который задушил русскую революцию. Мы не восхищались им при его жизни, как не в трауре и сейчас. Ленин умер. Да здравствует свобода». Вы не вправе не реагировать, Алексей Максимович, не вправе! — Крючков, утомившись, сел на стул, обмахиваясь газетой.

С дивана поднялась Мария Игнатьевна. Подбранная в комок, с резкими, точными жестами и движениями.

— Я понимаю, — начала она ровным, но жестким голосом, — отлично понимаю ваше состояние, Алексей Максимович. Ведь вы сейчас раскаиваетесь, что перед отъездом из России были резки с Лениным. Я не права? — Она быстро обернулась к писателю.

Он, не возражая, сильно стиснул веки.

— Вот видите, я вас достаточно хорошо знаю, а потому смею утверждать большее: вы ощущаете сейчас своеобразное сиротство, что ушел этот че-

ловец, который, так или не так, но осуществлял вашу идею Алексей Максимович, вашу! И вместе с этим чувствуете зловещий дух неизвестности. Скажите, ведь я снова не ошибаюсь?

Горький стиснул желваки и еле заметно кивнул в знак согласия.

— Но вас останавливает ультиматум, который вы поставили Советской власти: не печататься, пока в Россию не будут допущены «Беседы».

— Будут! — сказал со стула Крючков. — Я только что оттуда, и меня твердо заверили, что со следующего квартала первая книжка пойдет в тираж.

— Тем более, — продолжила женщина. — Но и без этого вам, Алексей Максимович, нельзя не сделать для них исключение и не написать воспоминаний об Ильиче. Нельзя. Во-первых, никто не станет рассматривать этот шаг как вашу капитуляцию, в том числе и Запад, мнением которого вы так дорожите; а, во-вторых, очерк о вожде революции, которого так ждут власти в Москве от ее «буревестника» естественно примирит их с вами. Не говоря уже о том, что «воспоминания» издадут и здесь и там тысячными тиражами.

— Я прошу... — процедил сквозь зубы писатель. — Прекратите этот цинизм.

Мария Игнатьевна обиженно поджала губы и, повернувшись ко всем спиной, отошла к окну.

На улочках Мариенбада мела метель.

Петр Петрович, тяжело вздохнув, опять встал со стула и некоторое время молча ходил по комнате. Наконец проговорил:

— Не любите вы нас, Алексей Максимович, и никого не цените. А ведь мы, и я, и Мария Игнатьевна — по сути, тени вашей жизни. Да, да, своей у нас, по большому счету, нет, мы всего

лишь ваше отражение. Ваших замыслов, ваших пожеланий, вашего настоящего и будущего. Вы — это мы, так мы себя рассматриваем, но вовсе на это не ропщем. Более того, лично я счастлив, что могу служить, как умею, такой личности, как вы, Алексей Максимович. И это не лесть, вы знаете. Так посчитайтесь хоть раз с нами. Ибо что случится с вами, то ждет и нас. А произойти может самое худшее, — там на вас очень обозлены. Но даже если плюнуть на нас, на своих близких, то голос элементарного сочувствия покойному, который из гроба не может теперь защититься от потоков грязи и черной злобы, хлынувших на его имя, неужто вы не слышите его в себе?

Алексей Максимович молчал.

— Вам хорошо известно, — снова произнес Крючков, — я никогда не любил Ленина и, помнится, даже как-то остерегал вас, чтобы вы не создали себе из него кумира. Знаете вы и мои оценки жестоким действиям Советской власти, но сейчас, когда льется эта чудовищная гипертрофированная ложь, я не знаю, мне даже кажется, что большевики были правы в своем недоверии к интеллигенции. А впрочем... — Крючков вдруг в отчаянии махнул рукой, — будь что будет. — И снова сел на стул, отрешенно уставившись в одну точку.

— Ну, уж нет, — Мария Игнатьевна круто развернулась от окна. Ее лицо вдруг оказалось не похоже на самое себя: с тонкими, как бритва, губами, подрагивающими крыльями носа, с холодными и не живыми, как два камушка, глазами — оно напоминало какую-то неприятную хищную птицу. — Алексей Максимович, вероятно, не совсем осознает, на каком он свете. Уж простите, что я запомнила, что вы не любите своей поэмы «Буревестник», но коли действительно быть циничной, то

следует сказать совершенно о другом; вы очень скоро станете банкротом не только в политическом, но и в литературном плане, Алексей Максимович. Тиражи ваших книг на Западе стремительно падают, еще год, максимум, три, и потом к вам и вовсе потеряют интерес, ибо вы не будете никого представлять — ни русскую эмиграцию, ни Советскую Россию. Киносценарии, на которые вы уповаете — не ваше дело. «Разин» — парижанами напрочь отклонен и забракован к кинопостановке. Там — вы печататься не желаете, а не напишете «воспоминаний», они сами перестанут вас издавать, даже если вы станете умолять их об этом уже на коленях. Что же выйдет: здесь к вам потеряют интерес, а на родине постепенно забудут, что был такой писатель Максим Горький. Притом, не без помощи тамошних коллег и властей. Вы знаете, как они умеют вышибать любое имя из народной памяти. И уж простите и вовсе за прозу: на что жить? Элементарно, без каких-либо претензий к жизни, а просто чтобы не помереть с голоду? Да к тому же где — визы от Муссолини пока нет, а советское посольство в Италии сделает все, чтобы ее никогда не было. На что и где жить? Алексей Максимович?

— Уходите, — тихо произнес Горький. — Я все сделаю, я напишу, только уходите.

Мария Игнатьевна и Крючков, переглянувшись, остались на своих местах.

— Да уходите же! — мучительно вскричал Алексей Максимович.

Один за другим они быстро удалились из комнаты.

Некоторое время писатель сидел в прежней «опущенной» позе. Наконец медленно поднялся, медленно прошел к письменному столу, мед-

ленно опустился на стул. Затем положил перед собой чистый лист бумаги, взял ручку и написал: «Владимир Ленин умер...» И надолго застыл, навалившись локтями на край стола. И вдруг по-детски перекинул лицо, закусил губу и зарыдал. Горько и безутешно. Слезы капали на бумагу, но он их не останавливал. В них выливалось все то, что долгое время копилось в душе Алексея Максимовича. Было только непонятно, кого он оплакивает: ушедшего вождя или все же больше самого себя? За окном беспрерывно подвывала холодная выюга...

Очерк Горького о Ленине подвергся в СССР жесточайшим цензурным урезкам и изменениям. Но все они были ничто в сравнении с последующими правками, которые сделал сам писатель под давлением Крупской. Всего имеется шесть-семь версий этого очерка. Последние перемены были совершены Алексеем Максимовичем, спустя шесть лет, в 1930 году. Воспоминания о вожде он переписал до неузнаваемости. Именно эта книга «В.И. Ленин» и издается у нас самым массовым тиражом...

* * *

Весной Горький наконец получил визу от Муссолини и поселился в Сорренто. Его вилла «Масса», окруженная пальмами, агавеми, апельсиновыми и лимонными деревьями, стояла у обрыва, на берегу Неаполитанского залива. Она смотрела на Неаполь, на Везувий, на пароходики, которые шли из Неаполя вправо, а на Капри — влево.

Горький и Иван Павлович Ладыжников сидели в плетеных креслах на большом балконе и, щурясь от майского итальянского солнца, раздум-

чиво смотрели на море... У ворот виллы раздался мощный рокот мотоциклетки, на ней выехал из пристройки и остановился Максим. За его спиной сидела жена.

— Папаша! — крикнул он снизу. — Не жалеете?.. — Сын показал отцу на пустую коляску.

Алексей Максимович только махнул на него рукой.

Мотоциклетка опять взревела. Максим вырлил на дорожку и принялся носиться по окрестностям на большой скорости.

Писатель, покачав головой, сказал Ладыжникову:

— Скоро отцом будет, а весь в детстве.

— Вот как, — удивился Иван Павлович. — Когда же?

— Обещали через год, максимум через полтора сделать меня дедом.

— Ну, до этого еще дожить следует. А вообще, — Ладыжников скупно улыбнулся, — предложение Госиздата, в этом свете, имеет свою привлекательность. Контракт на полное собрание ваших сочинений тиражом в 40 000 экземпляров — прокормит не одного внука.

Алексей Максимович насупился и забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Затем спросил:

— Мария Игнатьевна, она точно в Берлине?

— Там, — подтвердил Ладыжников. — Ни в Лондон, ни куда еще, по моим наблюдениям, не выезжала. Очень уж она увлечена переговорами с представителем Госиздата.

— Напрасно. — Писатель нахмурился еще больше. — Я ее не уполномочивал.

— А у меня создалось впечатление... — Иван Павлович осекся под недобрый косым взглядом

Горького. Пересилив в себе вспышку раздражения, Алексей Максимович постарался спокойно сказать:

— Она слишком инициативна и много на себя берет. Нет! — Он пристукнул ладонью по креслу. — Никаких Госиздатов, пока не будет исполнено мое условие насчет «Беседы».

Ладыжников тоскливо вздохнул:

— Но ведь не будет, Алексей Максимович.

— Почему?

— Чувствую. Они просто водят вас за нос.

— Что же вы предлагаете?

— Никуда не денешься — придется подписывать с ними соглашение.

Писатель резко поднялся и в возбуждении заходил по балкону.

— Но вы понимаете, что сие будет означать, Иван Павлович?

— Понимаю. Это плен. Без разрешения Госиздата вы не сможете печатать отдельные вещи по своему усмотрению в других журналах и издательствах. Но деньги они готовы дать прямо сейчас.

— Плевал я на их деньги! Что с них толку, если я оказываюсь под идеологической опекой — нигде, никому я не имею права высказать своего особого мнения, где мне захочется и как мне захочется. Нет — это кабала!

— Кабала, — уныло подтвердил Ладыжников. — Но решаться на что-то надо.

— То есть?

— Или порывать с ними совсем. Или — податься подороже.

Алексей Максимович округлил глаза и остановился напротив Ивана Павловича.

— И что же вы посоветуете?

— По мне, — порывать, Алексей Максимович, —

тихо, но твердо ответил тот.— Трудновато будет, но пока Парвус платит — не пропадем. А с ними, ох, боюсь! золотые горы они, конечно, перед вами выложат, но душу им отдавать придется.

В голубых глазах писателя блеснули прочувствованные слезы. Он приблизился к Ладыжникову, взял в ладони его голову и крепко поцеловал в лоб...

* * *

В России тем временем большевики взялись за обработку подрастающего поколения — создали пионерскую организацию и нарекли ее именем В.И. Ленина. На XIII съезде РКП(б) по этому поводу выступил эрудит Бухарин: «...Центр нашей новой борьбы — это современная организация семьи. И здесь мы имеем пионерию, которая своими слабыми ручонками разрушает старые отношения в этой семейной организации, то есть ведет медленный подкол под самую консервативную твердыню всех гнусностей старого режима... Пионеры, эти молодцы, во многих случаях оказывают такое влияние на своих родителей, что они тащат их в партию, заставляют записываться и делают все, чтобы склонить их к вступлению в РКП(б)». Идею Бухарина «создать новый тип людей» делегаты поддержали бурными аплодисментами. «Человеческий материал» для этого, в лице детской пионерской организации, был уже налицо...

* * *

У Горького родилась первая внучка. Она спала у него на руках, и он, время от времени поглядыва-

вая на нее, всякий раз довольно и с каким-то благоговением улыбался в свои рыжие прокуренные усы. У внучки оказались крепкие нервы, ибо спала она среди шумного веселья и темпераментных итальянских песен. Вся «семья» писателя: его невестка, сын, приехавшая из Москвы Екатерина Пешкова, Мария Игнатьевна, Крючков, Ракицкий и вновь поселившиеся в доме писателя супруги Ходасевичи — сидели на почетных местах, по обе стороны от Алексея Максимовича, на народном празднике урожая в Сорренто.

Небольшая центральная площадь городка была украшена гирляндами и усыпана цветами. Гремела музыка, лилось вино, песни сменялись танцами — итальянцы праздновали искрометно, без усталости и от души...

Писатель склонился к первой жене Екатерине Пешковой, что сидела вместе с ним на скамье по правую сторону:

— В России сейчас говорят, будто Европа погибает. Посмотрите на них!.. Здесь идет процесс быстрой отмирания всего, что больше не нужно, но Европа — остается большим, зорким, умным человеком, который и хочет, и будет жить.

— Возможно, — с неохотой согласилась она. — И все же роковой упадок их искусства нельзя не заметить.

— Не верьте и этому. Вот... — Горький кивнул на ликующих итальянцев. — Корни Европы живут и здравствуют.

Пешковой не захотелось углубляться в эту тему, она перевела разговор на безмятежно спящую внучку:

— У Марфы-то нашей прямо не нервы, а канаты.

— Верно. — Алексей Максимович вдруг глупо-

вато хихикнул.— Как у вашего преподобного Феликса Эдмундовича.

Екатерина Пешкова сурово сдвинула брови.

— Ну-ка, дайте-ка теперь поддержать ее мне.—И забрала от него девочку себе на колени...

От Сорренто до виллы «Масса» было километра полтора, и «семья» Горького после праздника отправилась домой пешком. Растянувшись метров на пятьдесят, все медленно поднимались в гору, иногда останавливаясь и вдыхая аромат цветущих окрестностей. Писатель, Пешкова и Мария Игнатьевна шли впереди, следом, на расстоянии, Максим, Надя и Ракицкий с ее грудной дочерью на руках, далее Нина Николаевна Берберова и Крючков, замыкал шествие Ходасевич... Сын Алексея Максимовича, сознательно отстав, дождался поэта и пошагал с ним рядом.

— Вот такая история...— спустя паузу, конфузливо проговорил Максим.— Хочу с вами посоветоваться...

Ходасевич удивился.

— Со мной?

— Да. Вы кажетесь мне фигурой самой объективной. Понимаете, мать меня зовет в Россию, а Алексей...— Он кивнул вперед на сутулую фигуру Горького,— не пускает.

— А самому-то вам хочется ехать?

— Не знаю. Но это верно, что я ничего тут не делаю.

— А там что вы будете делать?

— Мать говорит, что Феликс Эдмундович мне предлагает место.

— Где? — не понял поэт.— Какое место?

— У себя, конечно,— в ЧК.

У Ходасевича от изумления поползли брови на лоб, но он сумел сдержаться.

— В ЧК? Да что ж, у него своих людей мало.

— Он меня знает, я у него работал.

— Когда?

— Еще в восемнадцатом, в девятнадцатом — когда был инструктором Всеобуча. Интересно, знаете ли, до чертиков. Ночью, бывало, нагрянем — здрасьте пожалуйста! С Левкой Малиновским мы однажды эсеров выловили.

— Позвольте... Малиновский — это не сын коммунистки Малиновской, что одно время заведовала театрами?

— Точно, — подтвердил Максим, — мой приятель. Мне тогда Феликс Эдмундович подарил коллекцию марок — у какого-то буржуя ее забрали при обыске. А теперь мать говорит, что он обещает мне автомобиль в полное распоряжение.

— А что же... Алексей Максимович? Как же он на это смотрит?

— Никак. Он только говорит, что нас всех там перебить могут.

— Вот как... А вы-то — что решили?

Максим вздохнул:

— Я ведь понимаю, не во мне дело: мать полагает, что если я уеду, то и папаша за мной. Поэтому вас и спрашиваю: как быть?

Ходасевич, наклонив к земле голову, некоторое время не отвечал.

— Знаете, — наконец сказал он, — если вы желаете отцу добра, оставайтесь.

— Почему?

— Пока в России Зиновьев, Алексею Максимо-
вскому там делать нечего.

— Жаль, — проговорил сын писателя. — А то как бы хорошо покататься на авто Феликса Эдмундовича! Ту! Ту! Ту! — Он пожал правой рукой на правое плечо. Поджав одно колено и откинув

корпус назад, Максим положил руки на воображаемый руль и побежал трусцой.— Ту! Ту!..— громко засигналил он впереди идущим и, выбросив левую руку вбок, сделал вираж, обгоняя всех на скорости.— Ту! Ту! Ту! Ту!..— Продолжая трубить, Максим понесся к воротам показавшейся виллы.

— Полюбуйтесь!..— Мать показала на него отцу.— Здесь он у вас от безделья еще не до такой дурости дойдет. Нет, ему надобно ехать со мной.

Горький сразу помрачнел и упрямо нагнул к груди голову.

— Не будет этого,— тихо ответил он.— Не пушу

Писатель не видел, как обе женщины — Пешкова и Мария Игнатьевна — понимающе и с горечью переглянулись за его спиной.

— Ну, какое будущее у нашего сына в Европе,— снова проговорила Екатерина Пешкова,— подумайте? Он здесь совершенно не развивается. А в России... все ждут Горького. Без вас там литературы нет и не будет. Чистоту идей Ленина там все больше замутняют горлопаны, бойкие борзописцы и всяческие формалисты. Неужто вы не осознаете, что ваш нелепый бойкот им только на руку?

Алексей Максимович молчал.

— Дзержинский недавно мне сказал: «Россия без Горького...— Пешкова замолкла, ибо из ворот виллы снова «выкатил на автомобиле» Максим.

— Ту-ту!.. Ту! Ту!..— Приближаясь и выражая, он держал над головой телеграмму.— Катафалк для похорон прибыл! — объявил он, останавливаясь перед отцом и передавая ему бланк.

«Парвус умер. Ладыжников»,— гласил текст.

Горький, потрясенный этим известием, застыл.

Мария Игнатьевна взяла из его опустившейся руки телеграмму, пробежала ее глазами и молча передала Екатерине Пешковой. Та, ознакомившись с содержанием, сухо усмехнулась:

— Этот знак судьбы подтверждает правоту моих слов, Алексей Максимович.

Писатель беспомощно посмотрел на Марию Игнатьевну.

— Что теперь делать?

— Подписывать контракт с Госиздатом,— ответила женщина.— И немедленно.

— Да,— подавленно согласился Алексей Максимович,— пожалуй... но в Россию...— Он повернулся к Пешковой: — Нет. Никогда! — И быстро зашагал от всех прочь к воротам виллы.

— погоди,— крикнул вслед сын,— я тебя подвезу! Ту! Ту!..— Он опять «завел мотор» и, нагнав отца, пристроился рядом, так — как будто бы Горький «поехал с ним» на соседнем сиденье.

Алексей Максимович остановился и вдруг зло, с досадой отвесил Максиму крепкую затрещину. И, с перекошенным от содеянного лицом, пошел дальше.

Оставшись стоять, сын неожиданно звонким, срывающимся фальцетом выкрикнул:

— Ну, ты!.. шуток не понимаешь... писатель!..

Горький не оборачивался и уходил от застывшей на дороге «семьи» все торопливее...

* * *

В России повесился Сергей Есенин. Но как теперь выяснилось,— не совсем. Поначалу поэта зверски убили, а уже после подвесили к трубе парового отопления в номере гостиницы «Англетер». Это подтверждает посмертная фотография

покойного в морге: в середине открытого лба глубокий пролом треугольной формы от тяжелого металлического предмета, синяк под левым глазом, следы ожогов на коже щеки и страшные повреждения на теле — четыре раны. 64 года убийцам удавалось скрывать правду и навязывать всем официальную версию о самоубийстве. Каким же образом, если существовали неопровержимые доказательства насильственной смерти? Что этому способствовало?.. Надо полагать, у каждого на эти вопросы, будут свои ответы, но для сокрытия преступления госаппаратом тогда были привлечены все свои общества: милиция, медицина, пресса, литература, подтвердившие в один голос, что Есенин-де «вынес приговор самому себе»; наконец, «антиесенинская» кампания, начиная «Злыми заметками» Бухарина, и как финал этой вакханалии — уголовное преследование за увлечение стихами поэта. Что же сие значит — как не сознательный и планомерный геноцид русского народа и его культуры. Только в одной поэзии на эшафот взошли Гумилев, Ганин, Есенин, Клюев, Наседкин, Орешин, Клычков, Васильев, Корнилов... А в других областях русской жизни? — трудно пересчитать... Главным убийцей Есенина последователи этой версии смерти поэта называют Троцкого, который, несомненно, угадал себя в поэме «Страна негодяев» и прислал в гостиницу «Англетер» палача подземных казематов Бломкина «со товарищами». Есенин, предчувствуя свою гибель, писал из Берлина: «Не поеду я в Москву, не поеду туда, пока Россией правит Лейба Бронштейн (Троцкий)...» А сам Лейба после «повешения» своей жертвы с удовлетворением отметил в «Правде»: «Поэт погиб потому, что был несроден революции... Умер поэт. Да здравствует поэзия». Поражает

не цинизм вождя-рабовладельца, другое — спустя много лет, он был убит в Мексике почти таким же образом, как и Есенин: на лбу у Троцкого, от удара альпенштоком, остался такой же глубокий пролом треугольной формы. Бог вернул ему его же кровавую печатку. Впрочем... уже в наши дни, не так давно, заседала специальная комиссия по расследованию смерти Есенина и вынесла тот же вердикт: поэт покончил с собой сам...

* * *

Горький вышел из дома, вдруг пританцовывая, выделывая руками какие-то движения, напевая и выражая лицом такой восторг, что супруги Ходасевичи, играя в беседке в шахматы, от изумления замерли. Писатель, приближаясь, держал в руках письмо и несколько газет.

— Что случилось?.. — спросил Владислав Фелицианович. — Уж не ожил ли снова Парвус?

Алексей Максимович махнул рукой:

— Что мне этот тип, вы поглядите, что тут написано. — Он положил на столик газеты, в одной из которых красным карандашом была очеркнута небольшая статья. — Ученые скоро откроют причину заболевания раком!

Ходасевич с улыбкой покачал головой:

— Вы по-прежнему неисправимо доверчивы, Алексей Максимович. — И углубился в статью.

Горький сел на скамью, достал из вскрытого конверта письмо, попросил:

— Берберини, будьте добры, переведите-ка мне, что тут Роллан пишет.

Нина Николаевна взяла от него тонкий лист бумаги с изящным почерком, напоминающим арабские письмена.

— Разрешите, я сначала про себя?

— Разумеется, синьора.— У писателя было отменное настроение.

Он взял из стопки газет советские «Известия», проговорил:

— Поглядим, что тут наши олухи вещают.— Бегло просмотрев с двух сторон заголовки, Алексей Максимович широко развернул газету и, близоруко склонившись к мелким буквам (он был без очков), вдруг напряженно сосредоточился.— Ах, мерзавцы! — воскликнул он.— Ну, дурачье проклятое, чего удумали!..

Ходасевич, оторвавшись от заметки, вопросительно посмотрел на него из-под очков.

— Послушайте: «...проворовался и арестован управляющий магазином ГУМ, который в свое время был принят на службу по рекомендательному письму Горького. Не исключено, что и сам писатель причастен к хищениям своего ставленника...» — Горький с гневом отшвырнул газету на землю.— До таких оскорблений они еще не доходили! нет, каковы сволочи! Их пресса только и умеет, что портить мне кровь.

— Но, может, вы и вправду давали такое письмо? — предположил Владислав Фелицианович.

— Может! — раздраженно откликнулся Алексей Максимович.— Откуда мне помнить? Я — дурак — по своей жалости, надавал тогда таких писем кому попало и по первой просьбе. Но они-то знают это, и теперь... Ай, негодяи! Горький, находясь в Италии, занимается хищениями в ГУМе — это какими же болванами надо считать своих читателей?

Ходасевич, подобрав с земли брошенную газету, спокойно сказал:

— Не стоят они того, чтобы так на них реагировать, Алексей Максимович.

— Точно. Тьфу на них! Трижды — тьфу! В жизни не возьму больше в руки их «желтую» пошлятину.

— А вот о Есенине они уже ни полслова, — заметил поэт, ознакомившись с советскими заголовками. — Быстро они его вычеркнули из своей литературы.

Горький, какой-то вдруг весь осиротевший и поникший, рассеянно кивнул, уйдя в свои мысли.

— Вы... — неожиданно произнес Ходасевич, — не хотели бы написать о Есенине?

— Я?... — Писатель встрепнулся. — Нет... А где?

— Здесь. Можно найти журнал вполне лояльный к советской власти.

— Нет, — опять сказал Алексей Максимович и покачал головой. — Хороший поэт, но увы — крестьянский. Он не мой. — Продолжительно помолчав, он добавил: — Бесспорный дар, да, и очень русский. Но такого конца... от него следовало ожидать.

— Почему?

— Лечить водкой душевный разлад — все равно что лить керосин в костер. Такова наша Россия — топит свои таланты в бутылке.

— Что же это за разлад? — поинтересовался поэт.

— Обычный: между умом и сердцем. Жизнь говорит: старина отжила свое, она идет в переделку. И умом Есенин это, безусловно, понимал. Но сердце его исходило жалостью к жеребенку, которого вытесняет трактор. Вот и вышло — патологическая любовь к деревне обернулась для него гибельной бедой.

Ходасевич вдруг упрямо поджал губы и резко, сухо возразил:

— Простите, но это умозрительное словоблудие, Алексей Максимович. Есенин — поэт от Бога, и более цельное мировоззрение, чем у него, трудно себе представить. А гибельно как раз то, чему вы собираетесь поклоняться — трактор: переориентация людей на возвеличивание машин и крайнее пренебрежение к живому человеческому чувству — той же жалости к жеребенку.

Писатель задето усмехнулся.

— Не стану спорить, надеюсь, в скором времени нас с вами рассудит жизнь. — Он повернулся к Берберовой — Перевели?

— Даваем-давно.

— Читайте.

Она взяла в руки письмо Ромена Роллана:

— «Дорогой Друг и Учитель. (И Горький и Роллан обоюдно называли так друг друга в своих посланиях.) Я получил ваше благоуханное письмо, полное цветами и ароматами, и читая его, я бродил по роскошному саду, наслаждаясь дивными тенями и световыми пятнами Ваших мыслей...»

— О чем это он? — в смущении перебил Горький. — Я его спрашивал о деле: поищите, нет ли там адреса, который я просил?

— «...пятнами Ваших мыслей,— продолжила Берберова,— уносивших меня улыбками в голубое небо раздумий...» — Она внезапно умолкла и встревоженно взглянула в сторону ворот.

Во двор виллы вкатил полицейский автомобиль. С него сошли несколько вооруженных до зубов человек, никого ни о чем не спрашивая, они уверенно вошли в дом.

Алексей Максимович и Ходасевич, ничего не понимая, переглянулись...

Это опять был обыск. И снова только в ком-

нате отсутствующей Марии Игнатьевны. Полицейские молча и тщательно принялись перерывать, просматривать все ее вещи, проглядывать письма, рукописи и некоторые из них скидывать в достье-папку.

Горький, потрясенный происходящим и бесцеремонностью этих людей, стоял в проеме открытой двери, как распятый, расставив руки к притолокам, и смотрел на обыск вытаращенными, остановившимися глазами... Затем круто отвернулся и решительно пошагал в свой кабинет к телефону.

Там, набрав номер, он, тоном, не терпящим возражений, потребовал:

— Барышня, я прошу немедленно соединить меня с нашим послом товарищем Керженцевым... Максим Горький!.. Случилось безобразие. Дичайшее... Товарищ Керженцев?.. Не могу пожелать вам доброго утра, ибо я предельно сейчас унижен и возмущен... Обыск! В моем доме, ничего мне не объясняя, проводят обыск... То, что вы не причем, я давно понял! — Писателя буквально заколотило от негодования.— Ваше полпредство демонстративно игнорирует мое пребывание в Италии, но при этом зачем-то откровенно перлюстрирует письма, поступающие как ко мне, так и от меня... Да! Да! И не вам повышать на меня голос. Я заявляю вполне официально: если вы не возьмете под защиту мое достоинство и не потребуете от Муссолини извинений, я немедленно покину Италию и перееду жить в Париж... Ошибаетесь! Именно вы и окажетесь причастны. Во всех зарубежных газетах, в каких только возможно, я оповещу, что в центр эмиграции меня толкнул советский посол в Риме товарищ Керженцев. Его полнейшее ко мне безразличие и, простите, тупость. Все! Советую об

этом как следует подумать.— Алексей Максимо-
вич так брякнул трубку обратно, что чуть не раз-
бил аппарат..

* * *

По возвращении в Италию из очередной поездки в Эстонию, Марию Игнатьевну арестовали на границе. Закревскую вывели под стражей из вагона и препроводили в здание станции.

В комнате красивый, обаятельный итальянец в чине капрала тщательно, но очень аккуратно досмотрел ее багаж. Из всех вещей женщины он отобрал лишь несколько бумаг и принялся запаковывать баулы обратно.

Мария Игнатьевна недвижимо сидела в углу на стуле, но была спокойна и даже как бы безразлична к происходящему.

Капрал, глянув на нее, улыбнулся белыми зубами

— Мне нравятся такие невозмутимые женщины.

— А мне обходительные мужчины.— Задержанная улыбнулась в свою очередь, но грустно.— К подобным акциям я, к сожалению, привыкла.

— Вас не впервые арестовывают?

— Да, это мой рок. В Москве одни считали меня тайным агентом Англии, другие — Германии. А в Берлине и в Лондоне приглядываются, как к советской шпионке. У меня что, действительно такая подозрительная внешность?

— О, напротив. Вы очень симпатичны и, я бы сказал, — более того!..

— Тогда за кого принимают меня итальянские власти?

— Честно?

— По возможности.

— Мы предполагаем, что вы состоите членом одной из самых опасных масонских лож.

Мария Игнатьевна откинула голову на красивой шее и захохотала, звонко, продолжительно, но при этом очень приятно...

* * *

Советский посол в Риме Керженцев сам лично приехал в гости к Горькому обедать. Он сидел в центре длинного стола с белой скатертью, за которым собрались все обитатели виллы «Масса», и, обращаясь больше к писателю и к Марии Игнатьевне, солидно, убедительно говорил:

— ...Все бумаги, письма... все до строчки будет возвращено завтра же. Муссолини звонил сегодня утром и просил передать его личные извинения. Притом звонил дважды. Во второй раз он сказал, что итальянцы почитают за честь, что Максим Горький избрал местом своего жительства их страну. Муссолини заверил, что обыск был досадным недоразумением, итальянская полиция, как всегда, все напутала и переусердствовала.

Алексей Максимович сидел глубоко удовлетворенный и, потягивая папиросу, иногда хмыкал в усы.

Мария Игнатьевна подлила в бокал гостя вина.

— Надеюсь, у вас больше не было недоразумений с итальянцами? — спросил ее посол.

Она коротко, но зорко всмотрелась в него, пытаясь понять, знает ли он об ее аресте на границе, и уклончиво ответила:

— По правде говоря, я надеюсь на это тоже.

Керженцев взял в руки бокал и, поднявшись, предложил:

— Давайте выпьем за нашу родину.

Петр Петрович Крючков тихо добавил:

— И за упокой товарища Дзержинского.

— Да,— согласился посол и еще больше посерьезнел лицом,— это тяжкая для государства утрата. Ну...— И первым выпил.

Члены «семьи» Горького, переглянувшись, пригубили вино тоже. К бокалу не притронулся лишь Ходасевич.

— А вы?..— обратился к нему Керженцев.— Вероятно, не пьете?

— Почему, пью,— ответил поэт.— Просто я не понял за что: за родину или за Дзержинского?

— А разве это не одно и то же?

— Нет.

Посол перевел взгляд на писателя.

Алексей Максимович нахмурился и, опустив глаза, забарабанил по столу пальцами.

Всеобщее неловкое молчание прервала Мария Игнатьевна:

— У Владислава Фелициановича на все особое мнение,— произнесла она, как бы извиняясь за Ходасевича.— И мы к этому давно привыкли.

— Ясно,— медленно протянул Керженцев и вновь посмотрел на поэта.— Значит, вы и есть тот самый Ходасевич?

— В каком смысле «тот самый»?

— В том, милейший, что срок вашего советского паспорта давно кончился. Нехорошо.

— Надо ли понимать вас так, что вы собираетесь его пролонгировать?

— Отнюдь,— отрезал посол.— Мы поставим вам визу для немедленного возвращения в Россию.

— За что же такая немилость?

— Мы считаем, что вы оказываете... дурное влияние на Алексея Максимовича.— Посол смотрел на поэта уже с откровенной враждебностью.

Горький прокашлялся:

— Пожалуй, это вы слишком...— осторожно сказал он Керженцеву.— Я не малое дитя, и Владислав Фелицианович, к слову сказать,— великолепнейший человечище.

Ходасевич, поднявшись из-за стола, иронично усмехнулся:

— Как ни странно, господин посол, но, из-за вашей неприязни ко мне, я услышал сейчас самые лестные для себя слова. Благодарю вас.— Он сухо поклонился и направился из столовой.

— И все же я советую явиться к нам с паспортом! — сказал ему вслед Керженцев.

Владислав Фелицианович приостановился.

— Неужели вы думаете, что если пришлепнете мне обратную визу, я так сразу в Москву и кинусь?

— Понятно.— Посол преувеличенно горько покачал головой.— В таком случае можете считать, что советского паспорта у вас больше нет

Ходасевич холодно ответил:

— Я давно обхожусь другим.— И вышел прочь

— Ой!..— Мария Игнатьевна обрадованно увидела появившуюся служанку с подносом.— Наконец-то десерт! — Она встала и принялась помогать ей раскладывать по тарелочкам фрукты на отдельном столике.

Нина Николаевна Берберова, посидев после ухода мужа несколько секунд, поднялась и, ничего никому не объясняя, тоже удалилась. Остальные сделали вид, что этого не заметили.

— Вы что больше предпочитаете,— обратилась к послу Мария Игнатьевна,— виноград или апельсины?

— Соленый огурец,— натянуто пошутил Керженцев.— Знаете, ужасно соскучился.

— Обещаю,— тут же заверила женщина,— к сле-

дующему вашему визиту я насолю целый бочонок
— Ну!..— Посол все больше отходил.— Вы собираетесь так долго меня не видеть? не надейтесь! С вашего позволения, я готов быть у вас гостем почти каждое воскресенье.

— Милости просим,— прогудел Алексей Максимович. Он благодарно взглянул на Марию Игнатьевну за ее старание разрядить обстановку — А мы как-нибудь к вам, не возражаете?

— Ловлю вас на слове,— улыбнулся Керженцев.— Но более всего, Алексей Максимович, я был бы рад принять вас у себя дома — в России

— Да, конечно — неопределенно отозвался писатель

Посол тут же цепко уточнил

— Если я верно понял, путь домой вы для себя не закрываете?

— Почему же? Однако здоровье все еще никуда. Да и работа Я, знаете ли, начал труд всей своей жизни

— И именно?

— Роман — всем моим романам «Жизнь Климса Самгина» И пока не закончу, с места не сдвинусь. Так мы тут все...— Алексей Максимович обвел рукой присутствующих за столом,— на нашем «семейном» совете порешили.

Керженцев покачал головой:

— Ох, и долго же, чувствую, придется ждать вас вашим читателям. Может, на недельку-другую показались бы для них в Москве?

— А мы эту идею тоже на «семейном» совете обсудим,— пообещал Крючков.

Мария Игнатьевна согласно кивнула

— Верно, верно. Решим голосованием

Алексей Максимович посмотрел на сумрачного сына:

— Ты, Максим... как на сей счет?

Он, избегая смотреть на отца, равнодушно пожал плечами.

Керженцев оглядел всю «семью» изучающими глазами.

— Ладно,— проговорил он.— Не стану больше вмешиваться в вашу «семейную» жизнь, но от читателей, Алексей Максимович, вам все же не отвертеться.

— Это в каком смысле?

— На днях в Италию, в виде поощрения за трудовую доблесть, приезжает целая группа рабочих-рекордистов. Примете?

— Можно...— чуть подумав, откликнулся писатель.— Мне и самому любопытно — какие они там?

— Отлично! И еще одна к вам просьба: напишите что-нибудь о Дзержинском. Он так много сделал... И скажу откровенно: в Кремле от вас ждут в адрес покойного настоящего революционного слова. А, Алексей Максимович?

Горький исподлобья взглянул на Марию Игнатьевну.

— А он уже и сам об этом подумывал,— с безмятежной улыбкой сообщила она послу.— Но.. вроде бы неудобно навязываться.

— Да что вы! Как можно!.. Это правда, Алексей Максимович?

Писатель, нагнув к груди голову, некоторое время молчал. Затем с каким-то озорством вскинул ее и сказал:

— А что... и еще как напишу!..

* * *

Максим и Надя играли в теннис.

Алексей Максимович стоял, спрятавшись за

кустами, и с каким-то страдальческим видом наблюдал за обоими...

Выиграл Максим.

— Сегодня ты прямо в ударе, — похвалил он жену и поцеловал ее в щеку. — Сбегаем к морю.

— Ленъ, — ответила Надя. — А потом... мне, наверное, уже вредно.

Муж взял ее за плечи:

— Неужто?.. Кто же будет теперь?

— Думаю, опять девочка.

— Почему не мальчик?

Жена рассмеялась:

— Для парня ты каши мало ешь. — Выскользнув из-под рук супруга, она отправилась к дому.

Максим пошел в противоположную сторону, под гору, к морю, мимо кустов, не замечая стоявшего за ними отца.

Алексей Максимович вдруг выступил из зарослей и взял его сзади за руку.

— Прости, Максим, — сказал он вздрогнувшему сыну. — Я все время мучаюсь...

Максим потянул на себя руку, но отец не отпустил.

— Чего это вы надумали, папаша? — Он опустил глаза. — Все нормально.

— Нет! Я же вижу. Я виноват, прости. Ты прощаешь?

Сын, покусывая нижнюю губу, молчал.

— Ты самый близкий мне человек. Самый. А я ударил. Ударь и меня, хочешь, и будем квиты.

— Да вы что?

— Мне плохо, сынок, скверно. Со всех сторон на меня постоянно наседает эта проклятая жизнь, а мне надо работать. Я хочу покоя, а они дергают и дергают... — Глаза Алексея Максимовича стали на-

полняться слезами.— Как мне все сделать, что я задумал?

— Ну, а я-то причем?

— А тебя я люблю. Одного и никого другого. Ты веришь?

По лицу сына скользнула усмешка.

— А как же Мария Игнатьевна?

— Нет и нет! — почти закричал Горький.— Это не то, это... я не знаю. Хочешь, я ее прогоню?

Максим выдернул от отца руку, сказал:

— Ну уж нет, папаша. Без нее и вовсе все пойдет кувырком, и тогда вы меня съедите.

— Да как ты можешь так думать?

— Могу.— Сын тускло улыбнулся.— Ибо работа для вас все, остальное — приложение. И я тоже.— Он отвернулся и пошагал дальше.

Алексей Максимович, сгорбленный, остался стоять на тропинке...

* * *

К вилле подкатила коляска итальянского извозчика, запряженная каурой лошадейкой.

Первая в нее села Нина Николаевна Берберова, следом, погрузив два баула, Ходасевич.

— Спасибо за гостеприимство, и не поминайте лихом,— сказал он.— Трогай!

Экипаж медленно поехал от дома, вся «семья» писателя, вышедшая провожать Ходасевичей, замахала руками.

Горький неожиданно нагнал коляску и, ухватившись за бортик, пошел рядом.

— Пишите,— попросил он Владислава Фелициановича.— Будете?

Поэт кивнул.

Продолжая идти, писатель проговорил:

— Черт, старею что ли, но такое чувство, что я вас больше не увижу.

— У меня оно тоже,— ответил Ходасевич.

— Вы это... не думайте обо мне плохо. Я им не сдамся.

— Да, конечно.

— Они меня недооценивают — я хитрый. Я с ними дипломатию навожу, а так — дудки! Никуда я не поеду.

— Отпускайте руку,— посоветовал Владислав Фелицианович,— вы уже запыхались.

— Да, сейчас. Так вы не думайте, ладно?

Ходасевич молча положил руку на кисть Алексея Максимовича, потом медленно разжал его пальцы. Он остался стоять в воротах, глядя на удаляющуюся коляску тоскливыми глазами. Во фланелевых брюках, в голубой рубашке с синим галстуком, в серой вязаной кофте на пуговицах. Экипаж скатился вниз, его фигура пропала.

Поэт отвернулся и некоторое время молча сидел подле супруги. Затем довольно жестко сказал:

— Нобелевской премии ему не дадут, Зиновьева уберут, платежи Парвуса окончательно прекратятся, и он вернется в Россию.

Впереди открылось и заблестело под солнцем Средиземное море... После этого отъезда Горький и Ходасевич больше уже никогда не увиделись...

* * *

Час был поздний, но Париж бодрствовал. На улицах играли музыканты, всюю сновали авто и извозчики, продавцы на тротуарах жарили каштаны, и, вообще, всюду было полно разряженной публики.

Возвращаясь с концерта, Федор Иванович Шаляпин с удовольствием и неторопливо вышагивал среди французов, исподволь ко всему присматриваясь...

В свой недавно купленный дом он сразу не вошел, а, встав на противоположной стороне улочки, откровенно им любовался. Сначала с одного боку, затем с другого, наклоняя в разных ракурсах голову и даже иногда приседая...

Наконец позвонил в подъезд. Открыла сама супруга Мария Валентиновна.

— Чего ж так долго? — спросила она.

— Устал, как черт, решил с концерта прогуляться пешочком.

Жена усмешливо покачала головой.

— А потом еще полчаса любовался домом?

— Всего минуту, — поправил Шаляпин. — Ты что это не в духе?

— Тебя уже час репортеры дожидаются.

Федор Иванович, поднимаясь следом за супругой по мраморным ступеням в холл, глянул на часы.

— Это как понимать — приперлись в двенадцать ночи брать интервью?

— Ну, да! Наверное.

— Кто — русские?

— Француз и англичанин.

— А чего им приспичило?

— Спрашивала — не говорят...

В холле репортеры не стали разводить церемонии и представляться, один из них бухнул:

— Правда ли, господин Шаляпин, что вы денационализированы советской властью за то, что оказывали помощь белой гвардии?

Федор Иванович округлил глаза.

Второй репортер добавил:

— Вам, по нашим сведениям, абсолютно воспрещен въезд в Россию.

— Что за чушь? Какую такую помощь я оказывал белой гвардии?

Журналисты разочарованно переглянулись.

— Значит, вам ничего не известно?

— Нет.

Мария Валентиновна, прислушивающаяся к разговору в дверях гостиной, сказала:

— Может, не совсем чушь, Федор? Сегодня звонили из советского посольства и зачем-то приглашали тебя туда пожаловать.

— В каком это было тоне?

— Очень вежливо.

— Ну, не знаю.— Шаляпин пожал плечами.— Мало ли что там.

— Тогда позвольте последний вопрос,— обратился к артисту англичанин: — если будете отвержены родиной, где будете носить свое тело на земле?

— Не понял?

— В какое подданство, думаете, вам лучше устроиться?

Федор Иванович рассмеялся.

— Срочно я вам ответить не могу. Дайте мне хотя бы ночь, чтобы я сообразил, к кому мне лучше примазаться со своим телом...

* * *

Наутро Шаляпин отправился в советское полпредство на улицу Гренель.

Сразу его не пустили, а потребовали предъявить паспорт и подождать за оградой, пока по телефону не будет получено разрешение — впускать его на территорию или не впускать. Скамейки

возле посольства не было, и Федор Иванович сел прямо на бордюр тротуара, нарочно изображая, к удивлению прохожих и извозчиков, предельно сиротливую фигуру, но в богатом костюме и с бабочкой.

Охранник, вышедший из будки, с укоризной сказал:

— Товарищ Шаляпин, зачем же так?... Точно бездомный...

— А что такого? — спокойно отреагировал артист.— Ноги-то у меня не казенные.

— Нехорошо. Наш пасол увидел вас из окна.

— Ай, яй, яй. Что же теперь делать?

— Заходите,— в раздражении разрешил при-
вратник...

Посол Раковский, подчеркнуто вежливый, указал Шаляпину на кресло в кабинете, исполненном в стиле рококо. Сам же принялся ходить, притом за спиной Федора Ивановича, отчего тому приходилось все время в неудобном положении вертеть шей.

— Видите ли, товарищ Шаляпин, я получил из Москвы предложение опросить вас, правда ли, что вы пожертвовали деньги для белогвардейских организаций, и правда ли, что вы в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, выступали публично против советской власти?

Артист, как повернулся к нему ошарашенный, так и застыл.

Посол опустил глаза и заходил еще нервнее.

— Извините меня, что я вас об этом спрашиваю, но это предписание из Москвы, и я должен его исполнить.

Федор Иванович взял со столика бутылку с минеральной водой, налил в стакан и выпил.

— Отвечаю на ваши, то есть на вопросы

Кремля, по пунктам,— сказал он: — белогвардейским организациям не помогал, ибо в политике не участвую и стою в стороне как от белых, так и от красных. В Калифорнии выступал, но в роли Дон-Базилио в «Севиальском цирюльнике», а он, как известно, о Советах не знал и против них антиправительственные речи в пении держать не мог. Все

— Но 5000 франков вы пожертвовали?

— Да. Я дал их протоиерею Русского кафедрального собора в Париже отцу Спасскому. Но исключительно на помощь российским изгнанникам, а точнее, на детей. И полагаю, трудно установить, какие дети белые и какие красные.

Посол улыбнулся, но как-то не очень хорошо

— Насколько мне известно, вы никогда не были особо набожным человеком. Что вас толкнуло на подобный поступок?

— Во-первых, от Бога я никогда не отрекался. А потом, согласитесь, отблагодарить высшее существо за ниспосланную благодать — естественное чувство нормального человека.

— Что же это за благодать?

— Видите ли, выехав из России нищим, я наконец смог устроить себе здесь хороший дом обставленный по собственному вкусу. Переезжая в свой новый очаг, я пожелал отнестись к этому приятному событию религиозно и устроил в моей квартире молебен. Однако за один отслуженный молебен Господь Бог вряд ли бы укрепил крышу моего дома, а по сему я пожертвовал еще и известную вам сумму на несчастных.

— Вы уверены, что деньги пошли именно для них?

— Ну это уж я проверять не стану

Раковский некоторое время ходил молча.

— Вы не хотите вернуться в Россию?

- Пока нет.
 - Почему?
 - Как сказать, по разным мотивам. Но главное: я уже опутан массой контрактов. Америка, Австралия, Япония... на три года вперед.
 - А перед собственным народом вам выступать уже недосуг?
 - Позвольте на этот вопрос не отвечать.
 - Ваше право. Однако Горький, он ведь писал вам в Калифорнию, чтобы вы не давали необдуманных интервью журналистам.
 - Откуда вам это известно?
- Посол отвел от артиста глаза.
- Он говорил это сам.
 - Лично вам?
 - Нет, я с ним не знаком, но некоторые это утверждают. Во всяком случае, сведения достоверные.

Шалапин поднялся.

— Простите за резкость, господин... товарищ Раковский, но ваши перлюстраторы недобросовестные люди. Да, Алексей Максимович писал мне, но нечто другое: он допускал, что слухи о моих выступлениях против советской власти пускают в публику репортеры, интервьюеры и вообще болтуны, окружающие меня в избытке. Так что, честь имею кланяться.

— И все же...— Раковский поспешно придерживал артиста за плечо.— Я вас прошу, будьте так любезны, присядьте и изложите все свои доводы уже в письменном виде.

— Для кого?

— Во ВЦИК.

Федор Иванович тяжело вздохнул и, покорившись, сел обратно...

Все объяснения великого певца оказались на-

прасными. Советские газеты обвинили Шаяпина в том, что он примкнул к контрреволюции; коллеги по искусству на многочисленных собраниях потребовали пригвоздить некудышного артиста к позорному столбу, а разгневанные «народные массы» на митингах — отлучить навсегда от родины. Постановлением ВЦИК, опубликованным в «Правде», Федора Ивановича, как белогвардейца и контрреволюционера, лишили звания Первого Народного Артиста Республики.

* * *

Горький в отчаянии отбросил от себя газету — Болваны! Что делают?! Шаяпин — гордость русской культуры! — Он рывком выскочил из шезлонга и беспорядочно заходил по прибрежной гальке. — Все... Все они перемрут, и никто о них не вспомнит, а Шаяпин останется! Нет, это страна непроходимых идиотов!

Вечерело, за горизонт тихо плескавшегося моря закатывалось багровое светило, и мечущаяся, включенная фигура писателя выглядела на этом фоне особенно символично. Подле ног Горького бегала его собака — фокстерьер.

Напротив, в другом шезлонге сидела Мария Игнатьевна и тоже просматривала прессу

— Что Шаяпин..— сказала она.— Вы послушайте, что написали ваши коллеги — соотечественники... Вот настоящий сюрприз!

— А что там? — Алексей Максимович приостановился.

— Называется «Послание к писателям мира» Не больше, не меньше. Зачитать?

— Пожалуй. Но суть.

— «К вам, писатели мира, обращены наши

слова.. Почему вы молчите, когда в великой стране идет удушение великой литературы в ее зрелых плодах и ее зародышах? Или вы не знаете о нашей тюрьме для слова — о коммунистической цензуре «социалистического» государства?.. Послушайте, узнайте! Идеализм, огромное течение русской художественной литературы, считается государственным преступлением.. Набегами особых инструкторов из общих библиотек и книжных магазинов конфискуется вся дореволюционная детская литература и все произведения народного эпоса. Апробации цензора подлежат все произведения — даже работы по химии, астрономии, математике... Без предварительного разрешения цензора при коммунистической власти нельзя даже отпечатать визитной карточки... Печатается лишь то, что не расходится с обязательным для всех коммунистическим мировоззрением. Все остальное, даже крупное и талантливое, не только не может быть издано, но должно прятаться в тайниках; найденное при обыске, оно грозит арестом, ссылкой и даже расстрелом. Один из лучших государствоведов России — профессор Лазаревский — был расстрелян единственно за свой проект Российской конституции, найденный у него при обыске. Знаете ли вы всё это? Чувствуете ли весь ужас положения, на которое осужден наш язык, наше слово, наша литература? Если знаете, если чувствуете, почему молчите вы?.. Писатели! Ухо, глаз и совесть мира — откликнитесь!.. Мы хотим от вас возможного: с энергией, всюду, всегда срывайте перед общественным сознанием мира искусную лицемерную маску с того страшного лица, который являет коммунистическая власть в России. Мы сами бессильны сделать это... мы сами — в тюрьме... Как из тюремного подполья отправляем мы это пись-

мо. Если наш замогильный голос зазвучит среди вас, заклиная вас: вслушайтесь, вчитайтесь, вдумайтесь. Норма поведения нашего великого покойника — Льва Николаевича Толстого — крикнущего в свое время на весь мир «не могу молчать», станет тогда и вашей нормой. Группа русских писателей. Россия. Май, 1927 года».— Мария Игнатьевна резко сложила газету и посмотрела на Горького.

Он давно сидел на краю шезлонга и, согнувшись к земле, не шевелился.

— Как не кстати эта... фальшивка, — раздосадованно проговорила женщина.

Не поднимая головы, писатель глухо спросил:

— Почему же — так? Это самая ужаснейшая и отвратительная правда, какая только бывает.

Мария Игнатьевна вскочила.

— Но какое это сейчас имеет значение? Суть в том, что вам на сие послание придется отреагировать!

— В каком смысле?

— Осудить. Притом, в самой категоричной форме.

Алексей Максимович поднял на спутницу своей жизни взгляд, которого у него никогда не было: тяжелый, испепеляющий, с глубоко затаенной ненавистью.

Мария Игнатьевна даже обмерла.

— Никогда... — тихо сказал ей Горький и продолжительно поводил головой. — Уж лучше пулю в лоб.

Женщина опустила дрогнувшие глаза и нервно, чему-то усмехнулась. Затем, ни слова не говоря, пошла от писателя прочь в гору, к вилле.

Алексей Максимович отвернулся от нее и опять застыл в лучах догорающего, почти кровавого солнца...

К 27-му году власть в Советской России была уже целиком в руках Сталина. Иосиф Виссарионович довольно мудро и дальновидно сыграл на главном разногласии в Политбюро: продолжать ли НЭП, допуская «капиталистические» элементы в хозяйстве, или вводить коммунизм силой? Бухарин и Рыков стояли за развитие предпринимательства и частных крестьянских хозяйств; Троцкий — за сверхиндустриализацию и принудительную коллективизацию. Клан Зиновьева ничего не имел против Бухарина, но после его удаления от власти стал защищать рецепты Льва Давыдовича. Сталин, не особенно углубляясь в идеи, больше подчинял все своим комбинациям: удалив группу Бухарина с помощью Троцкого и примкнувшего к нему тотчас Зиновьева, он неожиданно занял бухаринскую позицию (но уже без самого Бухарина) и, выбросив теперь Зиновьева и Каменева, принялся нещадно громить Троцкого. На декабрьском съезде он получил наконец твердое и долгожданное большинство в ЦК, отстранил от руководства всех старых членов Политбюро и без всякого смущения взял на вооружение политику идейно уничтоженного троцкистско-зиновьевского блока на разгром мелкобуржуазного элемента в деревне. Пути Сталина и Троцкого по существу сошлись, однако в жизни они стали непримиримыми врагами. После того, как Сталин предложил на пленуме исключить из партии Троцкого, тот взял слово и сказал: «Вы — группа бездарных бюрократов. Если произойдет война, вы будете совершенно бессильны организовать оборону страны и добиться победы. Но когда враг окажется в 100 километрах от Москвы,

мы свергнем бездарное правительство. Мало того, мы расстреляем эту тупую банду ничтожных бюрократов, предавших революцию...» Троцкий был типом верующего марксистского фанатика: зажигательный оратор, даровитый публицист, неплохой организатор, человек риска, но при этом очень наивен в смысле понимания людей и особенно главного своего соперника. Сталин был далеко не туп, отлично разбирался в человеческой психологии, изворотливостью ума превосходил всех своих соратников, но главное, что уж никто не предполагал, в нем была сокрыта крупная мощная личность с грандиозным размахом и не ведающая никаких нравственных границ. И все же, при всей неприязни к Троцкому, его мужественному и в чем-то прозорливому выступлению на пленуме надо отдать должное...

* * *

— Вы узурпатор! Да, да, тиран!..— Мария Игнатьевна была в таком состоянии, в каком еще никогда себя не выказывала.— Ваше себялюбие не знает границ! Своей гордыней вы терроризируете не только меня, но и всю семью. И не смотрите так, я давно догадываюсь, что вы меня ненавидите. О, Боже!..— Она в отчаянии схватилась за волосы.— Воистину, ни одно добро не остается без наказанным. И все это за то, что вот уже несколько лет я хлопочу над вами, точно насадка. Дура, идиотка! Я отдала всю себя каждому вашему вздоху, каждой вашей тревоге, каждому желанию, каждому капризу, а вы посмели обвинить меня в какой-то нечестной игре. Да как вы могли?.. Вы... самый чуткий и талантливый человек на земле... Что мне за проклятье? Почему я в глазах людей ка-

жусь не той, кто я на самом деле?.. А теперь даже и в ваших...— Женщина вдруг рухнула в кресло и зарыдала.

Горький сидел до этого на стуле своего кабинета бесстрастно и прямо и твердо решил выдержать новую, в совершенно неожиданной форме, «атаку» Марии Игнатьевны, но не рассчитал женских слез. Алексей Максимович их не выносил, в том смысле, что страдал от них безмерно и готов был совершить все, чтобы их не видеть, а тем более не слышать рыданий. В глубине подсознания он догадывался, что они форсированы, но поделаться с собой уже ничего не мог — воля его поплыла, он размяк душой и сам чуть не заплакал.

— Ну, будет...— сказал он, вставая.— Будет...— Он присел к женщине на подлокотник кресла и положил ей большую ладонь на голову. Она тотчас ткнулась ему лицом в колено, продолжая вздрагивать всем телом.— Простите...— спустя паузу, снова проговорил писатель.— У меня это вырвалось... от бессилия. Мою душу словно спустили паутиной.

Женщина подняла заплаканное лицо и сквозь слезы выкрикнула:

— Нет!.. Запутали себя вы сами, и никто другой!.. Вы прекрасно осознаете, что все идет к тому, чтобы вернуться домой, но не желаете себе в этом признаться. Вы страус, Алексей Максимович! Да, тот самый, который при малейшей неприятности прячет голову в песок и думает, что все само уладится. Я мужчина, не вы! А потому всегда буду за это вами унижена...

— Ну ладно, ну хорошо...— виновато пробормотал Горький.— Я больше не буду...

— Что значит не буду?..— Мария Игнатьевна вскочила и беспорядочно заметалась по ком-

нате.— Допустим, я лживая, я авантюристка, вы подозреваете меня в какой-то корысти, но ваш «Друг и Учитель» Ромен Роллан — он что, тоже сговорился со мной, как и советская «Правда», которая будто подслушала мои слова, сказанные на берегу моря в Сорренто, что «Послание к писателям мира» фальшивка, и буквально их повторила, спустя три месяца? Вот...— Она схватила со стола газету.— Роллан мужественно им ответил... Где это место?.. Вот: «...Всякая власть дурно пахнет. И все-таки человечество идет вперед... Оно идет вперед сегодня... По вас, по мне...» И по вас, Алексей Максимович, да, да. Но вы каким-то чудом надеетесь вернуться от «катка Времени», но как?.. Сделаете вид, что не получили письмо своего «Друга и Учителя», где он прямо спрашивает: правда ли, что писателей в Советском Союзе угнетают? Правда ли, что положение их тяжелое?

— Правда,— будто из какого-то подземелья отозвался тяжелый и сдавленный голос Алексея Максимовича.

Женщина замерла, глаза ее мстительно сузились.

— Прекрасно,— произнесла она вдруг ровным и холодным тоном.— Тогда так прямо и напишите. Подтвердите это всему зарубежью.— Она села за стол и взяла ручку.— Диктуйте, я все запишу.

Писатель стиснул зубы и от муки чуть ли не заскрежетал ими. Затем очень тихо сказал:

— Я и вправду... иногда вас ненавижу.

Мария Игнатьевна удовлетворенно улыбнулась:

— Наконец-то вы кое-что сказали... Но такое «иногда», Алексей Максимович, будет еще не раз, если мы будем, конечно, вместе; ибо я, к моему

несчастьем, становлюсь для вас тем жалом, на которое всякий раз натывается ваше желание зарыться в песок.

Горький долго согласно покивал, затем сломленным и неожиданно подсевшим голосом выговорил:

— Как ужасна все-таки жизнь... Сколько ей не сопротивляйся, она рано или поздно сделает из тебя подлеца.

Женщина сразу бросилась к нему и, обхватив писателя за ноги, села перед ним на пол.

— Нет, милый, нет... Вы чистый, вы светлый, не смейте так думать... Я люблю вас, слышите? Нет... Не смейте... Вы просто несете крест, который не под силу другим... Вы... Да услышите же меня!..— Она затрясла его двумя руками.

Алексей Максимович — недвижимый, с серым лицом и остановившимся взором — был похож на тяжелый камень...

* * *

— «...Дорогой Друг и Учитель, совершенно ясно, что «Послание к писателям мира» — искусно сфабрикованная фальшивка. В Советском Союзе писатели куда более счастливы, чем в буржуазных странах. Расцвели сотни новых талантов! А старые литераторы работают более усиленно и плодотворно, чем до революции. Чтобы не быть голословным, привожу лишь некоторые имена: из знаменитых и известных — А.Н.Толстой, Тихонов, Пришвин, Леонов; из молодых дарований — Леонид Борисов, Нина Смирнова, Бабель, Пильняк, Ал.Яковлев, С.Клычков, Казин, Орешин, Зощенко. И это далеко не полный перечень. Сожалею, что нам обоим приходится тратить силы на

защиту советской литературы, не нуждающейся в защите, от таких поэтов-алкоголиков, как Бальмонт. Ну да, бог с ними. Если сочтете нужным, дорогой Друг и Учитель, можете мое письмо опубликовать. С любовью и уважением — Максим Горький. 23 февраля 1928 года. Сорренто».— Генрих Ягода сложил лист скопированного письма пополам и выжидающе посмотрел на Сталина.

Вождь, в сапогах, в кителе, лежал на кожаном диване кабинета с компрессом на лбу. У него болела голова...

Все молодые дарования, перечисленные Горьким, впоследствии, в разное время и в разной степени, были репрессированы...

— Хорошее письмо,— наконец сказал тихим голосом Иосиф Виссарионович.— Жаль, что не можем опубликовать его мы.

Начальник НКВД, продолжая стоять напротив с папкой под мышкой, молчал.

— А почему не стал его печатать Ромен Роллан? Какие по этому поводу соображения у вас?

— Полагаю, товарищ Сталин, по этическим мотивам. Не пожелал затрагивать личность поэта Бальмонта.

— Бальмонт, Бальмонт... вроде слышал, но не читал. Однако каков молодец наш пролетарский писатель,— Сталин скосил из-под компресса на Ягodu один глаз.— Как считаете, не засиделся он у Муссолини?

— Трудно сказать.

Вождь усмехнулся:

— Как же мы будем вас в свое время рекомендовать в Политбюро, если вы не знаете ответы на такие простые вопросы?

Глава НКВД с усилием сглотнул подкативший комок к горлу.

— Меня... в Политбюро?..

— А вы, товарищ Ягода, как я вижу, туда не хотите?

— Я... солдат партии, товарищ Сталин. Как мне прикажут.

Вождь взглянул на Ягоду теперь двумя глазами, но исподлобья. Затем отвернулся и, о чем-то раздумывая, надолго умолк...

Генрих Ягода своей карьерой был обязан семейству Свердловых. Он никогда не являлся фармацевтом, как гласили слухи, которые он распускал сам о себе, а подвязался подмастёрьем в граверной мастерской старика Свердлова. Решив, что пришла пора обосноваться самому, он украл весь набор инструментов и с ним сбежал. Но вскоре «профинтился» и вернулся к старику с повинной головой. Тот простил его, но Ягода, обнаруживая постоянство идей, снова украл все инструменты и опять скрылся. После революции этот грех его забылся, более того, Генрих пленил племянницу главы ВЦИКа Якова Свердлова — Иду, женился на ней и, благодаря этому, стал вхож в кремлевские круги. Из всех вождей, «толпящихся у трона», он безошибочно разгадал самую перспективную фигуру Иосифа Сталина и стал его «верным псом», добившись первого поста в ГПУ НКВД. Однако в Политбюро, сколько ему ни обещал там место Сталин, Генрих Ягода так и не попал. Он угодил совсем в другое место, но... об этом позже...

Иосиф Виссарионович, очнувшись от своих мыслей, напомнил:

— Так вы не ответили на мой вопрос: нужен нам здесь Горький или нет?

— Н... нет, — сказал Ягода.

— Почему?

— По моим сведениям, он не хочет сюда возвращаться.

Сталин сел, удерживая левой рукой на лбу компресс.

— А если мы очень его попросим?

— Полагаю, это бесполезно, товарищ Сталин. И потом...

— Договаривайте.

— Если Горький снова уедет обратно, этот его поступок вызовет ненужные для нас пересуды и здесь, и в Европе.

— А мы снова очень и очень попросим его не покидать нас.

— Но как?

— Создадим ему такие условия, от которых он никогда не сможет отказаться.

— Горький постоянно нуждается в деньгах, но в главном — он неподкупен. Если принципы его романтизированного гуманизма не столкнутся с нашей... суровой реальностью, он... — Сталин махнул на начальника НКВД рукой, он осекся.

Вождь, поднявшись, медленно прошагал к столу, смочил из графина водой компресс, вновь приложил к голове и отошел к окну с видом на заснеженное кремлевское подворье.

— Запомните, товарищ Ягода, на всю оставшуюся жизнь: неподкупных людей нет. Просто у каждого своя цена и не всегда в деньгах.

— Кроме вас, товарищ Сталин.

Иосиф Виссарионович, продолжая смотреть в окно, хмыкнул.

— Ошибаетесь, товарищ Ягода. Пообещайте мне социализм во всем мире — и я вам продамся. — Повернувшись к нему, он совершенно некстати вдруг поинтересовался: — Вы какую читаете сейчас книгу?

Руководитель ГПУ смешался.

— Если честно... у меня на чтение не хватает времени, товарищ Сталин.

Вождь чему-то удрученно покивал, не отнимая руки от головы.

— Все стали умными и сверхделовыми,— произнес он мрачно.— Читает один бездельник Сталин.

Ягода притих.

— Придет время, я вас всех до одного уволю. Мне не нужны безграмотные помощники.

— Да, товарищ Сталин...— чуть слышно отозвался начальник НКВД.— Я вас понял...

— Передайте это другим, а сами засядьте за учебник психологии. Когда познаете азы этой науки, вы поймете: всякая реальность — условна. Главное — каково о ней представление народов и отдельных личностей. А Горький, судя по письму к Роллану, начинает прозревать в самом правильном представлении о советской действительности. Бросить в этот момент «буревестника» революции на произвол судьбы — не только глупо, но и преступно. Народы должны знать и видеть: пролетарский писатель и пролетарский вождь всегда вместе и стоят за одно. Мы...— Сталин внезапно ослабел, сел на стул и некоторое время не шевелился. Затем стянул с головы компресс, уронил его на пол и тихо сказал: — Эти примочки... пилули, врачи... без толку... Идите...— Он опять махнул на руководителя ГПУ рукой, но теперь еле-еле.

Тот робко и напуганно попятился к дверям.

— Стойте... Я не верю, что у вас хватит терпения одолеть психологию, поэтому знайте: цена Горького — любовь народа.

— Может... врача, Иосиф Виссарионович?..

— Идите!..— на тяжком выдохе выкрикнул вождь.— И готовьте приезд писателя!

Ягода, часто и согласно кивая, удалился. Иосиф Виссарионович с трудом встал, закрыл за ним на ключ дверь, вернулся к окнам и с усилием, но плотно задернул на них шторы.

В наступившем полумраке он подошел к письменному столу, сел в кресло, положил обе руки на подлокотники, обхватил кистями набалдашники и, отвалившись корпусом на спинку, медленно поднял к потолку голову. Его глаза стали тускнеть, меркнуть, и весь он начал как бы уходить из самого себя... Неожиданно тело его обмякло и, словно пустой мешок, обвисло в кресле в неудобной позе... Сталина в нем не было... Так продолжалось с минуту... Первыми пришли в движение скрюченные пальцы, которые вдруг стиснули набалдашники, за ними шевельнулась голова, следом корпус.

Сталин сел в прежнее положение со сплошь черными глазами, которые постепенно стали высветляться и обретать свой цвет... Глубоко вздохнув, он встал, раздернул шторы, потом с жадностью раскурил трубку. Вождь опять был бодр, уравновешен и полон энергии...

* * *

Горький не мог сдержать чувств и, в окружении своей «семьи», улыбался во всю ширь лица. Крючков и Мария Игнатьевна торжественными головами попеременно зачитывали ему поздравительные телеграммы:

— «...празднуем ваш шестидесятилетний юбилей всем миром! С любовью и бесконечным почтением Вашего литературного и человеческого таланта — Ромен Роллан».

Светило мартовское, но уже теплое итальянское солнце, вдали в его лучах сверкала зеркальная гладь синего моря.

Юбилей отмечался «семьей» писателя (в ней произошло прибавление, — появилась вторая пока еще грудная внучка Горького), за длинным столом с белоснежной скатертью, который был вынесен на просторный балкон виллы «Масса» и украшен цветами и заставлен вином и фруктами. Посредине покоился огромный праздничный пирог с шестьюдесятью воткнутыми в него свечами. Все они горели.

Писем и телеграмм было несметное количество. Петр Петрович Крючков и Мария Игнатьевна наугад вынимали их прямо из мешка, что стоял на полу, до отказа набитый корреспонденцией, и зачитывали лишь самое существенное:

— «... с нетерпением ожидаем возвращения нашего «Буревестика» — друга всех советских людей! Рабочие фабрики «Буревестник»...».

— «... певец революции, наш любимый Горький, — огласила новое послание Мария Игнатьевна, — это духовный хлеб советского народа! Приезжайте, не то «умрем с голоду» — нам не хватает Вашего доброго и умного слова. Рабочая родина зовет Вас! Рабочие завода имени В.И. Ленина».

— Вот интересное письмо!.. — воскликнул Крючков. — «...Я, пионер из Мытищ — Коля Стрельников, поспорил с ребятами, что летом Горький будет в Москве. Они не верят и говорят, что вас купили буржуи. Не подведите меня, Алексей Максимович. Я знаю наизусть ваш рассказ о Данко, который вырвал из себя сердце и светил им людям. Когда вырасту, я сделаю то же самое, а

пока очень вас прошу: приезжайте к нам и светите своим сердцем всем пионерам».

У Алексея Максимовича запершило в горле, он прокашлялся.

— Правительственная...— Мария Игнатьевна показала всем бланк с красной каймой.— «Поздравляем выдающегося сына Советской страны, великого революционного писателя, верного друга Ленина, славного буреизвестника революции, страстного борца против врагов первой в мире рабоче-крестьянской республики! Ваше творчество неразрывно спаяно с жизнью трудящихся масс, с их борьбой против дореволюционной царской и капиталистической России. Мы с надеждой взираем...»

— Достаточно,— замахал руками Горький.— Так вознесли... не знаешь, что теперь и делать.

— Как что? — улыбнулся Крючков.— Ехать домой.

— А не ловушка ли это?

— Чья?

— Ну... не знаю. Такой поток писем — как будто специально организовали.

— Да кто же? — удивилась Мария Игнатьевна.— И зачем?

— Затем, чтобы заманить и не выпустить. А кто — для этого есть соответствующие службы. Вам хорошо известно, через какие рогатки из Союза в Европу проходит каждое письмо. А тут — сразу тысяча.

Члены «семьи» писателя переглянулись и потускнели.

Крючков уточнил:

— Значит, в то, что люди пишут искренне от души вы не верите?

— Как сказать... некоторые действительно очень трогают.

— Вот именно,— сказал Ракицкий.— Чтобы их придумать, надобно иметь талант, а у чекистов — вряд ли он в наличии.

Алексей Максимович нерешительно вздохнул:

— А вообще, если честно, давно тоскую по Волге. Взглянуть бы на нее одним глазом.

Из-за стола встал его сын и, зайдя сзади отца, положил ему на плечи руки. Горький от этого жеста застыл, ибо Максим впервые после ссоры обнял его, как прежде.

— И правда, Алексей...— проговорил он,— поедем. Хотя бы на время... Я ведь давно тебя ни о чем не просил.

Отец положил сверху его кистей свои ладони.

— Ладно,— решил он, спустя паузу.— Но пока только на разведку.

— Ур-р-а-а!..— в один голос закричало все семейство.

Горький встал, наклонился над столом и, набрав воздуха, сильно задул на юбилейном пироге свечи. Затем хитровато улыбнулся, подмигнув всем, вдруг взмахнул, по-дирижерски, руками и бодро запел:

— Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куюм мы счастья ключи...

Продолжая напевать, он отправился в глубину дома и, шагая там коридором к своему кабинету, внезапно замер...

В одной из комнат, дверь которой была приоткрыта, Алексей Максимович увидел человека с острой бородкой из своего сна — он стоял к нему боком и накручивал ручку патефона. Затем поставил на закрутившийся диск пластинку. С нее, в мощном хоровом и оркестровом исполнении, грянула та же песня:

Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы счастья ключи...

* * *

О возвращении Горького на родину первыми сообщили «Известия»: «Пролетарский писатель выехал с сыном в Москву!» Но он сначала заехал в Рим, оттуда в Берлин, затем в Кельн, снова в Берлин, там отдохнул и лишь после этого сел в поезд, следующий в Россию. (Создавалось впечатление, что Алексей Максимович все это время колебался — «а может, все-таки не ехать?») Советские газеты пристально следили за его передвижениями и подробно оповещали о маршрутах писателя. Наконец огромным шрифтом напечатали: «Алексей Максимович прибыл на пограничную станцию «Негорелое» и ступил на советскую землю!»

По пути в столицу Горького приветствовали тысячи людей на каждой станции. В Минске... Смоленске... Можайске... независимо от времени суток, его ожидали делегации трудящихся. Писатель выходил к подножке вагона, говорил им ответственные слова и двигался дальше.

Наконец его встретила Москва, площадь Белорусского вокзала, забитая до отказа неисчислимым количеством народа. Над головами людей были воздеты портреты «буревестника революции», знамена и транспаранты: «Добро пожаловать, наш Алексей Максимович Горький!», «Пламенный привет нашему Горькому — другу советского народа!» А со стороны Тверской все подходили и подходили новые колонны москвичей... Людям не хватало места — они стояли даже на крышах домов...

На перроне Алексея Максимовича ожидали

Ворошилов, Орджоникидзе, Ягода, Луначарский, Ярославский, Литвинов, Бубнов; из писателей — Серафимович, Gladков и Леонов...

Подошел поезд, обвитый гирляндами из веток и луговых цветов, Горький вышел на площадку вагона в сопровождении сына и широко, изумленно уставился на запруженный народом перрон, на военный оркестр, на пионеров с букетами, на ряды почетного караула красноармейцев. Он явно не ожидал такого грандиозного приема...

О причинах возвращения Горького в СССР толковали разное: одни объясняли это острой тоской по дому, другие меркантильностью — мол, остался без денег после смерти Парвуса; третьи тем, что в Европе его почти перестали печатать и тому подобное. Возможно, все это частично имело «место быть», но представляется, что главную причину приезда Горького в Советскую Россию точнее всех угадал Ходасевич:

«Алексей Максимович считал своим долгом стоять перед человечеством, перед массами в том образе и в той позе, которых от него, эти массы ждали и требовали в обмен на свою любовь. Слишком часто приходилось ему самого себя ощущать некоей массовой иллюзией, частью того «золотого сна», который однажды навеян и который разрушить он, Горький, уже не вправе»...

Алексея Максимовича подхватили на руки и, крайне смущенного, понесли к выходу по дороге, усыпанной цветами.

На площади писатель взошел на трибуну, обтянутую кумачом, и ошеломленно всмотрелся в людское море.

К нему тянулись руки, летели вверх кепки... Затем в рупор громко объявили:

— Слово имеет Горький, Алексей Максимович!

Но Горький, вцепившись в перила трибуны, молчал. Он был потрясен, волнение перехватило ему горло, он не мог произнести ни слова.

Гигантская толпа ожидала, что скажет «их писатель».

— Слово имеет Максим Горький! — повторили в рупор.

Алексей Максимович по-прежнему не мог справиться со спазмами в горле, по его щеке показались слеза...

Иосиф СТАЛИН С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА прибыл к Горькому на специально отведенную ему подмосковную дачу в Красково. На солнечной террасе вождь встал за праздничным столом с хрустальным бокалом красного вина:

— За великого писателя земли русской! За верного друга большевистской партии!

Его соратники: Молотов, Ворошилов, Орджоникидзе, Енукидзе, Ягода, жена писателя Екатерина Пешкова и сын Максим поднялись с мест, тоже вместе со Сталиным потянулись к фужеру Алексея Максимовича, который смущенно выпрямился во весь свой большой рост им навстречу. Хрусталь продолжительно зазвенел, настала пауза, во время которой все выпили.

— Попрошу никого не садиться, — сказал писатель, — и вновь наполнить бокалы.

Руководители государства охотно это сделали.

— Я... — волнуясь, произнес Горький, — потрясен... Я знал, что меня будут встречать, но такого грандиозного проявления чувств моего народа.. да, моего... к моей персоне не мог предположить. Вчера на Белорусской площади, как вы заметили, я не смог даже сначала говорить. Теперь я понимаю, что долго был слеп, я недооценил колоссальных перемен в людях, которые произошли за годы моего отсутствия. Теперь это качественно иной народ — советский, вдохновенно строящий

новую, доселе никем не виданную, жизнь. За советский народ и... за товарища Сталина, верного друга трудящихся, вождя единственной в мире страны, где рабочие наслаждаются счастьем свободного труда!

— Э, нет! — запротестовал Иосиф Виссарионович. — Сегодня все тосты только за великого писателя.

— И все же я настаиваю, — смело сказал Алексей Максимович.

— Тогда с одной поправкой: не только за Сталина, но и за Горького — вместе.

— Ура! — резюмировал этот тост Ворошилов. — Ура в честь лучших друзей рабочего класса — Горького и Сталина!

Все вновь со звоном сдвинули искрящееся под солнцем густое красное вино в хрустале..

После обеда Горький и Сталин отправились прогуляться по дорожкам дачи

При их появлении то тут, то там за кустами, за деревьями прятались охранники НКВД. Их было довольно много

И вождь и писатель, по негласному уговору, делали вид, что не замечают их присутствия. Иосиф Виссарионович взял Алексея Максимовича под локоть и, глядя под ноги, некоторое время вел его в таком положении

— Хотелось бы с вами посоветоваться, — наконец проговорил Сталин. — Причем, по очень важному для меня вопросу.

Горький с улыбкой усомнился.

— Вряд ли я смогу быть вам полезен. Как говорится, человек я пока со стороны.

— Вот поэтому сможете, — убедительно сказал вождь. — Такой взгляд мне сейчас и нужен.

— Тогда охотно.

Иосиф Виссарионович опять умолк, о чем-то углубленно раздумывая. Затем, не глядя на собеседника, спросил:

— Читали вы когда-нибудь работу Петра Струве «Революция и контрреволюция?»

— Не припомню...— Писатель наморщил лоб.— Это было ведь очень давно?

— Она написана 23 ноября 1917 года.

Горький пожал плечами.

— Если и читал, то, вероятно, она не произвела на меня впечатления. Но почему вы об этом спрашиваете? Струве, насколько мне известно, активно сотрудничал с белой гвардией, затем за границей в откровенно антибольшевистском журнале... Чем он вас привлек?

— Необычным и, я бы сказал, до сих пор substantialным для многих взглядом на революцию.

— А именно?

— Петр Струве утверждает, что славная революция 17-го — не что иное, как солдатский бунт, перешедший в грандиозный и позорный всероссийский погром, руководимый преступниками и безумцами.

— Ну...— Алексей Максимович усмехнулся,— это не ново, когда кто-то за деревьями не видит леса. Я и сам страдал этим до последнего времени. Еще в спорах с Лениным я бросал упреки...— писатель замолк, ибо вождь остановил его мягким прикосновением руки.

— Речь идет не об издержках революции, а о ее сути. Струве считает, что началась она не в Октябре, а еще в 1902 году. И что тогда она добилась главных успехов: зачатков конституционного строя, свободы печати и зачатков народной земельной собственности, созданных реформой

Столыпина. А мы — большевики, — обрядившись в «социалистический костюм», все это уничтожили, а потому со всеми своими социалистическими лозунгами являемся самыми прямыми контрреволюционерами.

— Но в чем же соблазн?.. Подобное утверждают сотни эмигрантских деятелей.

— В том, что Струве не отвергает революцию, как все друзья из его стана, он «за» нее, но убедительно доказывает, что русское освободительное движение есть, прежде всего, стремление к собственности и правопорядку. Иначе, революция имела и имеет — в корне буржуазный характер. Но не в том плане, что плоды революции достанутся буржуазии, а в том, что вопреки всем социалистическим кличам и лозунгам, под шум этих лозунгов народные массы идут к утверждению в своей жизни буржуазных начал и прежде всего — начала личной земельной собственности. Он убежден: когда «социалистический» угар пройдет, собственническое сознание в широких массах возьмет свое и они сбросят маскарадные одежды социализма, как шелуху. А под конец делает непререкаемый вывод — поскольку революция в России в глубочайшей основе своей является буржуазной, русский социализм в его борьбе с буржуазией и буржуазным порядком по существу контрреволюционен и должен быть в историческом процессе развития России преодолен и сметен.

Горький остановился и, смотря куда-то в сторону, согласно покачал головой.

— Да, пожалуй... это не плохая база для создания разного рода псевдореволюционных платформ... Но я не понимаю, что смущает лично вас?

Сталин снова стронул писателя с места и, про-

должая вышагивать с ним рядом, долго ничего не отвечал.

— А что, если он прав? — вдруг спросил вождь. — Мы — действительно безумцы, контрреволюционеры и преступники, а в лучшем случае, — великие путаники? — Заметив изумление в глазах Алексея Максимовича, Сталин предупредил: — Не торопитесь с ответом. Настало время окончательно и бесповоротно решить, как и куда идти дальше: оставить в стране собственника или до конца сломать ему хребет, как в городе, так и в деревне? От этого сейчас зависит все и вся.

— Я полагаю, Иосиф Виссарионович, что, зная мое отношение к темной крестьянской массе с ее биологическими инстинктами, ответ мой вам уже известен.

— И все же — не торопитесь. НЭП всего за два-три года вырвал страну из «лап голода». А потом, «биология» — вещь упрямая, сможем ли мы органично создавать и воспевать коллективный труд советских людей? Не будем ли мы сметены, как обещает Струве, с нашей... и во многом вашей идеей коллективного разума и нового, никем еще не виданного человека без инстинктов? Воспитаем ли мы такого? Сумеем ли одолеть его низменную природу?

— Не будем... и воспитаем, — уверенно ответил Горький. И, улыбнувшись, добавил: — ибо нет таких крепостей, которые бы не одолели большевики.

В усах Иосифа Виссарионовича промелькнула усмешка.

— Хорошие слова для трибуна, но не для практика... Откуда у вас эта уверенность?

— Струве прав, если согласиться, что частная собственность — венец прогресса. Я в это не верю.

Человечество идет, более того, обязано идти дальше. От чувства собственности, которое превозносит наш оппонент, основные пороки людей: эгоизм, зло, ограниченность ума. Человек непременно должен вырваться из пут удовлетворения своих животных потребностей как всего смысла жизни и начать жить возвышенными целями бескорыстного свободного труда и всеобщего братства. Об этом, кстати, спорил в свое время Лев Толстой со Столыпиным, напрочь не признавая за людьми право собственности на что бы то ни было. Все от Бога, говорил он, а потому никто не смеет себе ничего присваивать. Мы поправим его и скажем гражданам: советская власть — ваша родная мать, она существует для вас и ничто у вас не отнимает. Работайте на нее, не цепляясь за свою жалкую собственность; работайте светло, вдохновенно, по-братски, и вы станете обладать не убогими клочками земли, а всей страной. Собственником, товарищ Сталин, человек был со времен рабовладения. Неужто он веки-вечные обречен на существование в этих узких рамках? Нет, если все по Струве, не имеет смысла ни жить, ни работать на грядущее.

Сталин, крайне внимательно выслушав взволнованный монолог писателя, неожиданно обнял его за плечи и прочувствованно сказал:

— Я давно знал, что стране не хватает Горького. Спасибо. Вы сняли с меня камень и развеяли все сомнения.— Он подчеркнул слово «все»...

* * *

Одевая в одной из комнат дачи бронезилет, а сверху китель, Иосиф Виссарионович исподлобья посмотрел на Ягоду, который помог ему вдеть в рукава руки.

— Отвечаете мне за писателя головой,— сказал он тихо и жестко.— За его жизнь, за обеспечение, за все впечатления, которые он здесь получит.

— Я понял, товарищ Сталин.— Нарком вышел следом за вождем на воздух...

У ворот дачи Сталин тепло, за руку распрощался с Алексеем Максимовичем, Пешковой, Максимом, сел в черную машину на заднее сиденье и, помахав оттуда рукой, задернул на стекле шторку.

Автомобиль Иосифа Виссарионовича, в сопровождении еще четырех машин (две впереди, две сзади), покатил к лесу, выезжая из него на дорогу подмосковной местности...

Так, относительно беспечно, Сталин ездил недолго. Страх за собственную жизнь народился в нем довольно скоро, отчего впоследствии и до конца своих дней вождь рабочего класса ни разу не побывал ни на одном из заводов, боясь встретиться лицом к лицу с рабочими в их рабочее время. Позже, 35-километровый сталинский маршрут от Кремля до загородной дачи стал днем и ночью охраняться сотрудниками «органов», дежуривших в три смены, каждая из которых насчитывала тысячу двести человек. Более того, вождь потребовал от НКВД выселить три четверти жителей улиц, по которым он проезжал, и предоставить освободившиеся комнаты сотрудникам Ягоды. Отправляясь на отдых в Сочи, Сталин распорядился подготовить одновременно его персональный поезд в Москве и соответствующий теплоход — в Горьком. Никто не знал, какой вариант вождь выберет, ни дня, когда он отправится в путь. Сталин сообщал об этом в последний момент даже самым доверенным лицам. Если Иосиф Виссарионович передвигался железной доро-

гой, то вместе с его бронированным поездом, который с автоматическими бронированными ставнями мог сам выдержать двухнедельную осаду, следовали еще два состава с охраной — один впереди, другой следом. До сего времени некоторые утверждают, что не сам Сталин, а его «разношерстное этническое окружение» осуществляло в большей степени «акции и спектакли», подталкивающие русский народ к дальнейшему самоистреблению. Вряд ли первопричиной являлось окружение. Подобные, мягко говоря, «меры предосторожности», к которым прибегал вождь, говорят сами за себя, по принципу — «на воре шапка горит»...

* * *

Пролетарский писатель отправился в поездку по стране в специально оборудованном железнодорожном вагоне и на встречах с рабочими, пионерией, авиаторами, речниками, селькорами, комсомольцами, колонистами, благодаря стараниям Ягоды, услышал то, что хотел и ожидал услышать: «Спасибо за счастливую советскую жизнь Сталину и Горькому!..» Растроганный, вдохновленный, Алексей Максимович с головой окунулся в работу по разным культурным начинаниям: за короткое время организовал журналы «Литературная учеба» и «Наши достижения», включился в группу литераторов по составлению истории советских фабрик и заводов и, день ото дня превращаясь в официальную политическую фигуру, осудил в печати вредителей, проходивших по «Шахтинскому делу», а затем написал свою знаменитую статью «Если враг не сдается, его уничтожают»... Тон речей Горького становился при этом

все более категоричным и менторским. Любопытно, что сказал бы его «барометр» — Ходасевич, услышав, к примеру, такое выступление Алексея Максимовича на заседании редколлегии одного из созданных им журналов.

— ...Некоторые товарищи указывают на опасности скатиться к «казенщине» и «розовым краскам», если журнал возьмет установку исключительно на освещение одних достижений. Находятся и такие, которые утверждают, что предложение Горького создать ежемесячник «Наши достижения» противоречит постановлению партии о развертывании критики и самокритики, «не зирая на лица». Нет, мы не собираемся молчать и о плохом, но, однако, не надо забывать, что порицание далеко не всегда — поучение, а посему, «Наши достижения» станут плотиной на пути роста всякого рода пессимизма. Они должны взбодрить человека труда, внушить ему — подлинному герою, веру в свои силы; дать образцы, при помощи которых он мог бы заражать окружающих пафасом социалистического строительства. Я ежедневно получаю десятки писем, в которых немало людей заявляют: «Работаем впустую, суеты много, а дела не видать». Решительно не могу с ними согласиться! Из-за мелкого сора и пыли, неизбежных при разрушении любезной многим старинки, они не видят растущего нового. Недавно встречался я с заключенными. Люди, приговоренные к смерти, живут не в тюрьме, а в трудовой колонии, работают, зарабатывают сто десять — сто тридцать рублей, живут без всякой охраны, живут за свой счет, говорят великолепно, анафемски интересные речи. Это ли не достижение? Один пытался меня убедить, что начальство затирает глаза, показывает мне блестящие вещи, что меня обманыв-

вают. Жалобы эти я и раньше слышал. Но это не так, ибо обмануть меня довольно трудно, я в достаточной мере наблюдательный человек и хорошо вижу всякие блестящие вещи, если они выдуманы. Я, милые мои товарищи, оптимист. Это моя биологическая особенность. Я — человекопоклонник! Я готов сложить молитву ему — строителю, творцу нового мира, чудодою-человеку, а не невидимому небесному начальству, создающему всю эту чепуху, которая называется религией. Поэтому «Наши достижения» станут зеркалом, где люди труда увидят себя, свои успехи, а главное, на что они способны. Вся моя надежда на глаза и голоса рабочего класса — рабселькоров, ибо предвижу, что «именитые» и «маститые» в журнал писать не станут. Они пока малoverы. Я же твердо знаю, что основное качество человека — стремление к лучшему. Я вижу, что процесс создания новой действительности у нас в Союзе Советов развивается с удивительной быстротой, вижу, как хорошо вливается в жизнь новая энергия — энергия рабочего класса, и я верю в его победу...

От перенапряжения здоровье писателя пошатнулось — у него заметно устали и впали глаза, цвет лица стал пергаментным, Горький теперь только одним усилием воли взбадривал себя перед слушателями. А потому ему пришлось выехать с семьей обратно в Сорренто. Под наблюдением двух врачей и опять же — в спецвагоне. (Впоследствии, вплоть до 34-го года, Алексей Максимович проводил в Италии каждую осень и зиму и возвращался в СССР лишь на лето, чтобы снова заражать человека труда пафосом социалистического строительства.) В Риме в этот период гастролировал Шаляпин, и советское правительство попро-

сило Горького уговорить великого певца вернуться на родину...

* * *

Следом за сыном, за Екатериной Пешковой, за Крючковым отъезжающий писатель вошел в вагон поезда на Белорусском вокзале и развернулся на подножке тамбура к провожающим его членам редколлегии «Наших достижений». Сняв широкополую черную шляпу, он обнажил седой бобрик волос и виновато всем улыбнулся:

— До свидания, товарищи! Досадно, что телесные немощи помешали мне выразить всю силу той духовной бодрости, которую я почерпнул у вас. Трудно представить возвращение к жизни, более покойной, чем та, которую я вел здесь, но, увы — профессора потребовали моего немедленного выезда в Сорренто. Признаюсь, еду с неохотой.

Поезд тронулся, провожающие сразу замахали руками и пошли следом.

— До мая следующего года! — Алексей Максимович замахал шляпой. — Пишите... И присылайте в очерках больше ростков нового!

Состав набрал скорость и стал быстро отдаляться.

Один из провожающих сказал на ухо другому:

— Странно получается: сам в Италию, а мы тут пиши о достижениях с продовольственными карточками...

* * *

«Борис Годунов» в исполнении Федора Ивановича Шаляпина был великолепен.

Итальянская публика, заполнившая до отказа

Королевскую оперу в Риме, смотрела и слушала спектакль, глубоко затихнув; она была поражена не столько голосовыми данными певца, сколько силой и правдой страданий его героя... В одной из лож оперу слушали Алексей Максимович, Пешкова и их сын Максим.

Артист завершил очередную арию и получил в награду бурную продолжительную овацию, с выкриками «Браво!»...

* * *

После спектакля Горький с первой женой и сыном пришли к Федору Ивановичу за кулисы, горячо обнялись и расцеловались.

— Ну как, братцы? — спросил их Шаляпин. — Есть еще порох в пороховницах?

Изумительно! — оценила его пение Екатерина Павловна

Максим подтверждающе качнул головой.

Нет слов, дядя Федя Италияшки, по-моему, опупели

— А ты чего молчишь? — Артист повернулся к другу

— Здорово, — сказал Горький. — Но.. что-то изменилось

— А именно?

— Не знаю Как бы русского в тебе стало меньше

Федор Иванович усмехнулся.

— Без критики не можешь. А вообще, может, и верно. — Он наклонил голову. — Без своего народа петь о России трудновато. Да и к местной публике всякий раз принаравливаться надо...

* * *

На улицу из театра вышли все вместе. Пешкова первой протянула Шаляпину руку:

— Алексей Максимович остается в гостинице, у него к вам разговор, а мы с Максимом к поезду, в Сорренто... Ждем вас там завтра, сможете?

— На денек вырвусь,— пообещал артист и следом за супругой писателя распрощался с его сыном. Затем распахнул дверцу автомобиля, стоявшего на обочине.— Поезжайте на моем авто.

— Неужели купил? — с живым интересом спросил Горький.

— Купил я в Париже,— похвастал Федор Иванович,— а это ко мне итальянцы приставили.— Когда Максим и Пешкова устроились на заднем сиденье, он наказал шоферу: — Доставишь, Петруша, господ на вокзал и до утра свободен.

Водитель непонимающе залопотал что-то по-итальянски.

— Я ему переведу,— сказала Екатерина Павловна.— Я немного понимаю... Аванти, синьор Петруччио.

— О, грацио! — улыбнулся шофер.— Си! — И покатил вперед.

Шаляпин, проводив глазами автомобиль, повел головой в его сторону:

— Катерина твоя... смотрю, по-прежнему в курсе всех твоих дел.

— Пускай себе,— ответил Алексей Максимович. И похвалил ее: — Она, Федор, баба-молодец.

Оба неторопливым шагом двинулись вдоль улицы.

— А где же твоя эта... с тройной фамилией?

— В Эстонии... у детей.

— Вот как. А я на днях был в Лондоне, и мне показалось, что видел ее в компании с Уэллсом.

Писатель метнул на друга какой-то беззащитный и одновременно раздосадованный взгляд и, тут же нахмурившись, буркнул:

— Нет, нет, ты ошибаешься.

Артист, в свою очередь, покосившись на друга, сразу согласился:

— Да, пожалуй.

— Нет,— спустя паузу, снова проговорил Горький.— Ее там нет и быть не может. Вчера я получил от Марии Игнатьевны письмо со штемпелем из Таллина.

— Но я же сказал: ошибся!

Сообщение Шаляпина о Лондоне больно зацепило Алексея Максимовича.

— Вредный ты все-таки мужик, Федор...— вдруг сказал он.— Отчего ты ее не любишь?

— Не люблю,— честно признался Федор Иванович.— И не особо это скрываю.

— Почему?

— Не принимает ее мое сердце — и все тут. Что я могу поделать?

— Ладно об этом. У самого-то как... с Марией Валентиновной?

— Тьфу, тьфу, тьфу,— нормально. А что?

— В Россию она не собирается?

— А почему ты спрашиваешь об этом не меня?

Писатель «отомстил» за Марию Игнатьевну:

— Ты же подкаблучник. Захочет она — и тебе ехать придется.

— Ясно...— Шаляпин саркастически покачал головой.— Приехал, как я понимаю, агитировать за советскую власть. Ну, вот ее и уговаривай. Только, думаю, она и слушать не станет.

Друзья пошли теперь бок о бок в долгом молчании. Вечерний Рим всюду был красиво подсвечен, но замусорен после субботнего гулянья.

— А если серьезно, Федор...— вдруг с тоской произнес Горький.— Возвращайся домой, а?

— Зачем?

— Сам же сказал: без России трудно. А ты — своему народу нужен. Больше, чем он тебе.

Артист чему-то усмехнулся и ничего не ответил.

— Верь, Федор, не верь, а сколько я в Союзе с разными людьми ни встречался, все в один голос спрашивали: «А что Шаляпин, вернется ли?»

— А ты?

— Я... Я говорю — обязательно. Без Шаляпина и Россия не Россия. И потом Сталин, Ворошилов.. Они тоже тебя зовут. Лично меня просили: уговорите Федора Ивановича, если надо, в ножки ему поклонитесь. И Первого Артиста Республики они тебе возвернут, и дом, и что хочешь, даже, говорят, подарим ему «его скалу» в Крыму, которую он так любил. Ну, чего тебе здесь, Федор?.. Обидели тебя, понимаю, а кого не обижали, меня ведь тоже, и сколько раз. Так простил же я их. И ты прости... Страна сейчас кипит, бурлит, строится, кругом такой размах — аж дух захватывает, а ты не с нею. Не годится это, Федор. В конце концов, если по большому счету, то и талант твой не тебе принадлежит — твоей земле...

Шаляпин молчал.

— Хотя бы на время поезжай... Интерес к тебе огромен, посмотри на строительство новой жизни, на новых людей, убежден, увидишь — захочешь остаться... А, Федор?..

— Мастер ты говорить, Алексей, — через долгую паузу раздумчиво откликнулся Федор Иванович. — Даже расплакаться хочется.

— Да не слова это, не слова!.. — Горячо воскликнул писатель. — И я не верил, что кому-то там нужен, пока не увидел свой народ на Белорусской площади. А увидел — и понял: я, в своих мелких претензиях к родине, пигмей по сравнению с его

гигантской и искренней душой. И тебя так же ждут — вот отруби мне руку, чтобы я не писал больше.

Артист тяжело вздохнул:

— Да верю я, конечно: и что люди простые обо мне спрашивают, и что встретят... а все же не верю.

— Чему?

— В первую голову, твоим правителям, Алеша, аппарату, новоявленному бюрократу с кобурой. Боюсь я их. И не каждого по отдельности, а всего вашего уклада жизни. Наобещают мне, разумеется, горы, но в один прекрасный день какой-нибудь собрание, какая-нибудь коллегия запросто поставят меня в положение букашки.

— Что ты имеешь в виду?

— Захочу я, например, обратно за границу, а меня никуда не выпустят. И никшни. А там ищи виноватого, кто подковал зайца. Один вождь скажет, что это не от него зависит, другой разведет руками — «вышел новый декрет», а тот, кто наобещает и кому поверю, удивится: «Как вы можете претендовать на меня? Это же революция, пожар!»

— Но я-то езу. Туда и обратно. И ты так будешь.

— Ездишь, — согласился Федор Иванович. И добавил: — Пока. Однако Горький — сейчас тоже вождь, действующее лицо революции. А я? Не коммунист, не меньшевик, не монархист и даже не кадет. «Кто ты?» — спросят меня. «Не знаю». «А вот потому, — ответят мне, — что ты ни то, ни се, а черт знает что, ты и сиди, сукин сын, на Пресне». А я, ты знаешь, по разбойному характеру моему, очень люблю быть свободным и никаких приказаний — ни царских, ни комиссарских — не переносу.

Горький, глядя под ноги, горько покивал.

— Самое скверное, что ты и мне не веришь. Ведь зову тебя я. А ты прекрасно знаешь, если что с тобой будет не так, я им горло за тебя перегрызу. Нет, тут причина другая.

— Какая же?

— Материальная. Жаден ты до денег стал, Федор. Только знай: любви России ни за какие гонорары не купишь.

Шаяпина это замечание задело.

— Да, и материальная,— заявил он с вызовом:— А насчет жадности — вспомни, сколько раз ты у меня займы брал. Между прочим, и до сей поры до конца не рассчитался.

— Отдам, отдам,— неприязненно ответил писатель.— Вот получу здесь за «Артамоновых» и отдам.

— Ты, Алеша, напрасно в бутылку лезешь, сам унижить меня захотел. А я скажу тебе прямо: мать моя умерла от голодной смерти и я всю жизнь боялся быть нищим. И теперь боюсь. И не желаю им быть впрямь. Однако не такой уж я жмот, как ты меня изображаешь: тебе хорошо известно, сколько я здесь бесплатных концертов в помощь голодающим дал. Известно?

— Да,— буркнул Алексей Максимович.— Я горячился, извини...

Оба вышли к Тибру, который тяжеломерно переливался темной массой воды под фонарями, и, не сговариваясь, сели у реки на скамью. После продолжительного молчания Шаяпин заговорил снова:

— Ты, Алексей, увлечен сейчас там всякими переменахми, а мне со стороны кое-что виднее.

— Что?

— Опять все не туда поворачиваться начинает.

— Куда же?

— К чему-то страшноватому. Доказывать я не умею, фактов для этого у меня почти нет, но чувствую. Пупом, Алеша. А интуиция, ты знаешь, никогда меня не подводила.

— И все-таки: хоть один пример?

Федор Иванович испытующе взглянул на друга.

— А ты не обидишься?

— Нет.

— Дай слово.

— Даю.

— Ты сам.

— В каком это смысле?

— Твоя статья: «Если враг не сдастся...» Словно не ты ее писал. Не чуткий, умный и добрый человек, каким я знал тебя прежде, а какой-то — который наркотиков наглотался.

— Ты не так понял! — в отчаянии вскричал писатель. — И многие тоже... Я же не впрямую, это образ, как не понять?..

— А даже и так... Ведь ужасно: человек имеет свое мнение, не согласен с вашей политикой, и он уже не человек?

Горький нервно дернул плечом.

— Ты вот тут, за границей сидишь и не ведаешь, сколько у нас людей, по своему недомыслию, не хотят новой жизни. Но вредят ей совершенно осмысленно. Просто так, назло.

Шаляпин с сомнением покачал головой:

— Ой ли? А не по-Божьему ли наставлению?

— Что — вредят?

— Да нет, жить хотят иначе.

— Ты что ж думаешь: я крови жажду? — мучительно спросил Алексей Максимович. — Это я-то?.. Да пусть живут в своем старом затх-

лом болоте, только главному делу не мешают. Не встают поперек «железного потока» новой жизни — все одно сметет. Ты не представляешь всех гигантских изменений, что произошли на твоей родине, потому и зову: поедем, ты начнешь и мыслить и петь по другому. Другими масштабами.

— Вот в этом самый страх советской власти для меня и состоит, Алексей.

— Не понял?

Артист, подумав, ответил:

— Я, конечно, не настолько слеп и пристрастен, чтобы считать советских вождей лишь ворами и супостатами. Ясно, что к переустройству жизни их толкнуло стремление к правде и справедливости. Беда же в том, что твои российские «строители» и ты, прости, теперь вместе с ними не можете унижить себя до того, чтобы задумать обыкновенное человеческое здание по разумному человеческому плану, а непременно желаете возвести вавилонскую башню! Не можете удовлетвориться обыкновенным здоровым и добрым шагом, каким человек идет на работу, нет, — вы должны рвануться в будущее семимильными шагами! «Отречемся от старого мира» — и сейчас же так выметаете старый мир, что не остается ни корня, ни пылинки.

— Ну это ты, брат, врешь, — вставил Горький. — Я стоял и стою за сохранение всей прошлой культуры.

— Стоял, да, — подтвердил Федор Иванович. — Но вот будешь ли впредь — в этом я шибко сомневаюсь.

— Почему?

— Ты давно любил учить других, Алеша. А вместе со своими российскими умниками, кото-

рые удивительно все знают, начнешь наставлять своих соотечественников и подавно.

— Кого ты называешь умниками?

— А всех тех, кто знает, как горбатенького сапожника сразу превратить в Аполлона Бельведерского; знает, как научить зайца зажигать спички; знает, что нужно этому зайцу для его счастья; знает что через двести лет будет нужно потомкам этого зайца для их счастья. Вы все знаете! — Шаляпин поднялся со скамьи.— И так непостижимо вы в этом своем знании уверены, что за малейшее несогласие с вашей формулой жизни тут же признаете других зловердными и жестоко караете.— В артисте кипело негодование, он выставил в сторону Горького руку, точно десницу, и, сверкнув глазами, сказал: — Но позволь раз в жизни и мне тебя поучить. А посему знай: с вашими грандиозными замыслами и уничтожением живого Божьего чувства в человеке, «свобода» в советской России превратится в тиранию, «братство» — в гражданскую войну, «равенство» — к принижению всякого, кто посмеет поднять голову выше уровня болота, но уже нового — «социалистического»; а твоя «любовь к будущему человечеству» выльется в ненависть и пытку для современников.

— Что ж...— глядя в землю, тихо и обиженно проговорил Алексей Максимович.— Поживем, увидим, кто прав.— И поднял на друга страдающие глаза.— Значит, не поедешь?

Шаляпин отрицательно покачал головой.

— И в гости ко мне завтра, надо понимать, тоже?

— Отчего же нет, порыбачим...— Федор Иванович шагнул к писателю и мягко положил ему на плечо свою большую ладонь: — А только вот что: не ехал бы ты обратно, Алеша. Такое у меня предчувствие, что видимся мы с тобой в последний разок.

Горький сбросил плечом руку друга и, поднявшись тоже, едко усмехнулся:

— И впрямь: нет пророков в своем отечестве, все за рубежом...

* * *

На другой день, под вечер Шаляпин и Алексей Максимович стали выгребать в Неаполитанский залив на рыбалку. На веслах сидел артист, писатель на корме. Погода была тихая, ласковая, море, в лучах догорающего солнца, еле плескалось; вдали просматривался загадочный силуэт Везувия.

Горький, озираясь по сторонам, со вздохом сказал:

— А Волга наша все же лучше. Прошлым летом ехал я по ней от Царицына до Нижнего на теплоходе. Вот, брат, стерлядей поел! Река — видел бы ты, великолепно. Весь год были дожди, и воды полно. Чудесно!

Федор Иванович, насупившись, ничего не ответил и еще энергичнее заработал веслами.

— Дурачок ты, Федор, — снова тихо проговорил писатель, — и жалко тебя... Неужель боле никогда своей реки не увидишь?

Артист тоскливо усмехнулся:

— А ты иезуит... Зачем зря душу травмишь?

Друг безнадежно махнул на него рукой и умолк...

Шаляпин искренне любил Россию, мучился, но не принимал той, какой она сейчас была. Он на год пережил Горького и, спустя много лет после своей смерти, все же вернулся домой — но уже в виде останков...

Лодка скользила почти бесшумно, равномерно скрипели уключины.

Федор Иванович, сильно покачнув посудину, неожиданно встал во весь свой могучий рост и обвел взором притихшие на берегу окрестности Сорренто. И вдруг, набрав полной грудью воздуха, во всю свою мощнейшую глотку затянул:

«Вн-и-из... по ма-туш-ке по Во-о-о-лге!..»

Алексей Максимович, испуганно ухватившись за борта, сначала осуждающе поводит головой, но затем, заулыбавшись, подхватил следом за другом песню тоже...

Вокруг все было итальянское: вода, горы, воздух... а двое русских всласть, протяжно и во всю душу поминали свою родину. И именно на фоне этого, чужеродного песне пейзажа сейчас как-то по-особому, остро ощущалось, что несчастная, измученная Россия неистребима...

* * *

В наброшенном на плечи плаще, в своей неизменной широкополой шляпе, сдвинутой на затылок, Горький выбрался из автомобиля и оглядел бывший особняк миллионера Рябушинского, что стоял у Никитских ворот. Следом за писателем из еще трех машин вылезли Максим, его жена Надя, Пешкова, Крючков, Ракицкий, маленькие внучки, медсестра Липа, Генрих Ягода и несколько сотрудников НКВД.

Покачав головой и, ничего не сказав, Алексей Максимович вошел в дом.

В большом холле его встретил обслуживающий персонал особняка: комендант, кочегар, повар, садовник, дворник, уборщицы... С каждым из них Горький поздоровался за руку.

Ягода взял на себя роль экскурсовода и повел писателя по дому, раскрывая перед ним массу про-

сторных светлых комнат, ряд подсобных помещений, ведя по широкой мраморной лестнице на второй этаж и показывая ему богатую библиотеку, гостиную, спальню и будущий кабинет...

Программа задабривания пролетарского писателя действовала со сталинским размахом. В распоряжение Горького предоставили бывший особняк миллионера Рябушинского, дачу в Подмосковье и виллу в Крыму. Снабжение Алексея Максимовича и его семьи осуществляло то же управление НКВД, которое отвечало за обеспечение Сталина и членов Политбюро. Ягода, по указанию вождя, ловил на лету малейшее желание писателя: вокруг его домов он высадил его любимые цветы, заказывал для Горького особые папиросы из Египта, по первому требованию доставлял ему любую книгу из любой страны. Во второй приезд из Италии Горькому вручили на границе билет члена ЦИК СССР, однако положение его ничем не отличалось от положения иностранного дипломата, но с той разницей, что у Алексея Максимовича не было своих секретных информаторов и он довольствовался тем, что рассказуют люди, приставленные к нему НКВД. Изолированный от народа, Горький двигался вдоль конвейера, организованного для него Ягодой, в неизменной компании чекистов и нескольких молодых писателей, сотрудничавших с «органами». Даже его садовник и повар знали, что они время от времени должны ему рассказывать: о чудесах социалистического строительства, о безграничной любви народа к Сталину, о том, что жизнь в деревне становится все краше. Секретарю Крючкову было поручено максимально ограждать писателя от нежелательных контактов и вредной информации... То есть Алексей Максимович в собственном отечестве стал своеобразным интуристом...

Лицо Горького было довольно-недовольным. Закончив осмотр дома, он нахмуренно сказал Ягоде:

— Зачем вы меня обставляете этой роскошью... Стыдно ведь.

Начальник НКВД с широкой улыбкой ответил:

— Товарищ Сталин предвидел ваши возражения и просил передать на сей счет его мнение.

— Каково же оно?

— «Горький в стране — один!..»

Вскоре Алексея Максимовича попросили посетить Соловки и высказать в печати свое отношение к обстоятельствам содержания там заключенных. Буржуазная Европа утверждала, что они находятся в нечеловеческих условиях и подвергаются истязаниям. Советское правительство очень рассчитывало на писателя — на его правильную оценку лагерной жизни...

Старик и четырнадцатилетний мальчик, взобравшись на купол Соловецкой церкви, скинули на землю подпиленный крест и принялись на его место водружать красную пятиконечную звезду.

Внизу, в окружении комсостава ГПУ и лагерного начальства Соловков, стоял Горький и, задрав к небу голову, наблюдал, как и все, за действиями перевоспитавшихся лагерников.

Рядом с писателем находилась его невестка. Вся в коже — кожаная фуражка, кожаная куртка, кожаные галифе и высокие узкие сапоги. Она первой вскрикнула и, закрыв глаза, задавила ладонью рот...

Веревка, на которой удерживался старик на куполе, неожиданно треснула, он, ударяясь о стены, о выступы церкви, полетел вниз и, тяжелым шлепком ударившись о землю, замертво на ней распластался.

Алексей Максимович резко отвернулся и бы-

стро пошел прочь с этого места к стоявшим поодаль автомобилям.

Садясь в один из них, он зло сказал:

— Зачем было устраивать этот нелепый спектакль? — И захлопнул за собой дверцу.

Гедеушники виновато переглянулись и расселись по другим машинам...

* * *

Инспектирующий автомобильный кортеж прибыл к казармам заключенных. Горький вышел и скрылся в одном из общежитий.

В сопровождении еле поспевающего за ним окружения писатель стремительно пошагал начищенным до блеска коридором с распахнутыми дверями комнат, в которых на аккуратно заправленных койках недвижно восседали лагерники и чинно читали газеты. Но... вверх ногами.

Алексей Максимович, ступив в одну из комнат, подошел к ближайшему эску и, молча обернув газету как надо, вышел обратно.

После этого он заглянул в туалет. Там тоже было чисто, в нем на двух дырках сидели двое заключенных со спущенными штанами. Растерявшись, они не сдвинулись с места и во все глаза уставились на писателя.

Тот на них тоже... Затем вдруг спросил:

— За что отбываете наказание?

— Говорил, что в СССР плохо живет рабочий класс, — робко ответил первый.

— А вы?

Другой, мрачный и дерзкий, вызывающе усмехнулся:

— Противопоставлял пролетарского поэта Маяковского буржуазному поэту Пушкину.

— И все?

— Нет. Еще за то, что утверждал, как, впрочем, утверждаю и по сей день, что Горький плохой писатель.

Горький закрыл дверь и, раздосадованный, направился в обратную сторону.

— Вот, пожалуйста... наша санчасть...— Один из лагерных начальников, нагнав его, указал на открытую комнату с выстроенной там шеренгой врачей и сестер в свежих халатах.

Бросив туда косой взгляд, Алексей Максимович буркнул:

— Хорошо, да. Но покажите мне сначала детей.— И, не сбавляя длинного шага, выскочил из барака...

* * *

Вдоль детколониции рос целый бульвар из красивых зеленых елок. Писатель, приостановившись, вдруг потянул одну из них за верхушку и легко вырвал ее из земли.

Елка оказалась без корней.

Горький выдернул вторую и, красноречиво посмотрев на изумленных наблюдательностью писателя гепеушников, швырнул деревцо к их ногам...

Дети, находящиеся в палате, были причесаны, умыты, каждый сидел на отдельном топчане с матрасом, на общем столе с белой скатертью стояла ваза с яблоками.

— Ну!..— Писатель ободряюще всем улыбнулся.— Рассказывайте, чем недовольны?

Дети, опасливо поглядывая друг на друга и на лагерное начальство, молчали.

— Жаловаться — последнее дело,— сказал са-

мый бойкий.— Да и на что? Сами небось видите — яблоки хаваем!

— Не бьют?

— Нет.

— И все-таки... как-то вас наказывают?

— Наказывают,— подтвердил все тот же колонист.— Не дают компот или это... книжки читать не пускают.

— Куда?

— В как ее... забыл...

— В библиотеку?

— Туда, точно.

— А какие ты любишь книги?

— Всякие там... С картинками. И еще ваши.

— Назови хоть одну.

— Про эту... про маму.

Писатель изумился.

— Моя... «Мать»?

— Ну, да, она самая. На мою старшую сеструху еще похожа.

Горький, покачав головой, улыбнулся.

Гепеушники и руководители Соловков удовлетворенно переглянулись.

Один из мальчиков, тот самый, что пытался во-друзить на церковь звезду с убившимся стариком, вдруг громко произнес:

— Слушай, Горький! Все, что ты видишь,— это неправда. А хочешь правду знать? Рассказать?

— Да...— еле слышно ответил Горький в обвисшей всеобщей тишине.— Да, мальчик, я хочу знать всю правду.

— Тогда пусть все уйдут... И ребята тоже.

Алексей Максимович жестко и исподлобья посмотрел на свое сопровождение.

Люди в мундирах молча попятились из комнаты, увлекая за собой остальных детей...

«Воспитатели» закрыли их в другой палате, сами же в тревоге и в смятении стали дожидаться писателя в коридоре, беспокойно по нему расхаживая, выкуривая папиросы и время от времени между собой шушукаясь...

Горький вышел от мальчика весь в слезах...

— Негодяи...— тихо сказал он, ни на кого не глядя.— Изверги...— И вышел из здания вон...

* * *

Алексей Максимович в негодовании метался по комнате начальства и, бегая из угла в угол, мучительно вопрошал:

— ...Как сие только возможно: оставить детей «на комариков», чтобы они сосали из них кровь?!.. Кем же быть надо, чтобы до такого додуматься?..

Все сидели с опущенными головами, не смея поднять глаз.

— И что это за жердочки, на которые вы их сажаете?..

— Это, вероятно, инструктор Бобриков,— попробовал оправдаться один из «воспитателей».— Мы примем меры...

— А с лестницы спихиваете?! — еще сильнее закричал писатель.— А ночевки на снегу?!.. Тоже только Бобриков?.. И вы еще смеете просить меня, чтобы я оправдал эти мерзости в глазах Европы? Да никогда! Я немедленно доложу обо всем, что здесь творится, товарищу Сталину!..

— Но мы...— снова попытался возразить все тот же человек.

— Молчать! — На него вдруг страшно гаркнул самый старший по чину гепеушник — полковник.— Всем заткнуть рты!.. Мерзавцы!..

В его голосе было столько неподдельной ярости, что примолк даже Горький.

— Я доложу об этом сам, Алексей Максимович,— обратился он к писателю.— Все до одного, они понесут наказание. Притом, очень жестокое. А с сегодняшнего дня — все будут уволены.— Полковник НКВД круто развернулся на каблуках хромовых сапог к остальным присутствующим и еще неистовее рявкнул: — А ну, пошли вон!.. Мигом! Быстро!.. Все!

Так и произошло — «воспитателей» точно смыло из комнаты.

Горький сел на стул, сломленно опустив меж высоких колен руки.

— Мерзавцы! — повторил гепеушник и, испытующе глянув на согбенную позу писателя, опустился на стул напротив. Долго помолчав, он спросил: — Вы верите мне, Алексей Максимович?

Тот, очнувшись от тяжелых раздумий, непонимающе поднял голову:

— Что вы имеете в виду?

— Режим в Соловках будет сменен, кадры подобраны другие.

— Но вы... знали об этом?

— Каким образом? Я проверяю колонию раз в месяц, у них достаточно времени навести перед моей инспекцией марафет и, как сейчас перед вашим приездом, натывать у бараков елок.

— Ужасно...— Горький вновь уставился в пол.— Откуда такие люди?..

— И все же, Алексей Максимович...— выдержав паузу, осторожно проговорил полковник.— Перед буржуазной Европой... именно сейчас, именно в этот момент, такой опасный и сложный... Как-то не так получится, Алексей Максимович... А?..

— Хорошо,— не поднимая глаз, заставил себя произнести писатель.— Я нигде ничего не скажу. Но при условии, что вы все исправите.

— Понимаю. Конечно... Мы это обязательно... но... написать, вы ничего не напишете?

Алексей Максимович изумленно уставился на гепеушника.

— Что??

Тот, в свою очередь, спрятал глаза и, стусевавшись, пробормотал:

— То... о чем просило вас правительство.

— Куда?

— Хотя бы... в «Книгу отзывов».

Горький опять опустил лицо и, испустив тяжкий продолжительный вздох, надолго умолк, ничего не отвечая...

* * *

Теплоход с писателем, с его невесткой и группой сопровождающих отчалил от пристани в бухте Благоденствия.

— Спасибо, Алексей Максимович!..— закричал с берега провожающий его полковник.— Огромнейшая вам благодарность!..— Он прощально и безостановочно замахал рукой.

Горький отвернулся от него и перешел на другой борт. Там он навалился локтями на поручни и отстраненным неподвижным взглядом стал смотреть на стальную воду.

Подошедшая сзади невестка положила ему на плечо руку.

— Право, Алексей Максимович...— сказала она негромко и с успокаивающей улыбкой.— А был ли мальчик-то?

Писатель посмотрел на нее с каким-то стран-

ным удивлением и, ничего не сказав, сошел вниз по трапу в каюту...

Полковник на пристани перестал махать и, продолжая глядеть на отдаляющийся теплоход, сухо приказал одному из сотрудников:

— Уберите мальчишку...

* * *

В палату вошли двое воспитателей.

Дети вмиг притихли, а мальчик-правдолюб тотчас полез под койку.

Ему сказали:

— Чего испугался, дурачок? Тебя Горький к себе требует.

— Зачем?

— Увезти с собой хочет

— Меня?

— Ну, а кого же? Приглянулся ты ему, теперь в Москве жить станешь.

Мальчик верил и не верил.

— Собирай вещички и прощайся с ребятами...

* * *

На автомобиле трое мужчин привезли мальчика к крутой скале над глубоким озером и, высадив, приказали:

— Иди.

— Куда?

— Туда.— Один из гепеушников показал в сторону леса.

Мальчик попятился, он спокойно и несколько раз выстрелил ему в грудь.

Двое других взяли убитого ребенка за руки, за ноги, поднесли к обрыву и, откачнув, швырнули в

воду. Так же деловито все опять сели в машину и уехали.

Озеро было изумительно красиво: темно-синего цвета, вокруг — подсвеченные солнцем верхушки сосен и глубокая колдовская тишина. На нем еще долго расходились и успокаивались круги от сброшенного тела мальчика...

По политическим соображениям Горький написал в «Книге отзывов» УСЛОНа то, что от него ожидало правительство. Вот этот доподлинный текст:

«Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется, да и стыдно было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют, вместе с этим, быть замечательно смелыми творцами культуры»...

Так что, может, была права его невестка: а был ли мальчик-то?.. Может, мальчика-то и не было?..

Программная установка Сталина: «цена пролетарского писателя — это любовь народа» неуко-снительно проводилась в жизнь. Именем «Горького» вождь назвал Тверскую улицу, МХАТ и самый большой в Союзе восьмимоторный самолёт-гигант. Помимо этих новых «подарков», Сталин предложил Горькому пост наркома просвещения и собрался присвоить ему звание Заслуженного Писателя. Против этого Алексей Максимович за-протестовал. Отказываясь от наркома, он сослался на отсутствие у него административных способностей, а по поводу звания заявил: «Я решительно отказываюсь от всяких чинов и наград. Я имею уже высшую награду, о которой может мечтать писатель, — награду непосредственного общения с моим читателем». И верно: со времени возвра-

щения Горького из Италии, в одной только России продали уже свыше трех миллионов экземпляров его сочинений. А для того, чтобы Алексей Максимович работал еще плодотворнее, ЦИК специальным декретом запретил любую неуважительную критику по отношению к пролетарскому писателю...

* * *

День был мокрый, за слезящимися окнами стоял туман.

Человек двенадцать начинающих писателей и весь штат редакции «Наши достижения» собрались вечером в библиотеке дома Горького на Малой Никитской. Всех рассадил Петр Петрович Крючков и, пока не появился писатель, строго наказал:

— Лишних вопросов прошу не задавать, только по списку. И не занимать у Алексея Максимовича больше ста минут. — Он остался в библиотеке, присев на стул рядом с пустым кожаным креслом.

Гости притихли в напряженном ожидании Алексей Максимович вышел к ним из кабинета одетый по-домашнему — в шерстяную пижаму, с темным пледом на плечах. На ногах у него были туфли с меховой оторочкой. Двигаясь осторожно, он поздоровался за руку с каждым, уселся в кожаное кресло и громко закашлялся.

Крючков, находясь за спиной шефа, озабоченно и с легкой укоризной покачал молодым писателям головой: мол, видите, человек болеет, а вы ему докучаете.

Посетители виновато потупились.

Горький отдышался и закурил. Он заметно ста-

рел: лицо стало одутловатым, с серым блеском, на висках более густо пробивалась седина.

— Ну-с, так что же вас интересует? — спросил он, зорко оглядев гостей.

Они в смущении молчали.

— Я жду! — с улыбкой повторил Алексей Максимович.

Встал стройный, румяный очеркист в темно-синем костюме.

— Интересует нас многое! — От волнения его голос присекался, он глотнул воздуха и продолжал: — но больше всего — как писать, чтобы нас читали?

Горький нахмурился и пустил из-под усов дым за плечо.

— Огорчу вас: нет у меня для сего готовых рецептов. Но одно, пожалуй, скажу: корабль, не имеющий компаса, никогда не приплывает в гавань. Сиречь — садясь за стол, вы твердо должны знать, что хотите сказать в своем произведении. Это главное. И это — железный закон как для начинающих, так и для кончающих. — Писатель приложил руку к груди и полусклонил голову.

— А что для этого надо?

— Изучайте жизнь, врежьте в нее, как боец в стенку. Ибо литератор — глаза, уши и голос класса, его чувствилище! Можно назвать его дозорным, вперёдсмотрящим. Он же — инженер — душеведец, инженер-строитель, проектировщик и создатель новых людей. Он же и рупор трудового класса. Вот видите, кто он такой, литератор в нашей стране! — Он вдруг опять тяжело закашлялся.

Крючков забрал подле Алексея Максимовича со стола пачку папирос и опустил себе в карман.

— Делайте со мной, что хотите, — объявил он, — но курить больше не дам.

— Ладно, не буду,— миролюбиво согласился Горький.

Выждав паузу, румяный литератор заглянул в список вопросов, утвержденных Петром Петровичем.

— Что это за явление жизни, Алексей Максимович,— талант?

Писатель потер ладонью лоб и отодвинул немного вправо настольную лампу с зеленым абажуром.

— Во врожденную талантливость плохо верю. Я тут — еретик! Писатели ничем не отличны от изобретателей. Примеряйте, проверяйте, взвешивайте каждое слово, фразу, и — вы найдете нужное. Эдисон в свое время сказал: «Гений — это один процент уменья и девяносто девять процентов потенья». Литературу, судари, делают волю, а не стрекозы. А посему, талант — это прежде всего труд!

Один из присутствующих, далеко не молодой человек, с пристальным взглядом и абсолютно лысый, усомнился:

— Но как же говорят: «Ученым можно сделаться, поэтом надо родиться»?

— А разве я сказал, что каждый может стать Пушкиным или Паганини? Я имею в виду, что талант надо беречь, развивать, а не надеяться, что он сам себя вывезет. Безусловно, талант — это врожденные данные, но... помноженные на труд! Однако я убежден, что наш освобожденный народ будет выращивать свои таланты, как Мичурин плоды! — Горький широко улыбнулся.— Трудитесь, и вы, подобно Чехову, научитесь писать талантливо!

Лысый литератор в возрасте скептически усмехнулся, но промолчал.

Очередной начинающий писатель спросил:

— Есть ли в искусстве единая правда-матка? Особенно в классовом обществе?

— Ох-хо-хо! — шутливо вздохнул Алексей Максимович.— Вопросец. Да ведь об этом написаны книги!

— И все же: совсем коротенько, просим вас.

Писатель на некоторое время задумался.

— В классовом обществе,— изрек он наконец,— правд столько, сколько классов. Я всю жизнь считал и теперь того же держусь, что каждый совестливый человек обязан следовать правде угнетенных классов. Прочие правды, как бы их не расписывали,— суть неправды, паразитирующие на теле истинной правды. А посему хороши лишь те произведения, которые служат труду и правде. Прочие, которые служат правде эксплуататоров, как бы они ни были «совершенны»,— плохи и неприемлемы! Об этом отлично сказано в решениях партии. Все, что мешает социалистическому строительству, она отменяет напрочь. Резюме: служите правде труда — и вы всегда найдете нужные краски и напишете правдиво.

Лысый, с пристальным взглядом, вдруг опять сказал:

— А я, грешным делом, считал, что и капиталисты когда-то были носителями своей правды и делали что-то полезное. Выходит, их правда всегда была неправдой?

Крючков, недовольно посмотрев на него, беспокойно заерзал на стуле, а Горький нахмурился.

Вместо него лысому запальчиво возразил румяный очеркист:

— Лично я отказываю капиталистам в праве не только на правду, но и на жизнь!

— И я!..

— Мы тоже!...— поддержали его несколько голосов.

Алексей Максимович суховаато усмехнулся:

— Вы все сильно опоздали. Сама история отказала им во всем, когда в октябре семнадцатого пробила смерный час собственности и собственников.

— А разве собственники не трудятся? — снова произнес лысый.

— Да, работают. Безусловно.— Писатель бросил на него из-под бровей настороженный взгляд, почуяв в оппоненте не «первоклашку», а личность.— Но их труд — это усилия трутней, пожирающих мед, собранный пчелами. Скажу больше: самое ужасное зло на земле — право собственности, ибо именно собственность делает из людей полузверей.

— То есть вас надо понимать так, что до революции на протяжении почти тысячи лет в России жило одно зверье?

Горький досадливо поморщился, а Петр Петрович, поднявшись, строго проговорил:

— О подобного рода вопросах мы, по-моему не договаривались.

— Сидите,— вдруг недовольно сказал ему шеф и, потянув секретаря за рукав, опустил его обратно на стул.— Мы разберемся и сами... Нет! — Он прямо посмотрел в глаза лысому.— Русский народ никогда не был зверьем, потому что в массе своей никогда не владел собственностью. Звероподобными являлись другие: кто имел фабрику, поместье, кто был возвышен в достатке над другими. Хотите погубить человека — дайте ему это все, и он быстро превратится в паука, для которого все прочие люди — или слуги, или вкусные мухи! Я не хочу вас обидеть, но с этим не согласны лишь мещане: они считают право собственности опорой

морали и бытия. А задача литературы Союза Советов в том и состоит, чтобы разоблачать эту фальшивую мещанскую мораль, не давать паукам и паучишкам право на жизнь!

В библиотеке воцарилось продолжительное молчание.

Алексей Максимович нарушил его первым:

— Есть ли еще вопросы?

Встал новый литератор, хрупкий, в очках, он взял у румяного очеркиста заготовленный вопросник.

— А не лучше ли от себя? — Писатель усмешливо показал ему на список и протянул за ним руку. Тот, смутившись, приблизился и передал его Горькому. Он на глазах у всех порвал его на четыре части, скомкал и, не глядя на Крючкова, красноречиво положил ему бумагу на колени. Секретарь остался сидеть, не шелохнувшись.

Хрупкий человек в очках, сдержанно покашляв, спросил:

— Я по поводу документального очерка... не сужает ли он выбор природы и возможности типизации?

— Ни в коем случае! — сразу ответил Алексей Максимович. — Наша жизнь дает яркую и притом типическую природу в изобилии. Разве наши ударники, ученые, энтузиасты-руководители — редкие экземпляры? Разве они не представители массового героизма и не типичны для наших дней?

— Вроде бы да... — неуверенно подтвердил литератор в очках.

— Да не вроде, а абсолютно точно! Вглядитесь в жизнь, сударь, и вы увидите, что вокруг нас действуют геркулесы! — В голосе Горького зазвучали торжественные ноты. — Они расчищают авгиевы

конюшни прошлого и рубят под корень дубы, на которых гнезятся соловьи-разбойники — мастера грабежа и накопительства. Именно они, наши ударники, прокладывают дорогу в будущее: сегодня — к социализму, завтра — в коммунизм! Так ведь?

Многие согласно закивали, и лишь лысый опять усмехнулся.

Писатель заметил это и с улыбкой показал на него пальцем:

— А сей товарищ... простите, как вас по ба-тюшке?

— Лебедев...— спокойно ответил тот.— Иван Петрович.

— Иван Петрович Лебедев с нами опять не согласен. Верно?

— Разумеется.

— Любопытно: в чем и почему?

Он выпрямился у стены и оказался высоким крепким мужчиной.

— Не очень хочется вносить дисгармонию между учителем и учениками. И еще боюсь, влетит от вашего секретаря.

Алексей Максимович кинул на насупленного Крючкова мимолетный взгляд и, по-прежнему улыбаясь, заверил:

— Не влетит, я вам обещаю. Кроме того, что же это за учитель, если он боится истины?

— Что ж, извольте...— Лысый обошел стул и, привалившись к стене, заложил за спину руки.— Я готов изложить свою точку зрения и на социализм и на коммунизм.

Молодые писатели опасливо переглянулись и притихли.

— По образованию я экономист,— представился лысый,— но, увы, изгнан за несогласие с на-

чальством из научного института. У меня неплохой слог, и я решил донести до людей свои идеи посредством серии очерков, но... послушав вас теперь, понял, что и из этого вряд ли что выйдет.

Горький усмехнулся:

— Ну, ну!.. А что же это за идеи?

— Да ничего нового, они давно осуществляются в других государствах.

— А конкретнее?

— Экономика имеет свои законы развития и не подчиняется никаким эмоциям и призывам, типа: больше, лучше, быстрее, сознательнее. Она, как растение: из семени не может сразу образоваться цветок, а тем паче плод. Оно должно непременно пройти все фазы развития. А потому ваши «геркулесы», они стоят на глиняных ногах. Они работают на энтузиазме, а не на законах стоимости, рынка и прибыли. Энтузиазм же скоро иссякнет, а чтобы экономика не рухнула, на смену ему должен прийти страх. И придет, — ибо только на всеобщем страхе, после всеобщего разочарования, можно будет заставить работать людей на будущее бескорыстно. Этот страх породит лицемеров, лжецов, карьеристов, доносителей, некомпетентных инженеров, строителей и руководителей, прикрытием для которых станет, и уже становится, пафос социалистической деятельности. И чем дольше будут действовать страх и принуждение, а не сами законы экономики, тем сокрушительней будет нанесен удар по вашей красивой утопии всеобщей свободы и равенства. Тяжкое это будет для русского народа «похмелье».

В гробовой тишине писатель спросил:

— Но отчего же... утопия?

— Свобода и равенство — категории несовместимые. От природы все рождаются разными,

даже котят. Свобода для сильного и слабого неминуемо поставит в подчиненное положение слабого. А чтобы их уравнивать, необходимо окоротить свободу сильного. Этот самый процесс, который мы называем социализмом, сейчас и происходит в нашей стране.

— Иначе, вы за «закон джунглей» и против социальной справедливости?

— Отнюдь. Я против того, чтобы люди насильствовали естество природы. Жизнь не может состоять из единомыслящих и равновеликих существ, она умрет. Как погибнет земля, если ее засадить одними «геркулесами» — соснами, уничтожив цветы, все другие деревья и даже обычные одуванчики. А ваша утопия в этом и состоит — вы задумали заселить землю одними пролетариями. Любовь человеческую вы заменили любовью классовой — это ли не дикость и самоуверенность разума?

— То есть в силу разума Ленина, Маркса... я уже не говорю о моем — вы не верите?

— Нет,— твердо ответил Лебедев.

— А в Сталина?..— тихо спросил Крючков.

— Нет,— повторил лысый,— ибо все они покусились на извечные законы Природы и у них нет будущего. Кто их нарушает, тот рано или поздно за это жестоко расплачивается. А вы, Алексей Максимович,— он открыто посмотрел на писателя,— человек, безусловно, благородный, вероятно, добрый, но, простите и меня тоже,— чудовищно наивный и... как я теперь увидел, не очень умный.

Присутствующие, буквально обалдев, замерли. В том числе и Горький.

Иван Петрович Лебедев прошел к двери, открыл ее и повторил:

— Простите еще раз, Алексей Максимович, но

я не в обиду... А потом для писателя это, может, даже и необходимое качество.— И по собственной воле покинул помещение.

Все сидели ошарашенные, не смея поднять глаза друг на друга.

Алексей Максимович вдруг повернулся к Крючкову:

— Дайте мне папиросы.

Секретарь, хоть и пребывал в шоке, отрицательно поводит головой.

Шеф так на него глянул, что рука Петра Петровича сама полезла в карман и вернула писателю пачку.

Забрав ее, Горький резко встал и, ни с кем не прощаясь, быстро ушел в свой кабинет...

* * *

Неожиданно застрелился Маяковский... Алексей Максимович воспринял этот поступок как проявление малодушия, несовместимого с эпохой великих перемен... А перемены становились все круче. Партия большевиков переходила от политики ограничений эксплуататорских тенденций кулачества — к политике ликвидации кулачества как класса. Началась повсеместная принудительная коллективизация. Рабочие отряды «десятитысячников» принялись сгонять крестьян на общие сходы, отбирать не только у кулаков, но и у середняков скот и зерно, лишать их земли, выселять и вывозить под конвоем весь «мелкобуржуазный элемент» в Сибирь вместе с семьями. Затрещали под топорами сады, запылали избы и скотные дворы — их стали рубить и поджигать самые непокорные, дабы нажитое добро не досталось уже никому. Многие земли, лишившись настоящих хо-

зьев, пришли в запустение и негодность. Как следствие всех этих разрушительных акций на селе, разразился массовый голод на Украине. Советская власть тут же объяснила народу его истинную причину — отыскала 48 заговорщиков-организаторов голода и устроила над ними показательный суд...

* * *

Алексей Максимович стоял на перроне с букетом цветов и ожидал поезда с прибывшим в Москву всемирно известным прогрессивным писателем Бернардом Шоу. Об этом оповещали плакаты и транспаранты, воздетые над головами советских трудящихся, заполнивших весь вокзал.

«Москва приветствует неистового ирландца!» — гласили огромные буквы.

«Бернард Шоу — друг Советского Союза!»

«Бернард Шоу — знамя социального прогресса на Западе!»

«Даешь прикурить английским эксплуататорам, Бернард!»

«Добро пожаловать на свой 70-летний юбилей в СССР!»

«Советские люди верят в Бернарда Шоу!»...

К уху Горького склонился Генрих Ягода:

— Полагаю, писатель будет доволен, как вы считаете?

Алексей Максимович, не оборачиваясь, утвердительно качнул головой. Затем, продолжая стоять к нему боком, негромко сказал:

— Если честно, я страшно устал от всяких встреч. Мне бы надо работать.

— Сократим, — тотчас отреагировал начальник НКВД. — Резко сократим все делегации. — И полюбопытствовал: — Над чем вы сейчас трудитесь?

— «Клим Самгин». Роман оказался настолько бесконечным, что меня он уже измучил.

Ягода, покосившись на писателя, произнес:

— Лучший отдых — это переключиться на что-нибудь другое.

— В смысле?

— Написать, например, книгу с очень скромным названием: «Ленин и... Сталин». Вот было бы здорово, Алексей Максимович?

Горький повернулся наконец к энкавэdistу и остановил на нем испытующий взгляд исподлобья.

— Это что... ваша идея, или...

— Исключительно моя,— не дал договорить писателю Ягода.— Хотя... я не думаю, чтобы товарищ Сталин против этого возражал.

— И как вы сию книгу себе мыслите?

— Ну... трудно сказать... Все знают, что вы были другом Ленина, теперь к вам очень прислушивается товарищ Сталин... Получается некая эстафета.

— То есть я в качестве эстафеты?

Начальник НКВД понял, что это шутка, и улыбнулся:

— В каком-то смысле да. Никто лучше вас не сможет определить: верно ли товарищ Сталин осуществляет в стране Советов ленинские заветы и его идеи.

Алексей Максимович, ничего не ответив, медленно отвернулся.

— Так как же?..— спустя паузу, спросил Ягода.

— Надо подумать. Дело сие серьезное и крайне ответственное. Я попробую подумать.

— Конечно, разумеется... А как долго?

— Вон! Едет!..— Писатель показал Ягоде на приближающийся, украшенный цветами паровоз...

«Неистовый ирландец», высокий, вертлявый и жилистый, не умел стоять на месте; он переходил по террасе сталинской дачи от одного гостя к другому и, расплескивая вино из бокала, который он держал в длинной цепкой руке с вылезшим из пиджака белым манжетом, произносил тост:

— ...Я ненавижу буржуазию, презираю ее лицемерно-мещанский быт, отвергаю ее мораль и наношу ей в своих творениях удар за ударом...— Встряхнув седой взъерошенной бородой, он подождал пока его снова переведет миловидная переводчица. Стоя, и тоже с наполненными бокалами, Бернарда Шоу слушали члены Политбюро, Горький и Сталин.— По этой причине,— вновь заговорил англичанин,— я должен бы жить в вашей стране, которая, я очень верю в это, одолеет все преграды на нелегкой дороге, избранной вашим народом с дней Октября семнадцатого года..

— Так оставайтесь в СССР! — после перевода воскликнул Ворошилов.

Колючие глаза писателя сверкнули из-под мохнатых бровей озорством:

— Увы! Моя гражданская обязанность находится в аду — в Англии!

Все рассмеялись, «неистовый ирландец» продолжил:

— В Америке сейчас великая депрессия, на Западе нарождается фашизм. Что ждет капитализм — крах! А у вас — пятилетка! Не здесь ли выход, спасение Европы и человечества? Именно здесь, в России! Я убежден, что новая коммунистическая система только и способна вывести человека из нынешнего кризиса и спасти его от политической анархии и разрушения!.. Коллективи-

зация, к которой вы приступили,— это превращение шахматной доски с малпосенькими квадратами захудалых хозяйств в огромную сплошную площадь, которая прокормит не только вас, но и весь мир!..— Бернад Шоу остановился напротив скромно помалкивающего Сталина.— Меня предостерегали, что в России я буду во власти Чека, что я ничего не увижу...

Вождь развел руками: мол, что он может поделать, если ему так сказали.

— Но ни одного чекиста я пока не увидел, если, конечно, они у вас не невидимки!

Присутствующие снова всхохотнули.

— Часовой в Кремле, который спросил нас, кто мы такие, был единственным солдатом, которого я пока видел в России. Я, конечно, поеду по стране с вашим пролетарским богом Горьким и посмотрю все своими глазами, но я заранее не верю, что советский народ живет «на хлебе и воде»; и, думаю, Горький, как коллега, не станет мне показывать «потемкинские деревни»...

Алексей Максимович, выслушав перевод, заулыбался и согласно закивал писателю.

Шоу опять заговорил:

— Пока я увидел одно: меня в Советском Союзе, оказывается, знают и всюду встречают, как Карла Маркса!..

Члены Политбюро, особенно Ягода, не могли скрыть на своих лицах почти умильного удовлетворения.

— Но главное, что я вижу, побывав в разных местах Москвы, это отсутствие и тени вандализма после свершившейся революции. Трудно сделать яичницу, не разбив яиц, а вы умудрились сохранить дворцы и церкви прошлого... Но... я, въедливый старик, успел заметить у вас и колоссальный

недостаток...— Бернад Шоу замолк, как бы не решаясь, назвать его или нет.

Все напряглись и затихли. Не перестал улыбаться лишь один Сталин.

— Говорите,— попросил он.— Большевикам нужна правда и только правда.

— Ваш Музей Революции!.. Вы что, с ума сошли — прославлять восстание теперь, когда революция — это уже правительство? Вы что, хотите, чтобы Советы были свергнуты? Выбросьте оттуда всю вашу опасную чепуху и превратите это в Музей Закона и Порядка!..

Руководители государства облегченно заулыбались, а Ворошилов принялся через переводчицу объяснять английскому писателю, что он еще не до конца изучил советский народ, что Советская власть для него — родная мать и что «опасная чепуха» это не чепуха, а священные реликвии и тому подобное...

Тем временем Горький, восхищенно поведив головой, посмотрел на вождя, стоявшего с ним рядом.

— Ирландский черт, не правда ли?!

Сталин снисходительно улыбнулся в усы и тихо ответил:

— Черчилль определил его по-другому.

— Любопытно: как же?

— «Престарелый скоморох».

Лицо у Алексея Максимовича вытянулось.

В глазах Иосифа Виссарионовича шевельнулся «бесенок».

— Но это не я сказал — Черчилль.

— А... вы?

— Я считаю, что визит Бернарда Шоу в Советский Союз имеет большое значение. Поэтому, прошу вас, уделите этому светочу прогресса максимальное внимание.

Англичанин в другом конце террасы вскричал: — Хорошо! Согласен!.. Дайте мне закончить!.. — Он направился к вождю, подняв выше головы наполовину расплескавшийся бокал. В метре от него Бернард Шоу остановился. — Вы, — сказал писатель, — по нашим английским меркам, — лорд-протектор России! Но живете, как я успел заметить, в трех комнатах со всей семьей. — «Ирландский престарелый скоморох с чертовщинкой» резко крутанулся на каблуках от вождя ко всем присутствующим и провозгласил: — За скромность вашего великого кормчего Сталина!

Члены Политбюро, поставив бокалы, зааплодировали, Бернард Шоу тоже.

Горький замешкался: то ли сначала выпить, а потом аплодировать, то ли наоборот?

Поймав на себе скошенный взгляд Сталина, он наконец, как и все, поставил неопорожненный бокал на стол и присоединился к в меру сдержанным, но не смолкающим хлопкам...

На лице вождя не было ни радости, ни самодовольства, он просто молчал и воспринимал происходящее как должное. Сталин не поднимал руки и не просил прекратить аплодисменты, он смотрел на всех откуда-то из глубины прищуренных глаз и, казалось, ждал, кто первым перестанет ему аплодировать...

Никто из присутствующих на это не решался, негромкая овация узкого круга лиц не стихала...

* * *

На Украине продолжал свирепствовать голод — истощенные люди, со вспухшими животами и огромными запавшими глазницами, ели червей, навоз, подошвы сапог и трупы умерших...

По дорогам страны, в поисках куска хлеба, скитались тысячи осиротевших беспризорных детей... А на восток все шли и шли длинные составы с вагонами-телятниками, сплошь набитые высылаемым «вредным элементом» — «кулачем» и «подкулачниками»...

Один из таких товарников с «деревенской контрреволюцией» увидел в пути Горький. Железной дорогой он вместе с Бернардом Шоу отправился в поездку по стране, чтобы показать «неистовому ирландцу» размах и масштабы социалистических преобразований. Их спецпоезд стоял, и товарняк медленно проплывал мимо.

Писатель подался к стеклу и стал неотрывно вглядываться в мрачные, тусклые, потерянные лица, безучастно вззирающие на волю из-за больших щелей между досками в своих вагонах для скота. На площадках каждого стояли охранники с оружием.

За спиной Алексея Максимовича, в глубине его салон-вагона — с кроватью, с обеденным столом, со стульями, с ковром посередине, со столом письменным и с тремя кожаными креслами — на кожаном диване притихше сидела миловидная переводчица... Из туалетной комнаты, с душем и умывальником, вышел очень довольный Бернард Шоу.

— В Англии у меня никогда не было такого отличного «стула», как в стране Советов! — весело объявил «неистовый ирландец». — Вот что значит напитаться атмосферой социалистического оптимизма! — И сам же засмеялся булькающими хрипловатыми звуками. — Переводите, переводите! — приказал он переводчице, которая от удивления округлила глаза. — Такова ваша профессия — повторять слова старых маразматиков!

Горький, выслушав перевод, покачал со слабой улыбкой головой и закрыл на окне шторы.

Шоу сразу заинтересовался:

— Что это вы там от меня скрываете? — И раздвинул ее снова.

В абсолютном молчании он уставился на проезжающий состав со странными полуплодыми... Наконец спросил:

— Кто это?

— Вредители...— пояснил через переводчицу Алексей Максимович.— Эти люди с бешеной энергией сопротивлялись коллективизации. Кулаки.

— Они что, не понимают, что Советская власть хочет им блага?

— Зоологический инстинкт крестьянской массы не подвластен никаким доводам разума, уважаемый коллега.

— А куда их везут?

— В Сибирь. Им там предоставят новые, но трудные земли для работы.

— То есть свои накопительские, эксплуататорские рефлексы эти люди должны изжить тяжелым трудом?

— Абсолютно верно.

Старик лукаво сощурился:

— Но что... если они и там станут богатеями?

Горький в ответ улыбнулся:

— Россия большая. Пошлют дальше.

— А они — и на другом месте в кулаков превратятся. Что тогда?.. Не придется ли вам их, в конце концов, переселить за океан — в Америку?..— И опять захохотал. Снова хрипло, с бульканьем, порой даже с подвизгиванием — и теперь надолго...

Его смех никак не вязался с сотнями и сотнями проплывающих за окном спецвагона лиц, отрешенно и недвижимо смотрящих сквозь Горького и Шоу в какое-то невидимое пространство.

Состав все тянулся и тянулся... И, словно в дурном сне, бесконечно...

Г Л А В А Ш Е С Т А Я
ПРОЗРЕНИЕ



МАКСИМ ВОШЕЛ В ПРИЕМНУЮ КАБИНЕТА отца и увидел, что Ягода просматривает поступившие письма и при этом о чем-то кокетничает с его супругой.

При появлении сына писателя оба резко замолчали, с их лиц сползли улыбки.

— Простите, — сказал неприязненно младший Пешков, — но в отсутствие Петра Петровича корреспонденцией занимаюсь я.

Начальник НКВД безмятежно улыбнулся и бросил взгляд на замкнувшуюся в напряженном молчании Надю.

— Вот как! А я полагал, что вы с супругой одно целое. А где же сам товарищ Крючков?

Сын писателя, как бы не замечая присутствия жены, ответил:

— Он лечится за границей. — И, приблизившись к Ягоде, молча забрал из его рук вскрытый конверт, спрятал все письма в ящик письменного стола и демонстративно закрыл его на ключик.

По лицу шефа ГПУ скользнула усмешка:

— Ах, да, я запамятовал, Петр Петрович в Карловых Варах. Но теперь я спокоен: у Алексея Максимовича появился еще один надежный помощник.

— Вы что хотели? — сухо спросил его Максим, встав спиной к Наде.

— Собственно, ничего особенного. Дожидаюсь вашего отца.

— Он недавно звонил и передал, что не знает, когда будет.

— Если я верно понимаю, вы меня выдворяете?

Сын писателя неопределенно подернул плечами.

Ягода преувеличенно печально вздохнул и, опять чему-то усмехнувшись, без единого слова покинул приемную.

Максим тотчас развернулся к жене, губы его дрожали:

— Почему ты позволяешь ему рыться в бумагах?

— А что такого? — спокойно отозвалась Надя. — Если не доверять ему, то кому же?

Муж взял раскрытую папку, завязал на ней те-семки и вдруг, в раздражении, сильно швырнул ее об стол...

* * *

На Малой Никитской рабочие в спецовках за-ливали бульжную мостовую асфальтом.

Выходя из дома, шеф ГПУ нос к носу столкнулся в Алексеем Максимовичем. Он наголо остригся и был в тубетейке и в костюме.

— Что вы себе позволяете?!.. — сразу спросил Ягodu писатель. Его глаза гневно засверкали. — Вот!.. — Он ткнул начальника НКВД в грудь газетой, свернутой трубочкой. — Мало, что вы осудили безвинных людей, и мало, что их теперь расстреляли, вы додумались оповестить об этом еще и весь мир!

Под напором Горького шеф ГПУ невольно по-пятился, его спина наткнулась на закрытые двери. Приходя в себя, он вытянул шею из застегнутого

воротничка гимнастерки и покрутил ею, как обиженный гусак.

— Не понимаю... что вас больше не устраивает: то, что мы опубликовали, или...

— Все! — воскликнул Алексей Максимович. — И в первую голову ваши бездарные действия по коллективизации! Надо было сначала наладить колхозы, а уж после выселять кулаков! А вы все только разорили и теперь нашли 48 «козлов отпущения», которые якобы и организовали голод! 48 человек — и почти половина страны, кто этому поверит?!

— Но... они действительно виновны. Я могу вам предоставить все материалы следствия...

Горький в отчаянии махнул на Ягоду рукой и показал, чтобы он отошел с дороги. Тот отступил в сторону, писатель распахнул дверь и, шагнув в дом, с силой захлопнул ее за собой. Тут же он выглянул наружу, зло сказал:

— Можете передать все эти мои слова товарищу Сталину! — И исчез обратно.

Начальник НКВД ошарашенно постоял, затем сошел со ступенек к своей черной служебной машине...

Довольно скоро «Правда» напечатала статью Иосифа Сталина «Головокружение от успехов». Неизвестно, явилось ли причиной ее появления возмущение Горького расстрелом 48-ми «организаторов голода», но в передовице центрального большевистского органа, которая воспринималась как руководство к действию, вождь недвусмысленно осудил перегибы коллективизации...

* * *

Максим печатал письмо под диктовку отца:
— «В Прокуратуру СССР, от Горького...»

Алексей Максимович, наговаривая текст, одновременно разбирал в своем кабинете ящики письменного стола.— По делу бывшего красного партизана из Орловской области А. Авдюшина... которое расследовал по моей просьбе уполномоченный «Крестьянской газетъ» т. Федотов И.Е... мне стало ясно...» Господи, сколько ненужного хлама! — Писатель отнес в камин и поджег там гору скомканных бумаг.— «Стало ясно,— продолжил он наговаривать, вернувшись к столу: — налицо...»

— После «ясно» — две точки? — спросил сын.

— Да. «Налицо самое страшное — нарушение советской законности... Безответственные люди на местах пригибают ее к своим нечистым интересам... и допускают великие гадости... А. Авдюшин необоснованно зачислен в кулаки...» А где письмо? — вдруг встревоженно спросил Горький.

— Какое?

— От Роллана! То, что в лиловом конверте? Лезало здесь в углу, на дне, и нету.

— Посмотри лучше.

— Да все перерыл!

Максим прекратил печатать.

— А что в нем было?

— Да так. Оно сугубо личное... Ничего не пойму! Ты не брал?

— Да ты что? Зачем оно мне?

— Но кроме тебя и Петра Петровича в мое отсутствие в кабинет никто не заходит. Крючков лежит на водах, Марфа и Дарья, если бы напроказничали они,— в Крыму с бабкой; а письмо я видел вчера... Куда ж оно подевалось?

— Ну откуда мне знать?! — вдруг как-то мучительно вскричал сын.

Отец посмотрел на него исподлобья, затем махнул рукой:

— Ладно, бог с ним. Может, еще найдется... На чем мы там остановились?

— Я закончил: «допускают великие гадости».

Алексей Максимович, размашисто заходив от стены к стене, вспомнил последующую фразу:

— «А. Авдюшин необоснованно зачислен в кулаки и водворен в исправительно-трудовой лагерь... Сие надо срочно исправить, ибо полагаю, что там не один такой случай... Прошу без промедления пересмотреть дело... реабилитировать бывшего красного партизана и вернуть в семью...» — Горький вдруг застыл у окна, глядя вниз во дворик дома.

Там комендант дома Кошенков пытался безуспешно отогнать от особняка каких-то оборванных грязных детей.

Писатель сказал Максиму:

— На сегодня с письмами все.— И широким шагом покинул кабинет...

* * *

Появившись на пороге дома, он крикнул Кошенкову:

— Что за дети и почему вы их гоните?

Комендант обернулся и досадливо хлопнул себя руками по бокам:

— Увидели все-таки! Да беспризорники это, шпана!

Горький спустился со ступенек и подошел к ребятам. Их было шестеро, от девяти до двенадцати лет. Все босые и чумазые.

— Вы что хотите?

У жожака стайки было оцарапанное лицо, ступня правой ноги в крови. Он выступил вперед, смело заявил:

- Мы пришли к Горькому!
- Зачем он вам?
- Пусть поможет!
- В чем, интересно?
- Пошамать даст.
- Правильно!.. — загалдели остальные.
- Он богатенький...
- Этот Горький, говорят, всем помогает...

Пусть пожрать даст!

- А кто говорит?
- Все, — ответил вожак. — В газетах пишут. Ты давай зови лучше Горького!

— Я Горький и есть.

Детвора на время притихла. Один из них с сомнением проговорил:

— А разве он лысый? И потом нам сказали, он в тюбетейке.

— Я не лысый, я постригся. А тюбетейка дома. Вы где ночуете?

— А в котлах, где асфальт варят! Там тепло.

Писатель посмотрел на вожака:

— Что с ногой?

— Так, стеклом поранил... Ты похавать дашь?

— Дам, — ответил Алексей Максимович, — обязательно. Но сначала вы мне кое-что расскажите.

— Ладно! — согласился предводитель. — Но тогда и на дорогу бы чего.

— Чего?

— А по двадцатке?.. Не жалко?

— Я тебе дам двадцатку! — не выдержал стоявший позади Горького хмурый комендант. — Ишь, наглецы какие! Еще и двадцатку ему!

Писатель, не обращая на него внимания, сказал:

— Дам больше — по пятьдесят рублей каждому, но при условии, что согласитесь пойти в детский дом.

— Э, нет!..—Беспризорники попятились.— Мы тогда и хавать не станем...

— Были мы там, хрен им!..

— И на Кавказ еще ехать!..

— А зачем туда?

— Путешествие!

— Ясно. Значит, не договоримся?

Вожак пообещал:

— Вот вернемся — тогда устраивай.

— Слово?

— Сукой буду!

Горький покачал головой и, повернувшись к Кошенкову, строго наказал:

— Как следует накормить, а после привести ко мне.— Он повернулся к ребятам со слабой улыбкой.— В самом деле, вначале пошамайте, а потом уж поговорим.

— Пошли, шпана,— мрачно сказал комендант беспризорникам и повел их в пристройку с подсобными помещениями.

Алексей Максимович долго смотрел вслед оборванным грязным детям какими-то потерянными глазами и сильно стиснув желваки...

* * *

Максим вошел в свою часть дома, где он проживал с супругой, и услышал, что она моется под душем в ванной. Приблизившись к двери, он громко спросил ее:

— Ты что... куда-то собираешься?

— Да! — сквозь шум воды крикнула Надя.— К подруге!

Муж отошел на середину комнаты и рассеянно постоял.

Взгляд его упал на наплечную сумочку жены, что лежала на тумбочке.

Повинуясь какому-то безотчетному чувству, он вдруг взял ее в руки, раскрыл и... достал оттуда лиловый конверт с письмом Романа Роллана. Это было оно — на нем значились соответствующие адресные данные.

Максим защелкнул сумочку, поставил обратно, быстро прошел к постели и сунул конверт глубоко под матрац.

Затем снова встал посредине комнаты и замер. Приподняв руку, он увидел, что у него мелко, мелко дрожат пальцы. Не зная, что дальше делать, Максим вновь застыл и принялся долго и нервно жевать нижнюю губу...

Надя вышла полуголая, с полотенцем, повязанным на бедра. У нее было очень красивое тело.

— Ты где?.. — спросила она, посмотрев по сто-
ронам.— Макс?..— И недоуменно подернула плечом.

В комнате никого не было...

* * *

Максим стоял на улице, спрятавшись за высоким кустарником.

С его точки просматривался выход из дома на Малой Никитской и перспектива двух переулков.

Надя вышла хорошо одетая, причесанная, с сумочкой через печо, но какая-то растерянная. Она несколько раз огляделась вокруг и направилась пешком по одному из переулков.

Максим подождал, пока Надя скроется из виду, и поспешно последовал за ней, стараясь быть незамеченным.

Жена свернула в новый переулок и, словно что-то почувствовав, обернулась.

Муж вовремя успел нырнуть в подъезд.

Когда он снова выглянул, то увидел, что она садится в черную машину, поджидавшую ее на обочине. Водитель, предупредительно открывший перед ней дверцу, захлопнул ее обратно и вновь сел за руль.

Автомобиль развернулся и поехал обратно в направлении Максима. Он опять отпрянул в парадную.

В проезжающей машине муж различил рядом с Надей Ягоду...

* * *

Супруга вернулась довольно скоро и застала Максима лежащим на постели одетым, с книгой в руках. На ее появление он никак не отреагировал.

— Ну, вот...— с легким раздражением заметила Надя.— Опять улегся в брюках! Тебе хоть кол на голове теши!

Муж лениво и натужно зевнул, отложил книгу и, поднявшись с кровати, встал к жене спиной у окна.

— Ну, как?..— спросил он без интонации.

— Что?

— Подруга!

Жена сбросила с ног туфли и повесила на крючок сумочку.

— Не застала я ее. Укатила на дачу.

— Могла бы и позвонить.

— Могла,— согласилась Надя. И поинтересовалась: — Есть что-нибудь будешь?

— Сыт,— ответил Максим. И, резко обернувшись, добавил: — По горло!

Супруга, собравшись снять с себя платье, застыла.

— Не поняла!..

— Твоим враньем сыт... И блядством!
— Ты что, с ума сошел?
— Сука! Потаскуха!..— в истерике закричал муж.— Да еще и шпионка в собственном доме!.. Ты что, совсем забылась — где и с кем живешь?!..— Его всего трясло.

Жена, как подкошенная, опустилась на постель.

Максим с гримасой отвращения опять от нее отвернулся.

— Так это ты...— произнесла Надя упавшим голосом,— вытащил у меня письмо?

— Я, сучка, я!..— Муж повернулся к ней со страшным прыгающим лицом.— И благодари Бога, что не отец, он бы тебя сразу коленом!.. Под твой вертлявый зад, проститутка!

Супруга вдруг ударила кулачком по колену и закричала:

— Не смей!.. Как ты можешь меня оскорблять?!..

— А кто крал письмо?!.. Кто строил блядские глазки Ягоде?! Кто сел к нему в машину?!.. Я?!

— Негодяй!..— Надя бросилась на постель и затряслась в рыданиях.— Я мать твоих детей, истерик... Я... Ты... Я тебе никогда не прощу этого!..

У Максима была та же слабость, что и у отца — он тотчас размякал при виде женских слез. И теперь он тоже, ослабнув волей, сел на стул и, уронив на грудь голову, вдруг, как и его жена, безутешно расплакался, громко всхлипывая и глотая крупные слезы.

Супруга, увидев это, бросилась к ногам мужа на пол и, обхватив его за колени, быстро заговорила:

— Нет, Макс, нет... Как ты мог думать? Он мерзкий, он противный... Он жид, Макс, жид... Ты

знаешь, как я к ним отношусь. Ты у меня единственный... Один!.. Как тебе могло прийти в голову?..

— А письмо?..— судорожно дергаясь грудью, спросил муж.— Зачем ты его взяла?..

— Я дура... Я большая дура, и я поверила. Он сказал, что это просьба самого Сталина...

— Какая?

— Ему надо знать, о чем пишет Роллан. Надо, чтобы обезопасить твоего отца от недругов... Их много, ты знаешь... А я и сейчас не знаю, может, это и правда?.. Макс?..

— Нет! — опять вскричал Максим.— Нет!.. Не смей больше такого делать! И к Ягоде... Не смей подходить к нему теперь и на версту! Ты слышишь?.. Я разобью его иезуитскую морду!..

— Да, да, хорошо... Я клянусь! Я все... Я в первый и в последний раз, ты веришь?..— Эта сцена чем-то напоминала отношения Алексея Максимовича и Марии Игнатьевны.

Муж не успел ответить, в дверь постучали. Супруги вмиг притихли.

— Вероятно, отец...— шепотом сказала Надя.

Максим жестом указал в сторону ванной, оба встали, прошли туда на цыпочках и быстро ополоснули и вытерли полотенцами лица.

Стук в дверь повторился продолжительнее.

— Да, да!..— крикнул Максим бодрым тоном.— Момент!..— Он показал Наде, чтобы она оставалась в ванной, и, выходя в комнату, закрыл ее там.

На пороге действительно предстал Горький. Не заходя, он торжественно воздел над головой лиловый конверт:

— Нашелся!.. Все перерыл и нашел! Дотошный я старик, правда?

— И слава Богу.— Сын вяло улыбнулся.

Отец взгляделся в него внимательней:

— А чего это ты... не такой какой-то?

— Устал... И голова что-то трещит.

— А... ну, отдыхай.— Алексей Максимович отступил обратно в коридор.— Не стану мешать, отдыхай.— И закрыл за собой двери.

Максим отошел к постели и сел на нее, свесив между колен руки.

Надя, выйдя из ванной, как-то со стороны посмотрела на мужа и опустилась рядом. Некоторое время они молчали. Потом супруга тихо произнесла:

— Спасибо.

Максим лег на бок, подобрал под себя, как ребенок, ноги калачиком и устался куда-то в пространство. Жена, выждав паузу, подвинулась ближе, нерешительно приподняла руку, затем стала гладить ему лицо кончиками пальцев. Муж закрыл глаза. Надя улыбнулась и вкрадчивыми движениями принялась расстегивать у него на животе пуговицы рубашки. Он по-прежнему не двигался и не сопротивлялся...

* * *

В Москве легла зима, насыпав на крыши домов толстые и тяжелые покровы снега.

Во двор своего особняка вышел Горький.

Дворник вместе с семьей — женой и двумя детьми-подростками, наводил там порядок. Сам он греб широкой лопатой снег, супруга с ребятами грузили его в большие сани с коробом и вывозили на улицу. Алексей Максимович, заметив торчащую в сугробе свободную лопату, взял-ее в руки и с удовольствием принялся ею орудовать, помогая дворнику.

Однако из дома тотчас выскочили Крючков и комендант Кошенков.

— Вы что, Алексей Максимович!..— закричали они наперебой.

— Простудитесь!..

— Прекратите сейчас же!..

— Отстаньте,— бросил им писатель.

— Надо звонить врачу,— сказал Петр Петрович коменданту.

— Нет, в Кремль! — воскликнул тот.

Горький выпрямился, опершись на лопату.

— Вы же видите, я все делаю спокойно и размеренно. Я не увлекаюсь. В конце концов, хоть иногда можно поразмять мускулы?

— А сляжете, с кого станут спрашивать? — возразил секретарь.

А Кошенков потянул из рук Алексея Максимовича лопату:

— Отдайте!..

— Нет!..— Писатель так резко вырвал ее, что, упав, сел в сугроб..— Уйдите! — закричал он вдруг оттуда.— Я не маленький!.. Сколько можно мешать мне жить и чувствовать?!

И комендант, и Петр Петрович онемели — столько в его голосе было отчаяния.

Горький попытался встать, Кошенков тотчас помог ему подняться.

— Хорошо, ладно,— согласился он с Алексеем Максимовичем, как с малым дитя.— Но пять минут, не больше.

— И будем за вами наблюдать,— прибавил Крючков.

Горький с досадой швырнул им под ноги лопату и пошел от них прочь, за дом.

Там он увидел на крыше пристройки с подсобными помещениями незнакомого молодого человека, который энергично, с азартом сбрасывал снег вниз.

— Вы кто такой? — крикнул ему Алексей Максимович.

— Я-то?.. Родственник вашего дворника, учитель из-под Москвы.

— Учитель? — переспросил писатель. — А почему на крыше?

— Так подзаработать хочу!.. Пока каникулы...

— А что — учительством на жизнь не хватает?

Молодой человек рассмеялся:

— Хватает!.. Если штаны ту же затягивать! Отойдите-ка, а то, ненароком, на голову...

Горький отступил от крыши на несколько шагов, неподалеку от него плюхнулась на землю большая куча слежавшегося снега. Постояв и понаблюдав еще за работой учителя, он поинтересовался:

— А вам известно, кто я?

— Кто ж вас не знает: пролетарский писатель, товарищ Горький.. Декабрист.

— Не понял! Сейчас январь, почему декабрист?

— Я в том смысле, что «страшно далеки они от народа».

Писатель нахмурился.

— Вы имеете в виду, что я, как и «декабристы», ничего об этой жизни не ведаю?

— Ну... ничего — это слишком. А вот «почти ничего» — наверняка... Своего «чижа в золотой клетке» вспоминаете?

Алексей Максимович опешил, но тут же вскипел:

— Да как вы смеете?..

— А почему — нет? — невозмутимо откликнулся молодой человек. — Вы всех и всюду сами призываете к правде.

— Ну-ка, сойдите вниз!

- Зачем?
- Я вижу, вы вообразили себя «соколом», потому что на крыше!
- До этого мне, пожалуй, далековато.
- Если вы не сойдете, я буду считать вас трусом!
- Отчего же?
- Я намерен с вами подробно побеседовать.
- Но у меня работа.
- Я прошу вас.
- Странный вы человек... Для чего это вам?
- Если вас беспокоит не только собственная судьба, но и участь остальных учителей, вы спуститесь.

Родственник дворника вздохнул, подошел к краю крыши и прыгнул вниз, в огромный сугроб...

* * *

В меру взволнованный, Горький ходил по кабинету Сталина. Ему хотелось ходить шире, размахистой, но его сдерживал внимательный взгляд вождя, который спокойно сидел за письменным столом, отвалившись на спинку кресла с набалдашниками.

— ...Дети, это наш привилегированный класс, то есть они должны им стать, ибо эти цветы жизни — будущее государства... — В голосе Алексея Максимовича слышались одновременно боль и бодрость. — Но не менее мы обязаны беспокоиться и положением тех, кто их воспитывает — учительством. Что можно ожидать от нашего учителя, какой самоотдачи, если при крайне низкой зарплате он вынужден перегружать себя уроками и искать побочных заработков?

Брови Сталина приподнялись.

— Да, да, товарищ Сталин! — Горький остановился напротив. — После «откровений» этого «учителя с крыши», я запросил дополнительные материалы в наркомате просвещения, вызвал к себе ряд других педагогов и в результате всех этих обследований... — Алексей Максимович умолк, ибо вождь нахмуренно снял трубку с телефонного аппарата.

— Бубнова мне... — тихо сказал он. — Наркома... — И, не глядя на Горького, немного подождал. — Как поживаете, товарищ Бубнов? — спросил он, не повышая голоса. — Мое здоровье, товарищ Бубнов, — ответил он, вероятно, на вопрос министра, — сейчас целиком зависит от вас... Есть такое мнение, что советские учителя плохо живут... Странно, генсеку об этом известно, а нарком просвещения не знает. Как думаете, вы на своем месте, товарищ Бубнов?.. Нет, вы как следует подумайте... Тогда сделайте так, чтобы наши «инженеры детских душ» жили не хуже всех других инженеров... — Сталин поднял к писателю голову. — На сколько, по-вашему, надо повесить?

— Ну... хотя бы на треть.

— Я уверен, — произнес вождь в трубку, — наполовину — это минимум... Мое дело предложить, товарищ Бубнов, думать — должны вы... Посоветовать могу одно: поменяться местами, хотите?.. Напрасно. Тогда думайте. Но не больше двух дней. — И замкнул аппарат. — Что еще? — спросил он Горького.

— Еще... я крайне озабочен положением наших писателей.

— А в чем вопрос?

Алексей Максимович достал из внутреннего

кармана пиджака лист бумаги, сложенный пополам.

— Вот...— Он положил его на край стола.— Здесь ряд авторских имен и их произведения, которые по разным мотивам не желают публиковать.

— Кто?

— Перестраховщики от цензуры. Я все это читал и нахожу вполне приемлемым.

Взяв список, Сталин переломил его еще раз и спрятал в нагрудный карман кителя.

— Напечатаем,— сказал он.— Что еще беспокоит?

— Как объяснить получше...— Горький опять заходил.— Писатели без присмотра. Особенно молодые... И материально им сложно, и творчески. У меня есть идея, товарищ Сталин,— объединить пишущую братию в единый союз. Он поможет им и в быту, и более профессионально владеть пером. Прошу вашего совета.— Писатель теперь сел в черное кожаное кресло и закурил.

Вождь взял папиросу тоже — из своей любимой пачки «Герцеговина флор». Затянувшись, он некоторое время размышлял.

— Мне нравится ваша идея,— наконец сказал он.— Нам хватает беспризорников на дорогах, закончим с этим для начала в литературе. Партия должна взять заботу о развитии талантов и о расцвете нашей социалистической культуры в свои крепкие руки.

Горький скованно пошутил:

— Но так, чтобы и не задушить, товарищ Сталин.

— А мы во главе поставим нашего патриарха! Пусть все решает, как ему виднее.

— Однако... я беспартийный. Вы не запомнили?

— За одного Горького — можно отдать любую половину партии! Согласны?

— Что ж... «назвался груздем, полезай в кузов»... Но только без официальной должности.

— Не всякий большевик так ответит! — похвалил вождь. — Какие еще проблемы?

— Да я уж и так злоупотребляю... Не совсем удобно...

— Говорите, говорите. Я ведь тоже просить вас собираюсь.

— О чем же?

— Об этом позже. Что вы еще хотите?

— Каменев... — не очень уверенно произнес Алексей Максимович. — Это интеллигентнейший, чистейшей души человек... Простите, но я не могу поверить, что он в чем-то замешан. Каменев — и какая-либо интрига, вещи несовместимые. Я бок о бок трудился с ним недавно в издательстве «Академия», знал его еще до революции, и позже... Нет, это какое-то недоразумение, товарищ Сталин... Наконец, я просто вас очень прошу... прошу мне поверить... — Горький проговорил все это, глядя в пол, и, закончив, остался сидеть согнувшись.

Он не видел, что и Сталин на него не смотрит и тоже сидит, опустив голову, изучая свои сапоги под столом. Возникла продолжительная пауза.

— Хорошо, — вдруг решил вождь. — Если за товарища Льва Каменева ручается сам пролетарский писатель, у меня может быть только один ответ: мы его освободим.

— Тогда, может, и о вытекающем из этого...

— А что именно?

— Эта пьеса... «Сын наркома». Она продолжает идти в одном из театров и явно дискредитирует Льва Борисовича... — Писатель осекся, ибо

вождь впервые за все время неодобрительно взглянул на него.

— Доброта тоже хороша в меру, товарищ Горький,— сказал он и сильно раздавил в пепельнице папиросу.— Я пьесу читал. Пьеса плохая. Но она задевает не товарища Каменева, а его сына... как его?..

— Лютика,— негромко подсказал Алексей Максимович.

— Да,— подтвердил Сталин,— «аленький цветочек».— Он поднялся и, в свою очередь, заходил по кабинету. Но размеренно и с остановками.— Вы, надеюсь, не забыли, что товарищ Каменев женат на сестре Троцкого? Но и это не большой грех, если бы товарищ Лютик не был копией своего сбежавшего дяди.

Горький напряженно молчал.

— Он еще «сопляк», но, как и дядя, широко идет по пути, который называется буржуазным разложением. Попойки, пользование положением, молодые актрисы... многие мои товарищи по партии возмущаются. Вы можете мне поручиться за этот «аленький цветочек», как за его отца?

— Н... нет,— притихше отозвался писатель.— Не смогу.

— Мне нравится такой честный ответ. Тогда скажите об этом самому Каменеву.

— Да, я обещаю... Это непременно.

— И еще передайте: почему он всегда попадает в орбиту товарища Зиновьева и, как правило, идет у него на поводу? Намекните, что такое поведение недостойно взрослого мужчины и к хорошему не приведет. Или рано, или позже.

Алексей Максимович согласно мотнул головой.

Вождь неторопливо приблизился к столу и, не садясь, опять снял трубку.

— Мне директора театра, в котором идет пьеса «Сын наркома»...— Ожидая, Сталин повернулся к Горькому и вдруг озорно подмигнул ему.— Товарищ директор?.. Это Сталин говорит. Вы почему допускаете к репертуару недоброкачественный материал?.. «Сын наркома»... Неудачное название, во-первых. Во-вторых, чем вы руководствуетесь, когда утверждаете постановку?.. Злободневность — неплохо, но анекдот и я могу написать. Может, вы и мою пьесу примете?.. Что значит, «с удовольствием»? Вас что больше интересует: карьера или высокохудожественность произведений?.. Какой такой режиссер? Директор — это уполномоченный партии и советского государства. И спрашивать мы станем за все с вас... Немедленно не надо, снимите через десять дней.— Вождь нажал на рычаг аппарата и вновь повернулся к писателю.— Что еще надо?

— Все!..— Горький порывисто поднялся из кресла и замахал руками.— Больше ничего, огромнейшее вам спасибо!..— И, прощаясь, протянул Сталину руку.

Тот пожал ее, но не отпустил.

— Вы забыли, что и у меня есть просьба.

— Ах, да... простите. Так какая же?

— Вы получили из-за границы приглашение вступить в международный союз писателей — так называемых демократов?

Алексей Максимович сразу насторожился:

— Получил.

— Каково ваше решение?

Писатель наклонил голову и заколебался с ответом. Он попытался высвободить ладонь, но вождь ее крепко держал.

— А ваше мнение?...— наконец произнес Горький.

— Политбюро против этого. Отдельные члены союза, в который вас заманивают, подписали антисоветское обращение в Лигу защиты прав человека.

— Вот как! Это новость... Чем же они недовольны?

— В СССР, якобы, происходят несправедливые казни.

Алексей Максимович снова потупился, продолжая оставлять руку в цепких пальцах Сталина.

— Но... у нас и вправду бывают с этим переборы.— Он вскинул на вождя страдающие глаза.— Мы уже достаточно сильны, товарищ Сталин, и могли бы быть гораздо гуманнее.

— Разве я не доказал это вам сейчас с Каменевым? Но речь идет не столько о наших недостатках, сколько о защите достоинства пролетарского государства от нападков мировой буржуазии. Я почему-то твердо убежден, что Горький вступится за честь своей страны и поставит клеветников на место.

Писатель, избегая смотреть на вождя, молчал, а тот все не отпускал его руку...

Сталин в Горьком не ошибся: он ответил международному союзу писателей-демократов отказом, более того,— написал, что вина расстрелянных в СССР людей представляется ему несомненной... У Алексея Максимовича одно легкое уже не действовало, в другом шел разрушительный процесс. Каждые два года, а то и чаще, у него начиналось кровохарканье. У некоторых, прежде близких ему писателей, которые все дальше отходили от Горького: Алексея Толстого, Тихонова, Булгакова, Сергеева-Ценского, Шишкова, Афиноге-

нова, Всеволода Иванова... являлось даже опасение — не есть ли застарелый легочный туберкулез причиной некоторых перерождений его мозга?... И все же представляется, что голова у писателя работала исправно, перерождение начинало касаться более важного «органа» — души Алексея Максимовича. Не исключено, что в глубине своей «заболевшей души» он чувствовал всю творящуюся неправду в псевдопролетарском государстве, но «удавка» «глобальных перемен», положение «патриарха» и «глашатая» новых идей, на которые с надеждой взирают массы, «душила» его сильнее, чем собственный кашель. Под напором ежедневных событий и невозможностью уже отступить перед ними Горький договорился, примерно, до того, что в свое время Крупская: «Робинзон Крузо» он стал считать империалистическим романом, а, продолжая осуществлять свою идею фикс еще со времен «Всемирной литературы», начал призывать сто писателей наново переписать все мировые книги, а иногда две-три соединять в одну, чтобы мировой пролетариат учился по ним делать мировую революцию. При этом каждая серия должна была, по его мнению, кончаться устными легендами о Ленине, что было бы особенно полезно красноармейцам и краснофлотцам... Мы все, конечно, крепки «задним умом», но все же сердце в страхе и в изумлении сжимается: какое опасное и непостижимое существо человек — он способен в любую минуту упасть и выиситься...

* * *

В бывшем Нижнем Новгороде на митинге вдохновенно выступал Андрей Жданов:

— ...Экономический кризис, который сейчас поразил страны наших врагов, показывает, что капитализм уже дышит на ладан. Их кризис — настоящий наш друг и союзник, пусть он растет и крепнет и добивает их окончательно. Наша же страна Советов переживает сказочные годы! Однако нам придется еще сильно попотеть, чтобы сбылось намеченное. Но оно сбудется! Тому поручкой ваш великий земляк Максим Горький! С открытым забралом он беспощадно наносит разящие удары по нашим врагам, по всему, что мешает сотворению нового мира. «Нам нужно драться,— говорит он,— и мы должны бить лентяев и скептиков. Мы должны заразить молодежь бодростью! А потому не надо бояться дерзновенных безумцев, которые хотят, например, не отдавать ни одной капли пресной воды вашей любимой Волги — в море и всю ее пустить на орошение засушливых земель. На разгороженной земле советские люди должны показать чудеса! Сделать ее цветущим садом! Новый человек социалистического «государства равных» идет и придет к коммунизму, а коммунизм — это красота!.. Недавно Максим Горький воскликнул: «Растем, друзья, растем! Весело, черт побери, жить в наше время!»...

Сам Алексей Максимович приболел и на торжестве не присутствовал. Недалеко от самодельной трибуны стоял среди множества восторженных людей его сын Максим. Опустив книзу глаза, он, сквозь тела собравшихся, в узкую прореху между ними, вдруг увидел, как чья-то мужская рука, тронув опущенную женскую ладонь, властно взяла ее в свою и погладила по тыльной стороне пальцами. Женская кисть не сопротивлялась.

Максим, из любопытства, приподнялся на носки посмотреть, кто же это?

Там, глядя на оратора, стояли рядом Ягода и его Надя.

Жданов заканчивал:

—...Переименование вашего города, это не просто дань уважения и признание огромных заслуг перед Советской Родиной вашего великого земляка, это не только глубоко символический акт, но и факт реальной нашей жизни — купеческий старый город с дикими нравами безвозвратно уходит в прошлое, рождается новый советский социалистический город — Горький!

Митинг разразился бурной овацией.

Ягода и Надя возделали вверх руки и зааплодировали тоже...

* * *

Максим с женой на заднем сиденье, начальник НКВД подле шофера, возвращаясь в Москву, молча ехали по окраине нового города «Горький» к вокзалу.

Мелькали приземистые дома с палисадниками, дворовые ветхие постройки, подгнившие серые заборы; впереди вилась ухабистая грунтовая дорога...

— Остановитесь! — вдруг требовательно, высоким голосом попросил Максим.

Водитель вопросительно взглянул на шефа, тот согласно кивнул, машина затормозила.

— В чем нужда? — Ягода обернулся к сыну писателя с располагающей улыбкой, но, увидев его напряженное и какое-то отчаявшееся лицо, тут же посерьезнел.

— Я прошу вас выйти вместе со мной, — сказал ему Максим.

- Зачем?
- Нам надо поговорить.
- Ну, так говорите. Тут все свои.
- Нет... Я хочу один на один.

Начальник НКВД обменялся взглядом с насто-
ржившейся Надей, она спросила мужа:

— Ты что надумал?

Тот, как бы не услышав ее, вновь обратился к
Ягоде. Теперь намного резче:

— Вам что, трудно выйти?

Энкавдист натянуто усмехнулся:

— Почему же нет...— Он посмотрел в окно.—
Хотя странное вы выбрали место... Но если уж
очень нужно...

— Да, очень,— подтвердил Максим.— И
именно сейчас.— Он выбрался из автомобиля пер-
вым и подождал, когда вылезет Ягода.

Надя, оставаясь в кабине, увидела, как муж по-
казал ему рукой на покосившийся сарай, стояв-
ший в отдалении; как оба они туда пошли; как, о
чем-то коротко переговорив, скрылись за его рас-
сохшейся дверью, которая держалась на ржавой
пружине и которая долго качалась туда обратно,
пока не встала в прежнее положение.

Шофер сидел неподвижно, точно неодушевлен-
ный предмет, и абсолютно ни на что не реагировал.

Надя же все больше тревожилась и нервни-
чала... Наконец тоже покинула машину...

Войдя в сарай, и, удерживая дверь полуоткры-
той, она обомлела.

В полутьме, на земляном полу, в грязных пуч-
ках соломы и в навозной жиже, без единого слова,
но с тяжелыми сипами и хрипами, возились, пере-
катывая друг друга, Максим и Ягода. Сын писа-
теля пытался придушить начальника НКВД, а тот
не давался.

— Макс!..— Надя бросилась к мужу.— Прекрати сейчас же!.. Макс!..— Она, с неожиданной силой, оттянула его от Ягоды.— Ты что делаешь? Ты с ума сошел!..— И вцепилась в тяжело дышащего супруга, не давая ему подняться.

Энкавэдист отодвинулся подальше на руках и остался сидеть в дерьме.

— У вашего мужа...— проговорил он, переводя дыхание,— плохо с нервами... Ему взбрело в голову, будто я держал вас за руку...

— Держал! — закричал Максим.— Я все видел... Держал, гнида!..

— Тише, тише...— Ягода поднялся и брезгливо поморщился. То ли от его крика, то ли от ошметков навоза, которые он стал обирать с гимнастерки.— Если это и было, то я не помню... Меня, если хотите, переполняли чувства за вашего отца, который, не в пример сыну... Впрочем, что об этом сейчас говорить... Короче, если я это и сделал, то только инстинктивно... по-дружески...

— Да! Да!..— Теперь закричала Надя. Она отпрыгнула от мужа, будто ужаленная.— И я такого не помню! И я!.. Ведь все так могло и быть! Случайно!.. Макс?!..

Максим в бешенстве вскочил:

— Лжешь! Он тебя гладил!.. Он гладил пальцами твою руку!.. Вы оба нагло лжете!.. Оба!..

— Ты больной!.. Больной!..— Надя истерически затопала ногами.— У тебя большое воображение!.. Ты болен!..

— Молчи, сука!.. Молчи...— Но сын писателя резко смолк сам, так как жена вдруг дала ему сильную пощечину и со слезами выбежала из сарая.

Максим и Ягода оказались опять один на один, глаза в глаза.

— Запомни... жулик...— ненавистным шепо-

том прошипел сын писателя.— Если ты еще раз приблизишься к моей жене... отец раздавит тебя, как вошь.— И, сильно толкнув дверь, вышел вон.

Начальник НКВД остался стоять посреди хлева очень напуганным. Отброшенная дверь сарая беспрерывно раскачивалась на ржавой скрипучей пружине, и лицо Ягоды то белело, то темнело... как высвечивался и мерк на его груди орден Боевого Красного Знамени, перепачканный в навозе...

* * *

В Германии уже несколько лет как пришел к власти Гитлер, и теперь он быстро набирал силу. Под наркотические речи экзальтированного дуче и бесноватого гипнотизирующего фюрера, по Европе тысячеголовыми толпами вдохновенно маршировал фашизм...

Алексей Максимович, уже давно опасаясь этого народившегося чудовища, надумал окончательно переселиться из Италии в СССР. Он опять выехал в Сорренто, чтобы забрать оттуда все свои архивы и документы...

Но «все» забрать не получилось — и сейчас Горький нервно перебирал, перекладывал с места на место огромный ворох бумаг на письменном столе в рабочем кабинете виллы «Масса». За его спиной в раскрытом окне просматривался вдали Везувий.

— Что делать?.. — растерянно вопрошал Алексей Максимович. — Куда эту часть архива девать?.. Не везти же ее Сталину?..

В кабинете присутствовали сын писателя, Надя и Ракицкий. Они молчали.

— И здесь оставлять опасно. Этот свихнув-

шийся Муссолини — от него теперь всего ждать можно...

— А что это за бумаги? — вяло поинтересовался Максим. Он сидел, развалившись в кресле и вытянув во всю длину ноги.

— Письма!.. И есть такие — что ого-го! Нет, нельзя их везти, — покачал сам себе головой писатель. — Эти люди сейчас уже и мыслят по другому, и вообще... Попади сей архив к нечестным ловкачам, этим лицам не поздоровится.

Ракицкий любопытствовал:

— Чьи они?

— Разные. — Горький принялся вновь бегло проглядывать рукописные листы. — От эмигрантов... от моих коллег, что приезжали в отпуск в Европу... Вот — Пятаков... Рыков пишет... Красин... Даже Бухарин — жалуется тут мне на тиранию и попрание ленинских принципов... А это мои наброски ответов на некоторые письма... Советы всякие — и такие, что не приведи, Господи, показать их теперь в Советском Союзе... Эти от послов... От посланников немало... Вот — пачка от крупных совслужащих!.. Что делать со всей этой крамольной корреспонденцией? — опять мучительно спросил Алексей Максимович своих близких.

— А ничего! — посоветовал Максим. — Сжечь эту контрреволюцию — и дело с концом! Прямо тут, в твоём вон камине. Или, ещё лучше, на площадке перед домом — устроить фейерверк, по-итальянски.

Отец скосил на него недовольный глаз.

— Сжечь! Таких вот, с фейерверком в голове, слушать, — от истории человечества ничего не останется. Сохранить надо обязательно. Тут, среди «руды», много ценного. Но куда деть? Кому доверить?

После продолжительной паузы Ракицкий раздумчиво произнес:

— Я вижу только двоих, которым можно оставить эти бумаги.

— Ну?..— подтолкнул его писатель.

— Вашего приемного сына Зиновия и Марию Игнатьевну.

— Зиновию отдать,— точно! — сразу поддержал Максим.— Самый нейтральный и, к тому же, предельно честный.

Надя поддакнула мужу:

— Лучшего человека мы не сыщем.

— Честный-то он, конечно, честный,— протянул Ракицкий,— но Зиновий теперь француз и не имеет постоянного адреса.

— Неправда,— не согласился сын писателя,— у него квартира в Париже.

— Пустая, да. А живет он то в Африке, то в Китае, а то и вовсе неизвестно где. Нет, я против, чтобы такой серьезный архив хранился у человека, который сегодня не знает, где он будет завтра.

— А я не доверяю Марии Игнатьевне! — резко заявил Максим и поднялся из кресла.

Отец, взглянув на него из-под очков, спросил:

— Почему?

— Не знаю,— ответил сын.— Не верю, и все. А потом... слишком «жирно» для нее это будет.— И, отворив дверь, покинул кабинет.

Среди оставшихся возникло напряженное молчание. Надя, немного посидев, встала и удалилась тоже.

— Ревнует он вас к ней,— тихо проговорил Ракицкий. И, вздохнув, добавил: — Хотя я не уверен, согласится ли на это сама Мария Игнатьевна.

Горький сказал:

— Через неделю она придет, вот тогда все и решим.— И стал собирать письма обратно в ящик...

* * *

Надя вышла из дома и нагнала мужа на аллее, ведущей за ворота виллы.

— Ты куда... Макс?

— А...— ответил он на ходу и с некоторой досадой.— Искупаться.

— Можно я с тобой?

Максим остановился и с недоверием посмотрел на жену.

— По-моему, в апреле ты еще никогда не заходила в море?

— А сейчас зайду... если ты захочешь.

Он криво усмехнулся и опустил глаза.

— Сколько можно на меня злиться, Макс?.. Я ведь ни в чем не виновата.

— Ладно,— сказал муж.— Давай руку.

— Зачем?

— Побежим вниз, как раньше.

Супруга просияла и, ступив к нему, сама схватила Максима за запястье и первой повлекла за собой.

Оба, набирая скорость и всхлывая от возбуждения, понеслись под гору к сверкающему под солнцем ярко-синему Неаполитанскому заливу...

* * *

Архивы было решено оставить Марии Игнатьевне. Она запаковала их в чемодан и отвезла в Лондон. 8 мая 1933 года Горький с домочадцами сел в Неаполе на пароход «Жан Жорес» и через

Стамбул отплыл в Одессу. Мария Игнатьевна прибыла в Турцию восточным экспрессом, чтобы проститься с писателем... после двух счастливых недель, проведенных уже с Гербертом Уэллсом...

Дул теплый ветер, Алексей Максимович и его третья, так и невенчанная, жена неторопливо прохаживались по набережной Босфора. По одну сторону от пролива просматривался, круто восходящий на холм, Константинополь; по другую — голубые мечети Стамбула. У причала стоял теплоход «Жан Жорес».

— ...Архив в надежном месте, по первому требованию я привезу все бумаги, — говорила Мария Игнатьевна. — Главное, вы там спокойно работайте, и хватит с вас уже общественной деятельности, вы так никогда не закончите «Клима Самгина».

Горький чуть усмехнулся в усы:

— А что он вас так волнует?

— Ну, как же? Роман вы посвятили мне, женщина я или нет?

— В смысле тщеславия?

— Конечно! — Мария Игнатьевна игриво улыбнулась. — Но если серьезно, меня беспокоит, что за последние пять лет вы почти ничего не написали.

Писатель махнул рукой:

— Когда?! Там такой круговорот... — И неожиданно признался: — Знаете, мне почему-то не очень хочется сейчас туда ехать.

— Вот это новость... отчего так?

— Такое там иногда открывается... А впрочем, ладно. Вы вот что... Вы этот архив ни под каким видом в Союз не привозите.

— Не совсем поняла!.. А если вы попросите сами?

— Не привозите! — повторил Алексей Макси-

мович.— Напишу ли письмо или вызову к себе и стану просить вас вернуть бумаги — не верьте. Знайте: значит, к этому меня вынудили обстоятельства и я перед кем-то хитрю.

— Странно все это... — с легкой задумчивостью произнесла женщина.— И загадочно.

— Как раз наоборот — просто: я не хочу умирать подлецом. Так что, не внимайте никаким моим просьбам. Считайте, что архивов нет. Они пропали... Договорились?

— Да.

— Дайте мне слово?

— Даю.

Некоторое время оба шли молча, каждый раздумывая о своем.

— А что Уэллс?... — вдруг, как бы между прочим, поинтересовался Горький.— Видите вы его там... в Лондоне?

— Мельком,— не моргнув глазом ответила Мария Игнатьевна.— Иногда... А что?

— Да так... Пишет все хуже и хуже...— Писатель поморщился.— Надоел он мне.

— Вот как?

— Да! — суровее подтвердил Горький.— И, по моему, совсем выживает из ума: одержим идеей помочь белоэмигрантам вернуться в Союз, чтобы они начали у себя на родине антисоветскую пропаганду. Вы, пожалуйста, книг его мне не посылайте.

— Хорошо,— смиренно пообещала женщина.— Но я и не собиралась.

Алексей Максимович, взглянув на Марию Игнатьевну сбоку, неожиданно остановился и положил ей на плечи руки. Она тут же, как будто ждала этого, порывисто приникла к его груди и, спрятав лицо, затихла. Писатель стал сковано гладить

женщину по волосам, худая рука его легко дрожала... Затем, как бы самому себе, он вдруг с тихим отчаянием проговорил:

— Увидимся ли когда еще?..

Мария Игнатьевна никак не откликнулась, а на глазах у Горького заблестели слезы.

Над их головами летали над Босфором чужие турецкие чайки и своими криками навевали еще большую тоску...

* * *

Оглушительной медью грянул духовой оркестр. Он играл на берегу легендарного Беломорско-Балтийского канала имени Сталина и состоял, в основном, из эзков, или, как их называли, — канадоармейцев.

Мимо проплывал белый пароход, со ста двадцатью писателями на борту в белоснежных костюмах. В темно-сером был только Алексей Максимович.

Столпившись группами у поручней, служители пера восхищенно озирались по сторонам, в глазах их поигрывал блеск вдохновения от открывающейся перед ними панорамы рукотворного канала, который, извиваясь серебристой лентой, уходил за горизонт к темно-синим лесным далям.

Один из писателей, обращаясь к Горькому, проговорил:

— А ведь это чудо, Алексей Максимович! Не в сказке, не в фантазии, а вот оно — во плоти!

— И никакое из «семи чудес» мифического Синдбада-морехода, — добавил стоящий рядом с ним коллега, — не сравнимо с этим — советским!

Горький довольно улыбнулся.

— Согласен, товарищ Габрилович, — сказал он,

обращаясь к первому писателю. И, взглянув на второго, предложил: — Вот вы бы с товарищем Финном и написали такой очерк: «Восьмое чудо Советской власти». Но... с неизменным уточнением: сие чудо сотворено обычными руками простых советских людей, которые заменяют теперь на земле самого Господа Бога. И куда с большим успехом.

— Прекрасная идея! — одобрил Габрилович.

— Замечательная! — подтвердил Финн.— Смотрите, снова проходим шлюзование!..

На территории шлюза, под присмотром начальства, стояли заключенные, вперемежку с эксплуатационщиками. Они взирали на разряженных писателей с не меньшим изумлением, чем те на них.

Правда, мастера пера смотрели на доблестных строителей еще и с восторгом. Пока пароход перебирался через очередной шлюз, они, с блокнотами в руках, с авторучками, сбились плотной кучей у одного борта и принялись наперебой выкрикивать вопросы для будущих своих очерков:

— Любите ли вы свою работу, товарищи?..

— Кто — я?..

— Нет, тот, что рядом с вами — маленький...

— Ишо как!..— крикнул в ответ «маленький» и неожиданно горластый.— Мы каждый день просимся работать по две смены, а начальники не пускают!

— А потому и начальство любим! — гаркнул другой.

— К своему каналу... каково ваше отношение?

— Не стройка,— мы б на всю жисть ворами и уголовниками остались!..

— Как вас кормят?

— А так, что к нам даже едут голодные хохлы с Украины!

- Поселяются они тут...
 - Вы их подкармливаете?
 - Само собой! А Зощенко у вас там есть?
 - Есть, есть!.. И Алексей Максимович — вот!..
- Руководство... как оно заботится о вашем быте?
- Как надо! Покажите, какой из себя Зощенко!
- Зощенко на палубе не было, Горький распорядился:
- Сходите за ним в каюту.
- Туда отправился Габрилович.
- Считаете ли вы, что здесь исправились?
 - Кабы не считали, мы б с вами не гутарили!
 - А что бы вы делали?
 - Грабанули ваш пароход!
 - И вас ишо! — прогорланил маленький.
- С двух сторон весело рассмеялись.
- Как у вас поставлена воспитательная работа?
 - Мы сами уже кого хошь воспитываем!
 - Поясните, пожалуйста!
 - У нас везде КВБ — культ-воспит-боеточки!
- Пришел, к примеру, в лагерь хулиган хулиганом, а через день уже воспитатель!
- Воспитатель — кого?
 - А самих себя! Но особо всякого кулачья и подкулачников. Ох, они и жмотье!
 - А много их у вас?
 - Больше половины будет. Так где же ваш Зощенко?
 - Сейчас придет. Расскажите про какой-нибудь подвиг!
 - Без Зощенко не станем, хрен вам!
- Один из начальников на берегу подошел к этому заключенному и что-то быстро и строго сказал ему. Он закивал и сразу опять выкрикнул:
- У нас что ни день, то подвиг, товарищи писатели! Хватает их...

— Один конкретный случай!.. Просим!..

Эк, явно затрудняясь с ответом, зачесал голову. Маленький горлопан пришел ему на помощь:

— А во: намедни мы хлеба не ели! И ничо — не страшно! Скалы у нас такие, шо буры ломаются — все одно берем!

Писатели быстрым почерком испещряли листы своих блокнотов.

Вернулся Габрилович, сообщил:

— Зоценко идти не хочет.

Алексей Максимович неодобрительно покачал головой.

— Да мы уже и шлюз перевалили, — тихо сказал ему Алексей Толстой. — Дался им он...

— До встречи, товарищи каналоармейцы! — крикнул он, перегнувшись через борт. — Преклоняемся перед вашим титаническим трудом и ждем лучших ваших представителей на митинге!

За пароходом закрылись шлюзовые ворота, он двинулся дальше.

Все вокруг заметили, как из-за кустов выскочил какой-то небритый лысый человек и побежал вдоль канала вровень с судном.

— Алексей Максимович!.. — закричал он, размахивая руками. — Это я — Лебедев!.. Товарищ Горький!..

Писатели примолкли и поглядели на Горького.

Он, нахмурившись, пробормотал:

— Не понимаю... Кто это?

— Иван Петрович я!.. Лебедев!.. — взывал к нему с берега заключенный. — Спор в библиотеке... у вас!.. Вспоминаете? Про закон джунглей!..

Алексей Максимович стиснул желваки и замкнулся в угрюмом молчании — он вспомнил, как

этот человек назвал его «чудовищно наивным и не очень умным».

— Закон этот — в самый раз для вашего социализма вышел!.. — продолжал кричать Лебедев. — В точку!.. — Пароход все больше прибавлял ходу, и он стал отставать. — Потому я и здесь!.. Узнали?..

Писатель передернул плечами и, взглянув на коллег, бросил:

— Странный субъект... — Он отвернулся от заключенного и стал спускаться на нижнюю палубу, в каюту.

Лебедев остановился на берегу и, глядя на удаляющийся белый пароход, с болью прокричал:

— А все же вы неумный, Горький!.. Неумный!..

Его крик разнесся эхом над водной гладью Беломорско-Балтийского канала имени Сталина...

Панамский канал длиной 80 километров строился двадцать восемь лет. Суэцкий канал — 60 километров — десять лет. «Восьмое чудо света» — Беломорско-Балтийский, протяженностью в 227 километров, Сталин приказал соорудить дешево и в короткий срок — за двадцать месяцев. И построили. Зэки выбили кайлом и вывезли на тачках 21 миллион кубометров земли и скального грунта. Возвели 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб и 33 канала. Вождь не дал на постройку коммунистического чуда «ни копейки валюты», но выделил 400 миллионов рублей. 37 руководителей-чекистов превзошли жестокость самого Хозяина и потратили из этой суммы меньше четверти. Главный «расход» пришелся на людей — из миллиона работающих на канале за два года вымерли от недоедания и морозов около трехсот тысяч. Один из каналоармейцев позже вспоминал: «После конца рабочего дня на трассе оставались трупы... Ночью ехали сани и со-

бирали их... Летом от неприбранных вовремя трупов оставались кости. Они вместе с галькой попадали в бетономешалку. В результате «титанических усилий доблестных каналоармейцев» канал оказался мелким и непригодным для прохождения крупных судов. Он быстро пришел в запустение, мимо его бетонных, замешанных на костях берегов стали лишь изредка ходить баржи-плоскодонки, сплавляющие лес. Спрашивается, как же так,— Сталин всякое дело доводил до конца и строго следил за этим, неужели с каналом он потерпел фиаско? Вместе с Солженициным, у которого взяты данные о канале, можно предположить, что совсем напротив,— вождь одержал «блестящую победу» в создании «отлаженной машины» по перемалыванию костей своего народа, притом в невиданных доселе масштабах. На очереди был канал Москва — Волга. Под руководством «великого кормчего» нация, на почве всеобщего помешательства, начавшегося в 17-м году, с упоением и энтузиазмом продолжала самоистребляться...

* * *

На митинг, посвященный завершению строительства грандиозного канала, согнали море заключенных. Тайком похихикивая, косясь на начальников, которые стояли вместе с ними в одной толпе, они заставляли себя внимать ораторам, с трудом уместившимся на трибуне.

Заканчивал выступление ударник-каналомеец. По бумажке:

— ...и никогда не найти нам своего пути в жизни, если бы великий Сталин не велел нам соединить Белое море с Балтийским! Наша пере-

ковка — это не желание выслужиться и освободиться, нет! Мы перестроили все свое сознание и ощутили гордость советского строителя! Низкий поклон за это нашим чекистам-руководителям: товарищам Берману, Френкелю, Когану, Раппопорту, Фирину и Жуку! Но главный наш повседневноый руководитель — товарищ Ягода! А потому я закончу словами из песни, которую сочинили мы сами — каналоармейцы:

Сам Ягода ведет нас и учит,
Зорок глаз его, крепка рука!

Первыми заплодировали писатели, за ними колышущаяся масса заключенных.

Горький, находясь подле Ягоды у подножия трибуны, сдержанно буркнул ему:

— Поздравляю...

— Спасибо.— Начальник НКВД не мог скрыть распирающего его самодовольства.— За вами теперь о канале книга. Будет?

— Непременно,— кратко ответил писатель.

— А как... с другой?

— Это какой же?

— «Ленин и Сталин». Помнится, вы обещали подумать.

— Я решил так: закончу «Самгина» и тогда попробую.

— Жаль...— Ягода разочарованно вздохнул.— Я уже сказал об этой идее товарищу Сталину.

Алексей Максимович недоволен на него покосился.

— И напрасно. Я вас на сей счет, по-моему, не уполномочивал.— Пересилив вспышку гнева, он поинтересовался: — И что же... товарищ Сталин?

— Товарищ Сталин ответил, что ему неловко отрывать время у великого писателя на свою персону, но...

— «Но»?..

— Но для сплочения советских людей перед угрозой нарастающего фашизма в Европе подобная книга была бы политически целесообразна.

Писатель неопределенно хмыкнул и промолчал.

— Слово предоставляется Максиму Горькому! — донеслось сверху трибуны.

Он отвернулся от начальника НКВД и стал туда подыматься.

— Так что же мне сообщить? — спросил вслед Ягода.

Горький приостановился на деревянной лесенке и зло посмотрел на гелеушника.

— Вы вот что... не встревайте не в свое дело... Приспеет время, я сообщу товарищу Сталину об этом сам.— И пошагал выше...

Дождавшись всеобщей тишины, Алексей Максимович взволнованно заговорил:

— Я вот тут, товарищи каналармейцы, перебросился несколькими словами с моими братьями по перу... И хочу доложить: многие литераторы после ознакомления с каналом получили такую зарядку, от которой в литературе появится то настроение, которое двинет ее вперед и поставит ее на уровень наших великих дел. С вас нам и брать пример. Ибо ваши темпы — это не темпы ущербного европейско-американского капитализма! Это — социалистические темпы! — Все более вдохновляясь, писатель расчувствованно махнул рукой: — Черти драповые, вы и сами не знаете, что сделали!

Польщенные заключенные дружно заревели от восторга перед самими собой...

Максим вернулся домой ночью и долго барабанил в двери. Он был сильно пьян.

Открыл комендант Каменков.

— Опять!..— сказал он и осуждающе поводит головой.

Сын писателя ответил:

— Цыц... под лавку!..— И, шатаясь, стал подниматься на второй этаж по широкой лестнице.

Комендант повздыхал и ушел к себе в комнату.

Дом спал и был во тьме. Неровные шаги Максима гулким эхом отдавались в ночном коридоре, он, держась за стены, что-то бормотал, заворачивал за один угол, возвращался, шел за другой, вновь обратно, наконец, остановившись, хихикнул:

— Черт... заблудился!

Сын писателя увидел в отдалении слабую полосу света, падающую на пол коридора из-под чьей-то двери.

Он шатко туда направился, собрался постучать, но его повело вперед, и Максим невольно толкнул всем корпусом дверь, оказавшись в комнате. И, как не был он пьян, в изумлении замер.

В углу спальни Горького горел тусклый ночник, а сам отец сидел посреди комнаты на стуле в одной пижаме и беззвучно плакал. В его позе было столько страдания, что лицо Максима само по себе болезненно исказилось.

— Папаша...— шепотом спросил он,— вы чего?..

Отец, пряча глаза, резко отвернул от него голову и застыл, как каменный, в неудобном положении, ожидая, когда сын уйдет.

Максим попятился и медленно закрыл за со-

бой двери обратно. Несколько секунд постояв за ними, он поплелся по коридору дальше, свернул за очередной угол и исчез. Некоторое время были слышны его шаркающие, удаляющиеся шаги, потом протяжно закрипела и захлопнулась дверь, и все стихло. В темном доме установилось абсолютное и долгое молчание. В нем чувствовалось что-то нехорошее — словно в этой тишине спряталась и затаила дыхание некая зловеющая сила...

* * *

В Советском Союзе вступила в строй вторая очередь гигантов пятилетки: Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты... Запорожсталь... Челябинский завод ферросплавов... Новокраматорск... Уралмаш... автозаводы в Москве и в Горьком... Началось освоение Северного полюса... Вся страна стала следить за эпопеей спасения «челюскинцев»... Летчики, снявшие их со льдины, первыми получили звания Героев... «Поколение героев» — так и озаглавил свою статью Горький, которую напечатала «Комсомольская правда»...

Алексей Максимович сидел на скамье, во дворике своего особняка, и, подстелив под себя в два слоя шерстяной плед, просматривал кипу газет под лучами пригревающего весеннего солнца. Он отыскивал свою заметку.

За его спиной, за железной оградой возникла какая-то пожилая женщина. Просунув лицо между прутьями, она очень тихо позвала:

— Алексей Максимович...

Он чуть вздрогнул и обернулся.

— Я жена Лобанова... Вы помните такую фамилию?

Писатель наморщил лоб:

— Лобанов?.. А почему вы шепчете?

— Они услышат и прогонят... Вы знали моего мужа еще до революции,— Лобанов — старый большевик...

— Да, да... Лобанов!.. — Горький встал и приблизился к ограде.— Я помню. А что вы хотите?

— Умоляю!..— Женщина опасливо оглянулась по сторонам.— Спасите меня и дочку! Ей и мне грозит высылка из Москвы, а она больна костным туберкулезом, умоляю...

— Зайдите во двор.

— Нет, нет, не надо... Так лучше. Я поджидаю вас уже три дня, они меня уже заметили и выгонят.

— Да кто — «они»?

— Ваша охрана.

— Ну... как вам угодно... Но за что вас высылают?

— Из-за мужа. Мы считаемся неблагонадежными. Он отправлен в концлагерь на пять лет и уже отбыл два года своего срока.

— Как?!.. А за что?

— За что и других. А теперь арестовывают в массовом порядке, просто официально ничего не сообщают.— Женщина говорила торопливо и все время озиралась.— Кто хоть слово сказал против Сталина — всех. А начали почему-то со старых большевиков, хотя мой муж...— Она осеклась, ибо увидела приближающихся к ограде двух гепеушников наружной охраны.— Это они — ваши... Я ухожу, я умоляю: спасите нас с дочерью... Лобановы... Прошу вас... — Женщина попятилась, затем быстро пошла прочь от дома.

Писатель стоял ошарашенный...

* * *

Взвинченно шагая по коридору в свой кабинет, Горький столкнулся с Надей. Обогнув ее, он внезапно остановился:

— Вот что...— сказал он.— Я хочу вас спросить: почему начал пить Макс?

Невестка опустила глаза.

— Не знаю... Я собиралась поговорить с вами об этом давно сама.

— Что же вам мешало?

Она неопределенно пожала плечами и ничего не ответила.

— Где он сейчас?

— Там...— Надя указала в сторону той части дома, где она проживала с мужем.— Но он опять... с ним бесполезно...

Алексей Максимович просверлил невестку недобрый продолжительным взглядом и, резко отвернувшись, пошел туда, куда она указала...

Распахнув дверь, Алексей Максимович застыл с искаженным от боли лицом.

Его сын, распластавшись на кровати одетым и в грязных ботинках, храпел пьяным тяжелым сном...

* * *

Ягода стоял, по-военному, почти навытяжку, но говорил с жалобными интонациями:

— ...Он так на меня кричал, как никогда. Что он себе позволяет, товарищ Сталин? Как будто лично я посадил этого... Лобанова. И сын его... порой такое позволяет... Я выполняю задание, я понимаю, но, в конце концов... я им не холуй. Или как?..

Сталин исподлобья и продолжительно поглядел на начальника НКВД и медленно двинулся от него по лесной дорожке на территории своей дачи.

Ягода немного постоял и на расстоянии пошел следом.

— Что с книгой? — спустя долгую паузу, негромко спросил вождь, не оборачиваясь.

Продолжая идти за вождем, шеф ГПУ коротко и язвительно усмехнулся ему в спину. Затем ответил:

— Мне кажется, он не станет ее теперь писать даже по вашей личной просьбе.

Сталин мгновенно обернулся и застал на лице Ягоды след сползающей ухмылки. Он сделал вид, что не заметил ее, и в размеренном ритме зашагал дальше...

Ягода постепенно стал «вторым я» Сталина. Он обладал такой же изворотливостью и подозрительностью, как и вождь; так же виртуозно владел искусством политической интриги, так же умел оплетать потенциальных соперников предательской паутиной, так же был жесток и беспощаден. Ягода, наставив на дачах и в квартирах членов Политбюро и наркомов замаскированные микрофоны, знал всю их подноготную, вплоть до разговоров с женами, и постоянно держал их под стеклянным колпаком, регулярно предоставляя Сталину компрометирующую информацию на всех высших руководителей государства. Ягода был глазами и ушами вождя, и Сталин никому так не доверял, как ему. А главное, он его не опасался. Надумай Ягода организовать против него переворот, за ним никто бы не пошел. Все члены правительства давно его ненавидели и презирали, как выскочку без революционного прошлого. Однако

Сталин... уничтожит и эти «глаза и уши». Через четыре года он обвинит Ягodu в сговоре с Зиновьевым и Каменевым, которых начальник НКВД за полтора года до этого казнит; сделает из него иностранного шпиона, агента Троцкого, убийцу, возглавлявшего команду врачей, которые «залечивали насмерть» тех лиц, которых бывший шеф ГПУ не решался убрать открыто. Многие воспримут это как чудовищную нелепость. Но Сталин сделает подобный «идиотский» ход не по недомыслию, а напротив — по дьявольской пронизательности. Он пожертвует Ягодой, когда почувствует, что следы по убийству Кирова (оно еще впереди) недостаточно затерты и ведут прямо к нему. Сделав «коварного» начальника НКВД сообщником Зиновьева и Каменева, он снимет с себя всю ответственность. Попутно вождем будет двигать и еще одно соображение: в собственной стране ни у кого не должно оставаться иллюзии в своей полной безопасности — если кара настигла создателя инквизиторской машины, то уж никакой смертный не должен надеяться на поблажку... Арест Ягodu потрясет. Оказавшись в пюремной камере, он потеряет способность спать и есть. Он, как зверь в клетке, будет безостановочно мерить свой каземат шагами и сам с собою разговаривать. Но самое любопытное, что перед началом судебного процесса он одному из своих бывших подчиненных скажет: «Наверное, Бог все-таки существует!.. От Сталина я не заслужил ничего, кроме благодарности; от Бога я должен был заслужить самое суровое наказание за то, что тысячу раз нарушал его заповеди. Теперь погляди, где я нахожусь, и суди сам: есть Бог или нет?»...

Сталин, шагавший впереди Ягоды, после

продолжительного молчания остановился и сказал:

— Наш пролетарский писатель начинает меня раздражать. Пора излечить Горького от привычки совать нос в чужие дела.

— Что... вы имеете в виду? — спросил шеф ГПУ.

— Жену и дочь арестованного оставьте в Москве. Но самого...

— Лобанова, — подсказал Ягода.

— Этого Лобанова не освобождать, пока не закончится срок.

— Очень мудрое решение, товарищ Сталин.

— И еще... — Вождь вдруг больно ткнул указательным пальцем Ягоде в ключицу и оставил его в этом положении. — Вы почему не доложили мне о его архивах?

— Я... не совсем понимаю, о чем идет речь?

— О той части архива, которую наш великий писатель не счел нужным привезти сюда.

— Я как-то не придал этому значения. А что... это важно?

Сталин отнял палец и еще больнее ткнул в это же место:

— Вы мудак, товарищ Ягода. И я не понимаю вашей беспечности. — Начальник НКВД, стараясь не замечать давящего на него пальца, проглотил комок в горле и испуганно примолк.

Вождь отвернулся и пошел дальше.

Ягода, постояв, направился было опять следом, но Сталин, круто поворотившись, зыркнул на него взбешенными глазами:

— Идите!.. И занимайтесь этим делом! — И повторил: — Мудак.

Начальник НКВД быстро засеменял, чуть ли не побежал от него прочь...

На улицах Москвы сгустился вечер. Надя, красиво одетая, со своей неизменной сумочкой через плечо, спокойно и целенаправленно вышагивала среди прохожих, не замечая, что за ней неотступно, на расстоянии двадцати — тридцати метров, следует человек в темно-сером плаще, в шляпе, надвинутой на темные очки, в черной длинной бороде и в белых парусиновых туфлях.

Надя неожиданно исчезла под аркой одного из домов, человек сразу побежал, чтобы не упустить ее из виду.

Выглянув из-за угла, он заметил, что женщина, пересекая заасфальтированный дворик, направляется к подъезду двухэтажного флигеля. Как только она там скрылась, он быстрым длинным шагом последовал за нею.

Надя поднялась на второй этаж, остановилась перед массивной коричневой дверью, порылась в сумочке, достала ключ, открыла квартиру и, ступив внутрь, захлопнула за собой дверь.

Мужчина в плаще и с бородой, наблюдая за женщиной снизу, взлетел через ступеньку вверх по лестнице и нерешительно застыл перед коричневой дверью, ссутулившись высокой спиной. Затем медленно поднял руку и потянулся к металлическому проворачивающемуся звонку, чтобы его прокрутить, но кисть человека зависла в воздухе, а потом отпрянула в карман плаща. Он услышал, как прямо во дворик въехал автомобиль и притормозил у подъезда. Затем хлопнула дверца, кто-то вошел во флигель и стал всходить на второй этаж.

Мужчина стремительно и бесшумно взбежал еще на один пролет, который вел к чердаку, и при-

сел там у стены на корточках, вжавшись в заросший паутиной угол. Он оставался в полутьме, но на виду и, если бы человек, который поднялся, сейчас оглянулся, он бы его увидел.

Но пришелец не обернулся, он тоже своим ключом открыл двери и скрылся в глубине квартиры, защелкнув их на замок. Это был Ягода...

На судебном процессе Генрих Ягода, ради сохранения авторитета партии, согласился со всеми обвинениями и в числе других признаний сделал такое: «Да, я любил Надю, невестку Горького». Не исключено, что это было его единственное честное признание...

Мужчину, который продолжал сидеть на корточках, заколотило нервной дрожью, он, чтобы не закричать от отчаяния, рванул с себя длинную черную бороду на резинке и сунул себе глубоко в рот, сильно стиснув ее зубами. Под шляпой и темными очками скрывался Максим.

В этом положении он просидел до тех пор, пока полоса света, сочившегося из открытой парадной (ее он видел сквозь прореху перил) совсем не угасла...

Максим снял плащ, завернул в него весь свой «маскарад» и швырнул комом в грязный угол. Потом осторожно спустился вниз.

Во дворе было уже абсолютно темно, неподдающемуся угадывался силуэт машины с дремавшим в ней шофером Ягоды.

Максим тенью выскользнул из парадной и обогнул флигель.

Из всех окон на втором этаже приглушенно светилось лишь одно. На крышу вела пожарная лестница, от окна она находилась метрах в трех. Туда протягивался узкий карниз.

Максим подпрыгнул, подцепился за перекла-

дину железной лестницы, задрал на нее ногу и с трудом вылез наверх.

Во дворике было безлюдно и тихо.

Отдышавшись, он взобрался на уровень окна и по сантиметрам, вжимаясь в стену, стал продвигаться к нему по узкому карнизу...

В комнате горел ночник, Надя лежала в одной комбинации на разобранной постели, а Ягода, в одних трусах, сидел спиной к окну. Они о чем-то разговаривали. Максим приник к стеклу остановившимся взглядом.

Надя, вдруг резко повернув к окну голову, различила за ним белое лицо своего мужа и с пронзительным ужасом закричала, сильно отпихнув от себя ногами Ягду.

Максим отпустил от рамы руки и исчез, свалившись вниз.

Она, рванув на себя одеяло, накрылась с головой и забилась под ним в истерике:

— Там!.. Он!.. О, какой ужас!..

Ягода, упавший с кровати, схватил со спинки стула галифе и стал лихорадочно их натягивать. У него стучали зубы, а ноги не попадали в штаны...

Сбежав вниз, он увидел, что Максим тяжело ворочается на асфальте и, не в силах подняться, глухо стонет.

— Сейчас, сейчас... Тише...— Ягода принялся суетливо и беспорядочно топтаться вокруг него, не зная, что предпринять. Во дворе не было ни души. Начальник НКВД опасливо и воровато оглянулся, подхватил Максима под мышки и поволок его за флигель к машине.

Шофер, заметив своего шефа из кабины, вышел и остановился как вкопанный.

— Помоги!..— сквозь зубы рыкнул на него Ягода.

Водитель распахнул заднюю дверцу и, ухватив Максима за ноги, потянул его в автомобиль.

— Куда, дурак!.. — прошипел начальник. — В багажник... — И, в ответ на его изумленный взгляд, объяснил: — Испачкает...

Оба с трудом принялись запикивать туда стонущего Максима. Он был длинный, нескладный и никак там не умещался. Сложив его пополам, подоткнув ему под тело торчащие руки, они наконец со стуком захлопнули крышку...

* * *

Горький вздрогнул и встал из-за стола. До этого он, при свете настольной лампы, работал в своем кабинете, а теперь вдруг беспокойно заходил по нему от стены к стене... Так же внезапно остановившись, он о чем-то несколько секунд раздумывал, затем быстро вышел.

На столе лежала рукопись романа «Жизнь Клима Самгина», которую писатель просматривал. В ней красным карандашом была перечеркнута фраза: «А мальчика-то, может, и не было?»...

Алексей Максимович без стука отворил дверь в комнату сына.

Там за трюмо сидела Надя. В халате. Положив ногу на ногу, она вычищала из-под ногтей грязь. При появлении свекра невестка повернула к нему голову и уставилась на него какими-то потерянными глазами.

— Где Макс? — спросил Горький.

Надя напряженно пожала плечами и отрицательно поводила головой:

— Не знаю... — И вдруг беззвучно заплакала.

Лицо Алексея Максимовича исказилось страданием, он попятился и закрыл дверь обратно...

Шагая полутемным коридором молчаливого дома, писатель приостановился у парадной лестницы. Затем решительно спустился вниз.

На первом этаже он постучался в комнату к коменданту.

Кошенков открыл, стоя в одном исподнем, в очках на лбу и с книгой в руках. На ночь он читал уже в разобранной постели.

— Иван Маркович,— умоляюще проговорил Горький,— что-то мне тревожно... Прошу вас очень... Походите около дома, может, Макс опять где-нибудь лежит пьяным.

Ни слова не говоря, комендант тотчас стал одеваться.

Алексей Максимович вновь поднялся по лестнице, гулкие шаги его постепенно затихли в глубине примолкшего, насторожившегося дома...

* * *

Так оно и оказалось — Кошенков обнаружил Максима неподалеку от особняка, неподвижно лежащего посреди проломленной подмерзшей лужи. Склонившись над ним, комендант принялся и отпрянул.

— Господи,— пробормотал он,— сколько же он выпил...— И стал поднимать его, чтобы взвалить себе на спину. Однако тело Максима было каким-то одеревеневшим и выскальзывало из рук.

Кошенков насторожился и, оттащив сына писателя от лужи, вновь положил его на землю и приставил к груди ухо. И, опять отпрянув, на сей раз в страхе, прошептал:

— Как же?..

Он осторожно приподнял голову Максима и, различив у него на затылке огромный кровоподтек, замер...

На гроб, в могилу стали бросать первые комья земли...

Алексея Максимовича шатало, с двух сторон его поддерживали под локти Екатерина Пешкова и невестка. Горький постарел в эти дни лет на десять, он невидящим взором уставился вниз и, казалось, о чем-то сосредоточенно раздумывал. Его глаза были сухи, он не мог даже плакать...

Всем близким и знакомым было объявлено: «Максим простудился и умер от воспаления легких». Но мало кто в это верил. Молодой, спортивный, всегда здоров, сын писателя в последнее время собирался отправиться за Полярный круг, чтобы принять там участие в изыскательских работах, — и вдруг не выжил. Нет, это невероятно... Шалапин прислал телеграмму: «Очень поражен смертью Максима». Интуиция великого артиста работала даже на большом расстоянии...

Алексей Максимович неожиданно освобожден от опеки женщин и, отвернувшись, пошел прочь от засыпаемой могилы. Они кинулись за ним следом, но он, круто поворотившись, остановил их испепеляющим взглядом.

— Не ходите за мной... Без вас... — И шатко пошел дальше.

Горький шел куда-то в глубину кладбища, но явно этого не осознавал. Он продолжал сосредоточенно смотреть себе под ноги, отчего казалось, что он вот-вот разрешит какую-то дилемму...

Краем глаза писатель вдруг заметил мелькнувшую сбоку тень. Застопорив, он повернул туда голову.

В нескольких метрах от него за могильной плитой скрылась и затаилась фигура человека с острой черной бородкой.

— Эй...— тихо произнес в ее сторону Алексей Максимович и, чутко прислушавшись, умолк.

Из-за плиты никто ничего не ответил.

Горький постоял и настороженно туда направился..

Фигура покинула укрытие и, ломая на пути кустарник, стала от него отдаляться, огибая чугунные ограды.

Писатель, решив догнать ее, прибавил шаг.

— Эй!..— крикнул он снова.— Остановитесь!..

Человек с бородкой не оборачивался и ускорял петляющее движение.

Алексей Максимович раздраженно остановился.

— Как вас там!.. Вы слышите?.. Я хочу предупредить: если вы будете меня преследовать и еще раз явитесь, я придушу вас... Собственными руками!..

Мужчина попал в тупик — могилы, образующие коридор, стояли так плотно, что сквозь них невозможно было проскользнуть, а впереди предстала кладбищенская стена. Человек остановился тоже и испуганно обернулся. Он был с бородкой, с острой, с черной, но не тот — не из сна. Его лицо выразило обиду и изумление.

— Но я не преследую,— сказал он,— я охраняю..

— Кого??

— Вас... По заданию товарища Ягоды.

Горький резко от него отшатнулся и стал напролом выбираться прочь с кладбища к выходу.

Встречные ветки с распускающимися листьями хлестали его по лицу, царапали, но он не чувствовал боли, шагал стремительно, широким шагом, отчего создавалось впечатление, что он решил на что-то очень важное...

После трагического ухода сына из жизни Алексей Максимович стал иным. С его глаз как бы спала какая-то пелена...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ОЧИЩЕНИЕ



Пролетарият всех стран, соединяйтесь!
 Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.)
ПРАВДА
 Комитета и МЧ ВКП(б)
 1936 г., пятница | ЦЕНА 10 КОП.

Комитет ВКП(б) и Совет
 Союз ССР с глу-
 бокую извешают о смерти вели-
 кого писателя, гениального худож-
 ва, беззаветного друга трудящихся,
 за победу коммунизма — товарища
МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО,
 в Горках, бл.

АЛЕКСЕЙ МАКЕИМОВИЧ
ГОРЬКИЙ
 18 28 VII 68 - 19 18 VI 36

СТАЛИН СИДЕЛ В КАБИНЕТЕ ГОРЬКОГО, в углу кожаного дивана и, облокотившись на валик, неспешно попыхивал трубкой с прищуренным и как бы ушедшим в самого себя взглядом.

Алексей Максимович, прямой, внутренне натянутый, примостился на краешке стула и был похож на гостя в собственном доме.

Между ним и вождем прохаживался Лев Борисович Каменев. Он волновался, но сохранял в движениях некоторую изысканность и был подчеркнуто деликатен в выражениях:

— ...Я беспредельно благодарен Алексею Максимовичу за эту встречу с вами, товарищ Сталин. Но еще больше я признателен вам. Несмотря на свою гигантскую занятость, вы нашли время меня выслушать. Да, я очень, я безмерно благодарен...

— Говорите по существу, товарищ Каменев, — довольно бесцеремонно прервал его Сталин. — За кого вы? И — за что?

Каменев, остановившись, растерялся.

— То есть как?.. Я не совсем улавливаю суть вопроса!..

— Вот это и плохо, — хмуро произнес вождь.

Лев Борисович повернулся к Горькому, ища у него поддержки.

— Изложите свою позицию товарищу Сталину, — подсказал писатель. Он беспокоился за Ка-

менева не меньше, чем тот за себя.— То, что вы говорили мне вчера.

— Ах, да... Разумеется! — Лев Борисович захотел снова.— Я буду предельно краток и отвечу на ваш вопрос так же прямо, как он поставлен: я за... вас, товарищ Сталин. И за вашу политику. Вот, пожалуй, и все.

— А вы докажите мне это, товарищ Каменев.

— Ну... если опять самую суть... Я твердо осознал необходимость всеобщей коллективизации и индустриализации нашего государства, я пришел к непреложному выводу, что единство партии, ее идейная монолитность, осуществляемая под вашим руководством,— основа основ всех будущих успехов социалистического строительства.

— Надо ли понимать так, что товарищ Каменев отказывается впредь от всякой оппозиции?

— Навсегда и решительно, товарищ Сталин! — порывисто откликнулся Лев Борисович.— Вы мне верите?

Вождь скупно усмехнулся в усы и взглянул на него исподлобья.

— Я, товарищ Каменев, никогда не был верующим. Я доверяю только фактам или... проверяю их. Но что скажет по поводу вашей изменившейся позиции товарищ Зиновьев?

Каменев вспыхнул и даже как бы обиделся:

— Товарищ Зиновьев, он... не Господь Бог, товарищ Сталин. Лично меня его мнение... теперь не интересует.

— Похвальный ответ,— одобрил вождь и поднялся. Он медленно подошел к Льву Борисовичу и близко заглянул ему в глаза.— А все же вы меня не любите, товарищ Каменев,— вдруг тихо сказал он. И повторил: — Не любите.

— Как так?... Почему?..

— Вам это лучше знать,— спокойно ответил Сталин. И, удовлетворенный испугом Льва Борисовича, сухо улыбнулся: — Но любовь, как и вера, вещи нематериальные и ненадежные. Повторяю: главное — факты. А потому идите и помните: ваша судьба — ваши будущие поступки, товарищ Каменев.

Каменев потупился и пробормотал:

— Да, конечно... это естественно... До свидания, товарищ Сталин.— Он протянул ему руку.

Вождь повернулся к нему спиной и ответил:

— Всего хорошего, товарищ Каменев.

Лев Борисович неловко потоптался на месте, перевел протянутую руку недвижимо сидевшему Алексею Максимовичу и, обменявшись с ним коротким пожатием, спешно удалился.

Сталин вернулся к дивану и опустился на свое прежнее место, вновь задымив трубкой.

Горький после долгой паузы проговорил:

— Неловко вышло... Он, можно сказать, повинился, вы как будто простили, а руки не подали...

— Рано,— отрезал вождь.— Пусть он это заслужит.

Алексей Максимович чему-то подавленно покаивал, затем вскинул на Сталина настороженные глаза и спросил:

— Я могу с вами поговорить вполне откровенно?

Тот метнул на писателя острый взгляд.

— А разве вы не всегда говорите мне правду, товарищ Горький?

— Не всегда,— набравшись мужества, тихо ответил Алексей Максимович.— Но и не лгу. Кое о чем я просто умалчиваю.

— Например?

Писатель некоторое время в раздумье молчал.

Наконец заговорил очень мягким, доверительным тоном, с легкими просительными интонациями:

— Я понимаю всю сложность положения страны, товарищ Сталин. Рядом с нами все больше набирает силу Гитлер, и не исключено, что он может развязать войну. Внутри — действительно имеются элементы вредительства, отживающий класс мелких собственников продолжает сопротивляться. Но я не понимаю другого: почему в поле вашего подозрения начинают все чаще попадать старые большевики, те самые товарищи, которые сидели в царских тюрьмах, а теперь садятся в наши?..

Вождь смотрел в пол и молчал.

— Почему собираются распустить «Общество политкаторжан»? — снова спросил Горький. — Кому они мешают и что они делают преступного?.. — Не получив опять ответа, Алексей Максимович продолжил: — Я целиком и полностью разделяю ваши взгляды на социализм, товарищ Сталин, и, по мере моих сил и возможностей, стараюсь поддерживать все ваши титанические усилия в деле устройства социалистического уклада жизни в отдельно взятой стране. Налицо огромные успехи, страна развивается, мощнеет и богатеет буквально с каждым днем; народ окрылен перспективой светлой жизни, и в этом я вижу, в значительной мере, вашу заслугу, товарищ Сталин. Более того, я преклоняюсь перед вашей волей, мудростью, пронизательностью и масштабами мышления, но именно поэтому у меня возникает порой недоумение... — Горький сделал паузу и испытующе взглянул на Сталина. Тот по-прежнему не поднимал глаз. — Недоумение по поводу вашей излишней жесткости и, я бы сказал,

даже некоторой мести за прежние ошибки отдельных искренне заблуждающихся товарищей... По всему видно, товарищ Сталин, что социализм в СССР не способна сокрушить уже никакая сила. Я и, например, товарищ Киров, мы считаем...

— Кто, кто? — быстро спросил Сталин. Он уставился на писателя темными немигающими глазами.

— Товарищ Киров... — тише повторил Алексей Максимович.

— Он что же... часто у вас бывает?

— Раза два, три нам приходилось беседовать. А что?..

— Так что считает товарищ Киров?

— И он и я, мы полагаем, что настало время смягчать отношения государства с интеллигенцией... — Увидев, что вождь поморщился, писатель уточнил: — С лучшей ее частью.

Сталин проговорил:

— Не кажется вам, что это беспартийное старомодное слово — интеллигенция — звучит теперь двусмысленно и замысловато?

— Может быть, — согласился Горький. — А, впрочем, вы правы. Вернее будет назвать эту прослойку общественностью. Так вот, необходимо наконец примирить с ней партию.

— И все?

— Да, только это. Общественность — это творческий резерв страны, и без него... — Алексей Максимович умолк, ибо заметил, что вождь, колко усмехнувшись, резко поднялся.

Побродив по кабинету с опущенной головой, Сталин остановился в дальнем углу и, выбросив оттуда руку с трубкой вперед, сказал:

— Но вы, товарищ Горький, умолчали и еще кое о чем.

— Я вас не совсем понимаю...

— А вы подумайте.

Писатель неуверенно поежился и встал тоже.

— Что все-таки вы имеете в виду?

— Ваши архивы. А точнее, ту часть из них, которую вы переправили в Лондон. Зачем?

Алексей Максимович, не ожидая этого, сразу не нашелся что ответить.

Вождь, избегая смотреть на писателя, заходил снова.

— А вы говорите меньше жесткости... к обществу. На каком основании? Если даже сам пролетарский писатель предпочитает утаивать некоторые документы.

Горький опомнился и, в некотором роде, возмутился:

— Но позвольте!.. Это же мое... Личные письма ко мне и разные заметки. И я вправе распоряжаться ими так, как считаю нужным.

Сталин, круто обернувшись, опять остановился.

— Ошибаетесь, товарищ Горький. Вы уже не совсем принадлежите самому себе. Вы — идеологический рупор СССР, а потому право судить, что вам на пользу, а что нет, принадлежит теперь в большей степени советскому государству.

Писатель откровенно опешил.

— И не делайте из себя непонимающего. Если та часть архива попадет в руки наших врагов, страдает не только ваше имя, но и престиж страны. А этого мы допустить не можем.

— Но там... ничего существенного и особо важного. Я бы даже сказал, это хлам, который бы засорил мой основной архив в Москве.

Вождь прищурил на него пронизывающий глаз

— Если так — это хорошо. Но для советских читателей и их потомков бесценна каждая строка их всемирно известного и гениального писателя. Верните все в СССР.

— Я попытаюсь...— пробормотал Горький, отводя голову от нацеленного на него взгляда.— Я не придавал ему значения и не уверен, цел ли он, но я попробую навести справки.

Сталин вплотную подошел к нему и продолжительно посмотрел в глаза. Писатель с трудом выдержал его проверяющий взгляд.

— Ваша просьба повернуть партию лицом к общественности целиком зависит от моей просьбы, товарищ Горький,— сказал вождь.— Всего доброго.— И твердым шагом покинул кабинет.

Алексей Максимович опустилcя обратно на стул и устало обмяк, словно из него выпустили воздух...

Готовясь к будущим показательным процессам, Сталин замыслил заполучить три скрытых от него источника информации: архив Горького в Лондоне, личные бумаги Троцкого и архив Керенского в Париже. Они были необходимы для изготовления более правдоподобной сети ложных обвинений, которые он собирался предъявить будущим жертвам... Сам Горький об этом, естественно, ничего не знал, но он уже смутно предчувствовал: на Россию накатывает очередная волна самоистребления, и его архив, попади он в руки Сталина, может сыграть в этом роковую роль...

* * *

Париж открывался, разворачивался и проплыл мимо с необычной стороны — с водной глади Сены.

Небольшой прогулочный пароходик шлепал по реке большим колесом с лопастями и оставлял за собой длинный шлейф дыма.

По палубе, от борта к борту, жадные к каждому открывающемуся виду, переходили разноязычные туристы. Некоторые из них были с трубами-биноклями и с громоздкими фотоаппаратами. Они возбужденно гомонили, фотографировались, смеялись и беспрерывно показывали то туда, то сюда пальцами.

Поодаль от всех, на корме, в плетеных креслах сидела группа русских: Федор Иванович Шаляпин, его жена Мария Валентиновна, Мария Игнатьевна Закревская-Бенкендорф-Будберг и, прибывшая в Париж, Екатерина Пешкова. Услышав очередной всплеск дружного хохота туристов, Федор Иванович досадливо заметил.

— Немцы всегда так смеются, чтобы все думали, будто им веселее всех живется на свете. А прислушаться, над чем они гогочут — окажется полнейшая ерунда.

— Будет тебе ворчать, — сказала супруга. — Пригласил дам на прогулку и все время брюзжишь.

Шаляпин вдруг продолжительно захохотал. Да так громко и так естественно, что смеющиеся немцы сразу притихли и с завистью насторожились. Кивнув в их сторону, артист подмигнул своим дамам.

— Только так их и можно уечь!

— Дитя был, дитем остался, — проговорила Мария Валентиновна, а две другие женщины сдержанно улыбнулись.

Шаляпин заметно постарел и стал как-то иссыхать. Щеки его пообвисли, а глазные впадины увеличились и сделались теперь постоянно печальными. Тоскливо поглядев на Сену, он сказал:

— Ну, что это за река — тьфу. Хотя, что я снова... Давайте-ка, лучше анекдоты. Екатерина Павловна, рассказали бы какой-нибудь советский...

Пешкова ответила:

— С анекдотами, Федор Иванович, у нас строго. Лучше скажите, что вы решили с возвращением?

Артист вздохнул:

— Да я бы в Россию на крыльях полетел. Одна беда: они все не прорастут

— Нет, я вполне серьезно. И Алексей Максимович, и Сталин, и все... Они мне так и сказали. «Без Шалапина не приезжайте!»

— А что, Мари Лентиновна?.. — Федор Иванович с острой грустью посмотрел на жену. — Может, поедем, а?.. Ужас, как здесь осточертело!

— Куда ты такой поедешь? Куда?.. — безжалостно отозвалась супруга. — Посмотри на себя и на меня, сколько нам жить осталось, чтобы снова с места на место прыгать?

— Не знаю, — уныло сказал муж — А все же дома помереть лучше.

Мария Валентиновна повернулась к Пешковой, сурово произнесла:

— Закончим этот разговор, Екатерина Павловна. Не пушу.

В отдалении опять раскатисто захохотали немцы.

Первая жена Горького поднялась и пошла прогуляться по палубе. Мария Игнатьевна, все это время молчавшая, тоже покинула кресло и направилась за нею. Оказавшись на носу парходика, женщины, глядя вперед, встали у поручней.

— Федор Иванович стал невыносим, — тихо проговорила Мария Игнатьевна.

— Да.— Пешкова удрученно кивнула головой.— Старость мало кого украшает.

— А что Алексей Максимович?

— Тоже болеет. И ему все хуже.

После паузы Мария Игнатьевна осторожно произнесла:

— Всех здесь, в Европе, поразила смерть Максима... Что же все-таки произошло?

— Не надо об этом...— не глядя на нее, проронила Екатерина Павловна.— Вы видите, я посела, и мне не хочется ничего вспоминать... Он умер от воспаления легких.— Обернувшись, она неожиданно спросила: — А что с тем архивом?

— Это каким?

— Который вы якобы отвезли в Лондон.

— Почему «якобы»? — Будберг насторожилась — Он в Лондоне, и в надежном месте. Но откуда вам о нем известно?

Пешкова задето усмехнулась.

— Пусть в прошлом, но я все же жена Алексея Максимовича.— Она подчеркнула слово «жена». — Сообщил же мне об этих бумагах, в свое время, еще Максим.

Мария Игнатьевна выжидающе примолкла.

— Видите ли,— снова заговорила Пешкова,— я узнала, что этим архивом заинтересовался Сталин, а это, как вы понимаете, ни к чему хорошему привести не может.

— Почему?

— Не могу объяснить, я чувствую. Об этом мне стало известно по своим каналам, и я не знаю, осведомлен ли о намерении Сталина сам Алексей Максимович. В последнее время он стал довольно нервным, и я опасаясь затрагивать с ним эту тему.

— Отчего же?

— Если он все знает — это бессмысленно, а

нет — потеряет покой и вовсе. В стране, Мария Игнатъевна, начинает происходить нечто непонятное. Я заведу в Красном кресте, ко мне все чаще поступают жалобы на несправедливые аресты. Короче, я не хочу вдаваться в подробности, но я беспокоюсь за Алексея Максимовича.

— А именно?

— Я предполагаю, что письма этого архива могут высветить его с нежелательной в настоящий момент стороны. Поэтому у меня предложение: передайте архив мне, я хорошо спрячу все документы.

— Вот как! — с легким изумлением произнесла Будберг. — Это интересно... То есть вы считаете, что я недостаточно надежна?

— Простите, вы не так все поняли. Я знаю Сталина. Если он задумал приобрести архив, он этого добьется. Тем более, что ему наверняка известно, что он у вас, в Лондоне. Сообщив его людям, что архив передан мне, вы себя полностью обезопасите.

— С вашей стороны это довольно благородно, но я не могу себе позволить и вас подвергать риску.

— За меня не беспокойтесь, я выкручусь. Я скажу, что получила от вас документы год назад, притом втайне от Алексея Максимовича, но они сгорели в Крыму на даче. У нас там действительно был небольшой пожар.

Мария Игнатъевна растянула губы в тонкой холодной улыбке.

— Но про пожар или наводнение, Екатерина Павловна, я в состоянии сочинить и сама. Ведь вы не откажете мне в фантазии?

Пешкова уставилась на нее недобрый взглядом.

— Значит, вы решительно отказываете?

Глаза Будберг, как всегда в критические моменты, стали похожи на два маленьких камушка.

— И бесповоротно,— тихо сказала она.

Екатерина Павловна резко отвернулась. Обе женщины остались стоять рядом, но смотреть теперь по разные стороны Сены.

Пароходик продолжал идти вперед и рассекать парижские кварталы надвое...

* * *

Осень в Крыму выдалась багровая. С деревьев облетали листья с разными оттенками красного и, кружась в воздухе, устилали землю... Взрыхляя черными хромовыми сапогами это естественное багровое полотнище, от ворот горьковской дачи к хозяину решительно шагал Ягода. Шагал поперек участка, игнорируя дорожки.

Алексей Максимович, соскребая до этого граблями красноватый лиственный покров в одну кучу, выпрямился и настороженно стал ждать его приближения.

Начальник НКВД, подойдя к писателю, посмотрел на него продолжительным цепким взглядом, затем молча протянул сухую ладонь. Пожимая ее, Горький натянуто пошутил:

— Вы сейчас так шли, что я подумал... ГПУ решило меня арестовать.

Ягода, улыбнувшись, обнажил под щеточкой усов ряд мелких зубов грызуна:

— Помилуйте, за что же?..— Но тут же с легкой усмешкой спросил: — Или есть за что?

— Возможно, и есть,— подрагивающим баском ответил Алексей Максимович.

— А конкретней?

С Горьким вдруг случился приступ кашля. Отворотившись от шефа ГПУ, он вырвал из кармана вязаной кофты платок и долго стал в него сотрясаться... Успокоившись, он сказал:

— Я немало размышлял о предложении написать в «Правду» статью «Ленин и Сталин» и решил... сего не делать.

Ягода опустил глаза и так закусил рот, что его как бы не стало — сразу две губы.

— Ну...— произнес он после паузы,— за такое мы не арестовываем... Но почему? Речь идет уже не о книге, а всего о статье. И потом, к 17-й годовщине Великого Октября...

— Да,— прервал его писатель,— как раз по сей причине. Ибо праздновать Великий Октябрь без людей, которые его свершили — согласитесь, абракадабра.

— Но если вы об «Обществе старых большевиков», то никто не тронут и пальцем. Оно просто расформировано. Как устаревшая структура.

Алексей Максимович молча отвернулся и вновь принялся сгребать в кучу листья.

— Так что же мне сказать товарищу Сталину? — проговорил за спиной шеф ГПУ

Не отрываясь от работы, Горький ответил:

— Скажите товарищу Сталину, что я забочусь об его истинном авторитете. И намерен способствовать сему и впредь.

— А как... с его второй просьбой?

Писатель, не поворачиваясь к Ягоде, застыл в согнутом положении.

— Это какой?

— Вы обещали товарищу Сталину выяснить судьбу своего архива в Лондоне.

— Его нет,— быстро сказал Горький. И опять

задвигал граблями.— Я навел справки, он сгорел при пожаре в одной из лондонских квартир.

— Уж не у Марии ли Игнатьевны Закревской-Бенкендорф-Будберг?

Алексей Максимович выпрямился и столкнулся с нехорошим взглядом начальника НКВД.

— Да, у нее,— ответил он с вызовом.— И слава Богу.— И неприязненно добавил: — Так что, можете спать спокойно, товарищ Ягода.

Шеф ГПУ продолжал сверлить Горького сужившимися зрачками.

— Что ж...— произнес он,— спасибо за совет.— И, круто поворотившись на каблуках, так же решительно, как шел сюда, пошагал обратно.

Пошагал опять поперек территории дачи, снова взрыхляя и разбрасывая черными сапогами нападавший покров из багровых листьев...

* * *

Прозвучал тот выстрел, с которого началась длительная и жутковатая полоса нового террора — убили Сергея Мироновича Кирова.. Сталин срочно отправился в Ленинград и организовал там комиссию по расследованию преступления, лично утвердив ее состав. Были арестованы члены ленинградского обкома, местные чекисты, схвачен убийца Николаев, следом задержаны Зиновьев и Каменев. В «Правде» их объявили троцкистскими заговорщиками и морально ответственными за гибель Кирова. Нагнетая мрачную атмосферу в стране, вождь распорядился арестовать коменданта Кремля, заключил под стражу людей из своей охраны и из обслуживающего персонала правительства, вплоть до уборщиц. В газетах появ-

вились передовицы о готовящемся покушении на самого Сталина...

Горький понял, к чему все идет, и уже бесповоротно решил не отдавать лондонский архив. Он собрался вызвать к себе на дачу в Крым из Англии Марию Игнатьевну Закревскую, чтобы еще раз предупредить ее об этом...

* * *

Часы на башне «Биг-Бен», она с трудом угадывалась в тумане, пробили четыре дня. В Лондоне моросил мелкий дождь, людей на улицах было мало; под черными зонтами они торопились побыстрее добраться до теплых и сухих жилищ.

Мария Игнатьевна сидела внутри уютного ресторана у окна и, поглядывая иногда на слякоть снаружи, неторопливо доедала десерт. Каждое движение ее было исполнено достоинства и изящества, чувствовалось, что она любит со вкусом и с толком поесть, при этом не лишая себя удовольствия выпить хорошего вина. Она пила бургундское. По всей манере поведения Марии Игнатьевны, по жесту, которым она подозвала официанта для расчета, ощущалось, что именно так ей нравится жить — самостоятельно, с изыском и сытно...

Покинув ресторан и оказавшись на улице (швейцар предупредительно распахнул перед ней дверь), Мария Игнатьевна подернулась в легком ознобе и, раскрыв над головой зонт, легкими шагами прошла к такси, которое заметила на обочине.

Заглянув в окошко и увидев, что рядом с шофером сидит пассажир, она сказала:

— Пардон...

Однако за ее спиной неожиданно возникший человек в длинном плаще с капюшоном быстро открыл заднюю дверцу, с мягкой, но настойчивой силой втолкнул женщину внутрь и, захлопнув дверцу обратно, остался на тротуаре. Машина тут же тронулась и поехала.

— Что все это значит? — спросила по-английски Мария Игнатьевна.

Пассажир, сидевший подле шофера, обернулся и по-русски ответил:

— Ничего особенного, Мария Игнатьевна. Просто лучше беседовать в машине, чем под дождем.— Это был молодой и довольно обаятельный мужчина.

Женщина притихла и уставилась на него напряженным взором.

— Я привез вам большой привет от Алексея Максимовича,— спокойно сообщил он.

Мария Игнатьевна вновь не проронила ни слова.

— Вы не рады?

Она сухо усмехнулась:

— Обычно приветы передаются при других обстоятельствах.

Мужчина открыто улыбнулся:

— Вы умная женщина и, вероятно, догадались, что мы не представляем в Англии официальную дипломатическую миссию. У нас несколько другая работа, и нам предпочтительней поменьше бывать на людях.

— Но... почему Алексей Максимович счел нужным связаться со мной именно таким способом?

— Так надежнее, Мария Игнатьевна. Вот, кстати, от него письмо, которое он сознательно не запечатал, ибо сам надиктовал нам текст.— Мужчина передал открытый конверт.

Мария Игнатьевна, достав письмо, отпечатанное на машинке, пробежала его глазами. Внизу стояла подпись: «М. Горький».

— А почему оно написано не от руки?

— Вряд ли это существенно.

— Возможно... Но во всех письмах ко мне Алексей Максимович обычно подписывается по-другому — «А. Пешков».

Мужчина пожал плечами:

— Какая разница? Вероятно, он просто это запомнил... Подпись его?

— Да. Очень похожа.

— Ну, так в чем дело? Какие у вас основания нам не доверять?

— Дело в том, что архивы, которые он здесь просит передать вам... они могут быть вручены ему только лично мною.

— Почему?

— Так мы условились.

— Вот как... Но отчего же он не сказал об этом нам? — Мужчина уставился на Марию Игнатьевну проверяющим взглядом.

Она не отвела от него еще более пристальных глаз.

— Меня это смущает тоже.

Мужчина отвернулся и надолго умолк.

На лобовом стекле, размазывая дождевые капли, равномерно шуршали щетки. Водитель вел машину точно глухонемой — ни на что не реагируя.

— Любопытно... — с иронией произнесла женщина. — Ваш шофер — он тоже из не официальной дипломатической миссии?

— Также, — скупое подтвердил мужчина. И, не оборачиваясь, спросил: — Так что же мы будем делать?

— Лично я намерена доехать до дома.

Мужчина, не глядя на водителя, распорядился:

— Давай, на «Ричард роуд» 16.

Мария Игнатьевна, дивясь такой его осведомленности, только покачала головой.

Автомобиль совершил разворот и поехал в обратном направлении.

— Пожалуй, вот что...— после продолжительного раздумья снова проговорил мужчина.— Как бы вы отнеслись к тому, чтобы мы сопровождали вас с архивами к Алексею Максимовичу?

— Прямо в СССР?

— Да.

— Заманчиво. Но... я бы предпочла без них.

— То есть?

— Для начала я должна убедиться, что они действительно ему нужны.

Мужчина вновь обернулся к женщине, но уже с другим лицом — предельно жестким.

— Хорошо: не станем играть в прятки. Они нужны товарищу Сталину. А товарищ Горький сказал ему неправду.

Мария Игнатьевна впервые испугалась.

— В каком смысле?..

— В прямом. Он сообщил, что они исчезли.

— Но я не...

— Бросьте! Не вам играть в игры с товарищем Сталиным! Вы только что сами уличили товарища Горького во лжи, подтвердив, что архивы целы. И, надеюсь, теперь представляете, каковы могут быть для него там... последствия.

Женщина сидела, не шелохнувшись,— она попалаась.

— Кроме того,— безжалостно добавил мужчина,— Алексею Максимовичу и вашему новому сожителю Герберту Уэллсу станет незамедли-

тельно известно о вашей старой половой связи с бывшим заместителем ЧК Петерсом. И о том, что вы были его агентом.

— Ложь!..— вскричала Мария Игнатъевна.— Мерзавцы! Ублюдки!.. Вы хуже! Все ложь!..— Она упала на сиденье и забилась в истерике, заколотив по передней спинке кресла носками туфель.— Никогда! Нет!.. Ничего не получите!.. Я плевала на вас! Вы слышите?.. Плюю!..

Мужчина невозмутимо отвернулся, достал из бардачка бутылку с водой, откупорил и протянул женщине.

Она жадно схватила ее и стала пить. Ее зубы дробно стучали по горлышку...

* * *

— ...Я считаю это очередной нелепостью...— сказал Горький.— Отчего же, я вас внимательно слушаю...— Он полусидел на углу письменного стола в своем кабинете на даче в Крыму и, удерживая у уха телефонную трубку, смотрел за окно. Там виднелись голые мокрые деревья. После прошедшего дождя с их черных растопыренных ветвей падали, медленно набухая, тяжелые капли.— Нет...— произнес писатель.— Нет... Я повторяю, нет...— Он все время старался говорить спокойно, но все же возвысил голос: — Потому что я осуждаю не только индивидуальный, но и государственный террор! Всего наилучшего.— И замкнул рычаг.

В углу комнаты, в глубоком кресле сидела с ногами, в шерстяных носках Мария Игнатъевна. С пледом на плечах, она примостилась там, точно продрогшая птица в гнезде, и, прислушиваясь к разговору, смотрела на Алексея Максимовича мерцающими тревогой глазами.

Он, повернувшись к ней, показал на телефонный аппарат:

— Вы слышали, что я ему ответил?

— Кто это был?

— Ягода. Просит теперь меня осудить Зиновьева и Каменева. Нет, они с ума посходили! — Горький нервно заходил по кабинету. — Что происходит? Неужели снова террор? Зачем?.. Тогда... — Он махнул рукой куда-то далеко за спину, — еще можно было как-то оправдать Ленина, но теперь?.. Чего не хватает этому... усачу?.. Я...

Мария Игнатьевна умоляюще приложила палец к губам и показала глазами на потолок и стены: помещение может прослушиваться.

Писатель близко подошел к ней и шепотом договорил:

— Я буду последняя тля, если посредством своих архивов дам повод к преследованию тех лиц, которые в нем упомянуты. Вы поняли?

— Да, да... — еле слышно откликнулась женщина. — Прошу вас, еще тише...

Алексей Максимович склонился к ее уху и, сам этого пугаясь, сообщил:

— Я теперь думаю, этот мерзавец... — он снова показал в сторону телефона, — убил Кирова.

Мария Игнатьевна, вжавшись в спинку кресла, тихо выдохнула:

— Но они... так же могут и вас...

— Чепуха! — громко произнес Горький. — Не посмеют... — И, оглядевшись, сказал: — Пойдемте отсюда вон...

Облачившись в верхнюю одежду, они отправились прогуляться по пустынным аллеям дачи. Через плечо у Марии Игнатьевны висела дамская сумочка. Поначалу оба шли молча, каждый погруженный в свои мысли.

— А что, если вам снова уехать? — вдруг предложила Мария Игнатьевна.— Опять в Сорренто или, не знаю, еще куда.

Алексей Максимович горько усмехнулся:

— Сбежать?.. Сейчас?.. Не смогу, Мария Игнатьевна. Это хуже, чем отдать архивы. Какое-никакое, а я все же имею влияние на Сталина. Я попробую его еще утихомирить. Чтобы он «ослабил вожжи».

— Каким образом?

— Ради благого дела, продамся. Пообещаю, что напишу эту злополучную книгу «Ленин и Сталин», в обмен на то, чтобы он прекратил гонения на старых партийцев и оставил вас в покое с архивами.

— И напишете?

— А что делать? Потомки заклеят, но такова моя судьба. Я сам ее выбрал. Надеюсь, со временем они это поймут.

Мария Игнатьевна вдруг остановилась и взяла в ладони его худое лицо с рыжими прокуренными усами.

— Милый вы мой, несчастный, хороший...— На глазах ее сверкнули слезы.— Простите меня, простите...

— Да за что же?

— Я грешна... грешна перед вами. Во многом... Я теперь ведь с Уэллсом, вы знаете?.. Вы ведь все знаете...

— Знаю.— Горький, мягко сняв ее руки со своего лица, сам чуть не заплакал.— И я не виню вас за это. А о грехах... не стоит. У нас у каждого их хватает.

Наклонив головы, они пошли друг подле друга дальше. Третья невенчанная жена Алексея Максимовича, не поднимая глаз, заговорила снова, отделяя каждое слово:

— Недавно Уэллс сказал: «Ежедневно приходят в жизнь тысячи злых, злостных, порочных и жестоких людей, решивших изничтожить тех, у кого остались идиотические добрые намерения. Замкнулся круг бытия. Человек стал врагом человека. Жестокость стала законом. И теперь сила управляет миром, сила, враждебная всему тому, что старается уцелеть. Это — космический процесс, который ведет к полному разрушению». — Мария Игнатьевна, в ожидании ответа, посмотрела на Горького.

— Да, — тихо проговорил тот, — мысли неутешительные. Но в одном он, пожалуй, прав: мы оба ошиблись, полагая, что воля сильнее реальности, а разум человека — единственное божество. Оба мы чересчур положились на науку, как на главное орудие переделки мира. Беспечно посчитали, что человечество не может хотеть себе зла и, чтобы оно сие поняло, его надобно лишь образовать и просветить. — А главное — оба мы причислили природу к врагам человека, призывая бороться с ней и побеждать ее... — Писатель продолжительно покачал сам себе головой и надолго умолк.

Женщина терпеливо ждала, что он скажет дальше.

— А «космический процесс» — это верно. Есть над нами еще нечто, чего мы оба не учли в своей гордыни. Теперь вижу и чувствую сие очень ясно... Однако не верю, что процесс сей ведет к разрушению. Не верю, ибо всякая жизнь тогда — хаос и бессмыслица. — Он поднял тяжелую голову и попробовал улыбнуться. — В отличие от вашего Уэллса, я, по-прежнему, стараюсь быть оптимистом.

— Ах, Алексей Максимович. А не кажется ли вам, что все, в сущности, игра. Я играю в даму,

нужную вам и Уэллсу; вы с Уэллсом — в благородных спасителей человечества?

Горький собрался возразить.

— Погодите! Представьте, что все мы — люди на необозримой шахматной доске, каждому из нас предназначена своя роль, свое значение, как шахматным фигурам, и кто-то незримый передвигает нас по этой доске. Интересно то, что мы понимаем это, кто интуитивно, кто осознанно, но позволяем себя обманывать. Более того, мы входим в азарт и участвуем в этой чужой шахматной партии, как в своей. Но сколько бы мы ни «играли», мы неизбежно «проигрываем» — и свою жизнь, и свою душу. Рано или поздно, нами «жертвуют» и нас кто-то «съедает». Одна видимость, что наши поступки — наши.

— Простите, Мария Игнатьевна, но сие — образец типично женского сознания. Мистика это и чушь.

— Пусть! Пусть так, но лично мне от этого легче. Если это признать, все наши душевные травмы и потери иллюзий не что иное, как тщетная суета.

— Тогда что же — жизнь всамделишная?

— А вот это и есть настоящая тайна. И вряд ли она будет нами разгадана. Я убеждена в одном: мы — люди — лишь средство и материал для чего-то нам неведомого, в чьих-то руках и помыслах. Сами по себе, мы можем сделать очень немногое.

— Для чего же, по-вашему, жить?

— Жить в жизни надо для жизни. А когда она проиграна, остается одно — уцелеть, как можно дольше.

Писатель тяжело вздохнул:

— Да, Мария Игнатьевна... Жили мы с вами, жили, и нате-ка вам... Не ожидал от вас я подобного.

Женщина замкнулась в молчании. Дойдя до тупика аллеи, уткнувшейся в забор, они повернули обратно.

— Знаете,— вдруг бодро сказал Горький,— раньше я считал, что смерть — тоже враг жизни. Такая же унижительная гадость, как и все человеческие отправления. А теперь думаю, она есть самая неотъемлемая часть жизни.

Мария Игнатьевна бросила на него встревоженный взгляд.

— Что вы имеете в виду?

— Если меня допечет голая реальность, «припрет к стене», ускользнуть от нее можно в смерть. Она, оказывается, благо.

Женщина неодобрительно покачала головой и, ничего не сказав, еще глубже умолкла...

Провожать Марию Игнатьевну Алексей Максимович вышел без шляпы, в одном плаще, накинутом на плечи. Под мокрым голым и раскидистым деревом стоял автомобиль с шофером. Писатель сам открыл дверцу и посадил туда свою невенчанную жену под локоть. Потом передал ей дорожный баул.

— Ну, все,— сказал он, взяв ее за руку.— Значит, как договорились?

— Да,— сказала женщина.

— А задерживать вас здесь не станут, я кое-что еще значу.— Горький сказал это специально громко, чтобы услышал безучастный водитель.

— Разумеется.— Второй ладонью Мария Игнатьевна стала гладить тыльную сторону его кисти. Потом напомнила: — Вы простынете...

Он сам забрал обратно руку и захлопнул дверцу.

— Ни пуха, ни пера! — И помахал.

Мотор завелся, но женщина вдруг что-то вспомнила:

— Стойте, стойте!..— Не открывая дверцу, она опустила на окошке стекло.— Совсем забыла...— Мария Игнатьевна полезла в свою дамскую сумочку.— Вот... небольшая просьба...— Она протянула Алексею Максимовичу лист бумаги, сложенный пополам.

Он развернул его, молча прочел и поднял изумленный взор.

— То есть... вы просите меня быть наследницей всех моих изданий и материалов?

— Только зарубежных, Алексей Максимович,— без тени смущения пояснила Мария Игнатьевна.— Там так и указано: «будущих зарубежных публикаций и ныне хранящихся документов».

— Но...— Горький, от подобной неожиданности, не знал, что сейчас ответить.

— Мне кажется, все довольно справедливо,— сказала за него женщина.— Архивы московские вы вправе завещать кому угодно, а там... вы ведь знаете, какой я теперь подвергаюсь опасности. Кроме того, вы всегда можете изменить свое решение не в мою пользу, а мне нужна пока официальная бумага, чтобы им,— она подчеркнула «им»,— я могла в любой момент ее предъявить.

— Да, конечно...— пробормотал писатель, все еще ошарашенный.— Но у меня нет ручки.

Она улыбнулась:

— Зато есть у меня.— И передала самописку.

Алексей Максимович приложил бумагу к крыше автомобиля и широким росчерком поставил свою подпись.

Мария Игнатьевна ловким движением забрала документ и сунула обратно в сумочку.

— Всего доброго, «Дука»... Я напишу.— И кивнула шоферу, чтобы он трогал.

Машина, заурчав, покатила прочь.

Горький понял, что она сознательно «сделала ход» с документом в самый последний момент. Глядя вслед автомобилю, он продолжал стоять под голым деревом и не замечать, как ему на голову, на лицо, на плечи падают с мокрых ветвей тяжелые набухающие капли. Его глаза, полные тоски, страдания, ума и горечи, напоминали сейчас глаза старой, всю жизнь битой собаки...

Через неделю «Правда» напечатала статью своего сотрудника Заславского под названием «Гниль». Статья была глубоко оскорбительна для человека, именем которого были названы улицы в каждом городе Советского Союза, и Горький потребовал заграничный паспорт для выезда в Сорренто. Ему вежливо отказали и пообещали рассмотреть этот вопрос после визита Ромена Роллана в Москву...

* * *

В ту пору в Советскую Россию приезжало немало «передовых умов Европы» — они были встревожены уже реальной угрозой фашизма и усматривали в СССР единственного надежного гаранта, который мог бы ему противостоять.

Ромена Роллана приняли по отработанному сценарию: в сопровождении Горького он встретился с «ликующей пионерией», с комсомольцами, побывал на строительстве станции метрополитена, в Большом театре; ему устроили банкет в Кремле, где произнес тост сам Сталин; но особенно французскому писателю понравился воздушный парад в Тушино: самолет там выписал в

небе гигантские инициалы «отца всех народов» — «И.В.». После завершения торжества Алексея Максимовича и Романа Роллана окружили журналисты, фотокорреспонденты и забросали зарубежного гостя вопросами:

— ...Нравится ли вам Советский Союз?

Француз через переводчицу ответил:

— Направляясь в страну своих давних надежд, я многое предчувствовал, но увиденное превзошло мои ожидания. Я понял, что единственно настоящий мировой прогресс теперь неотделим от судьбы СССР. Именно СССР является пламенным очагом пролетарского интернационализма, которым должно стать и которым будет все человечество.

— Ваше отношение к товарищу Сталину?

Бледное, с желтизной лицо Роллана выглядело болезненным. Слабый голос и печальное выражение глаз усиливали это впечатление. Он попытался приободриться:

— Мы, представители прогрессивных сил, поддерживаем вашего гениального вождя прежде всего за то что он, в отличие от Троцкого — сторонника мировой революции, стоит за революцию в одном государстве. Страны Запада видят возможность вести со Сталиным конструктивный диалог.

— Пусть он скажет о фашизме,— негромко подсказал Алексей Максимович переводчице.

Она склонилась к уху Роллана, он согласно и благодарно закивал коллеге и вновь повернулся к представителям прессы:

— И еще одно соображение..: Неизбежный кризис капитализма породил свое страшное отражение — фашизм. В борьбе с ним либеральная Европа очень рассчитывает на поддержку вашего

мудрого и волевого Сталина. А мы, в свою очередь, будем защищать СССР против всех врагов, угрожающих его подъему.

— А что скажет товарищ Горький?

Алексей Максимович рокочущим баском ответил:

— Лучше, чем мой французский Друг и Учитель, пожалуй, уже не скажешь!

Обоим писателям зааплодировали...

* * *

В легковой машине коллеги отправились на подмосковную дачу в Красково. Горький и Роллан разместились на заднем сиденье по обе стороны от переводчицы, на переднем подле шофера находился неотступный Крючков.

— А где ваш господин Ягода? — спросил его вдруг француз. Секретарь Горького обернулся — он был весь сплошное обаяние — и, через переводчицу, ответил:

— Мой господин рядом с вами. — Он указал на примолкшего Алексея Максимовича. — А Ягода, как мне показалось, вам понравился. Я не ошибся?

— Да, — подтвердил Роллан, — он вызывает симпатию. Но господин Ягода, видимо, плохо осведомлен, что происходит в его департаменте.

— Как это понимать?

— Господин Ягода мне сообщил, что в СССР отменена цензура писем. К сожалению, это не совсем так: немало писем приходят распечатанными и с одним и тем же штемпелем — «Извлечено из почтового ящика в поврежденном виде, конверт плохо заклеен».

Крючков озабоченно нахмурился:

— Вы хотите сказать... они перлюстрируются?

— Именно так.

— Нет, этого не может быть! — решительно заявил секретарь Горького. — Во всяком случае, департамент товарища Ягоды здесь не причем.

Ромен Роллан взглянул на коллегу и увидел, что он угрюмо молчит и смотрит вперед на дорогу каким-то отсутствующим взором.

— Каково ваше мнение? — спросил его француз.

Горький встрепенулся и, подбирая слова, прокашлялся.

— Я, дорогой друг, полагаю... подобные письма могут интересовать и Запад. — И сам себе же подтвердил: — Да, не исключаю.

Ромен задержал на нем недоверчивый взгляд и примолк.

— А как вы находите наше правительство? — полюбопытствовал у него, в свою очередь, Крючков.

— Хорошее, — вежливо отозвался француз. — Но Молотов и Каганович меня поразили.

— Чем же?

— Я выразил им сомнение в целесообразности продажи за границу русских произведений искусства. Их ответ был очень своеобразен: какая нам разница, в Англии они находятся или в Америке? Рано или поздно они все равно будут обобществлены и, значит, навсегда станут нашими.

Петр Петрович безмятежно улыбнулся:

— А что, может, они и правы! Ведь вы сами предсказываете скорый конец капитализма.

Ромен Роллан неуверенно повел плечом и стал смотреть на открывающиеся за окном виды Подмосковья... Не поворачиваясь к Горькому, он завел руку за спину переводчицы и надавил ему пальцем в плечо. Тот на него взглянул и ничего не

понял. Француз надавил ему на плечо еще раз и, продолжая смотреть за окно, вдруг потребовал:

— Остановите!

— Что стряслось? — встревожилась переводчица.

Роллан улыбнулся:

— Пардон, мадам... Пур ле пти.— И показал на лесок.

Автомобиль затормозил, француз выбрался на обочину и направился в рощу.

Горький проговорил:

— Пожалуй, я присоединюсь...

Он тоже вылез и пошел следом за коллегой.

Оказавшись за деревьями, писатели остановились рядом и одновременно воровато оглянулись.

Покинув автомобиль, к ним уже приближался Крючков.

— Я хотеть тет-а-тет,— быстро и шепотом сказал Роллан Алексею Максимовичу.— Карашо?

Горький мучительно улыбнулся и отрицательно поводит головой.

— Нет,— так же тихо ответил он.— Они не дадут... Невозможно.

— О, кошмар!

— Что произошло? — поинтересовался подошедший Петр Петрович.

— Кошмар!..— Француз показал пальцем на огромную жабу, которая сидела напротив на пне.

Крючков наклонился за палкой.

— Нон!..— Роллан схватил его руку.— Нон!

— Будь по-вашему, пусть пасется.

Жаба продолжала сидеть на пне и взирать на людей жутковатыми, холодными глазами пресмыкающегося...

Вернувшись в Париж, Ромен Роллан описал свои впечатления от Советского Союза, но запретил их

публиковать вплоть до 1985 года. Он боялся повредить своими дневниками людям, с которыми ему удалось побеседовать в СССР наедине, а главное — не хотелось ослабить единый антифашистский фронт. О Горьком он написал так: «Он очень одинок, хотя почти никогда не бывает один! Мне кажется, что если бы мы остались с ним наедине... он обнял бы меня и долго молча рыдал»...

* * *

Мария Игнатьевна подкатила к подъезду своей квартиры на «Ричард роуд» 16 на шикарном авто с открытым верхом, в шикарной великосветской компании молодых и пожилых людей. Все были явно под шафе, возбуждены, а женщины повизгивали от хохота. Со всей этой публикой Мария Игнатьевна расцеловалась и выбралась на тротуар, — в изящной летней шляпке, в очень элегантном платье, веселая, с искрящимися глазами.

Один из мужчин отпустил ей не прощание какую-то шутку, дамы опять заверещали, машина, тронувшись, покатила дальше по улице, унося с собой смех лондонского «бомонда».

Помахав вслед рукой, женщина вошла в подъезд с тяжелой кованой медью дверью и начала подниматься по мраморной лестнице... Сверху неожиданно донесся звук скатывающегося предмета, Мария Игнатьевна остановилась, ее глаза все больше стали расширяться... Затем в диком ужасе она пронзительно закричала...

На женщину; а потом и мимо, со ступенек со стуком скатывалась голова... Ее голова!..

Внизу она ударилась о дверной косяк, отскочила и стала долго раскачиваться из стороны в сторону...

Мария Игнатъевна, вжавшись в стену, с онемевшим на лице криком, ждала, когда она остановится...

Наконец, преодолев себя, скованно сошла вниз и со страхом взяла предмет в руки.

Голова была точной ее копией, сделанная из мягкого гипса. На манекене откололись ухо и кусочек подбородка.

Мария Игнатъевна вдруг воздела голову над собой и с силой обрушила ее об пол. Она разлетелась на мелкие осколки.

Некоторое время женщина, как загипнотизированная, глядела на них, затем вновь стала подниматься. Тяжело, медленно, как будто внезапно заболела.

Квартира оказалась распахнутой. В комнатах все было расшвырено, поломано и перерыто вверх дном. Искали архив.

Мария Игнатъевна опустилась у двери на опрокинутое кресло, ее вдруг затрясло. Колени, руки, плечи, особенно подбородок...

Рядом резко зазвонил телефон.

Женщина вся сжалась и окаменела. Дрожь прошла.

Телефон звонил громко, протяжно и настойчиво.

Мария Игнатъевна не двигалась, затравленно смотрела на аппарат и, буквально на глазах, старела...

* * *

В кабинете особняка на Малой Никитской Алексей Максимович одним махом опрокинул на письменный стол корзину с бумажным мусором. Отшвырнув ее далеко на пол, он принялся рыться

в клочках порванных писем и отбирать наиболее уцелевшие. В комнате приглушенно работало радио, транслировали «Шестую симфонию» Чайковского.

Горький нервными руками нацепил очки и стал вчитываться в отдельные строчки:

«...Нет ни хлеба, ни мяса, ни товаров, дорогой писатель. Если верно, что социализм — учет, значит, мы в социалистическом обществе: у нас все дают по карточкам. Провались в преисподнюю такой социализм!..»

«...Как вам не стыдно врать о наших достижениях?..»

«...Ответьте, товарищ Горький, какая разница между крепостными и колхозниками?..»

«...Партийное руководство напоминает сегодня пошивочную мастерскую, «шьющую уклоны»...»

«...Почему нет хлеба?..»

«...изгнать подлинных большевиков, оставив в партии одних холуев...»

«...Горький-публицист позорит и скандалит Горького-художника. Вы — живой мертвец, Горький!..»

Алексей Максимович, как ошпаренный, отскочил от стола и почти забегал по кабинету. Затем рванулся в приемную.

Там никого не было, он открыл дверь в коридор, громко позвал:

— Петр Петров!.. Крючков!.. — И захлопнул дверь обратно.

Взгляд его упал на телефон, он залез во внутренний карман пиджака, достал записную книжку, отыскав какой-то номер, снял трубку и, собравшись позвонить, в изумлении застыл... В трубке явственно слышалась «Шестая симфония» Чай-

ковского. Он положил трубку на стол, просунул голову в кабинет, там по радио продолжала звучать та же музыка. Горький вернулся и опять стал слушать ее через телефонную мембрану.

Вошел Крючков.

— Что это значит?..— сразу спросил его писатель и вытянул к нему трубку.

Секретарь округлил глаза:

— Не понял!..

— Сейчас поймете,— сдерживая бешенство, пообещал Алексей Максимович.— Возьмите и поставьте к уху.

Петр Петрович робко приблизился к аппарату и все послушно исполнил. Горький стремительно скрылся в кабинете, закрыв за собой дверь.

— Ответьте мне, товарищ Крючков...— в трубке раздался разгневанный голос его шефа,— как давно вас завербовал Ягода?

У Крючкова отвисла челюсть, он остался стоять, удерживая трубку у уха, точно замороженный.

Писатель ворвался обратно в приемную.

— Так что?.. Давно вы ему служите или нет?

— Да вы что, Алексей Максимович!..— чуть ли не со слезами воскликнул секретарь.— Помилуйте! Как вам такое пришло в голову?..

— А что тогда — это?!— закричал Горький, указывая на аппарат.— Вы тут сидите и слушаете мои разговоры! Зачем?

Петр Петрович вдруг истерично забарабанил кулаками по столу:

— Прекратите меня сейчас же оскорблять!.. Как вы можете?.. Я сам ничего не понимаю! Что мне слушать, если я всегда с вами и знаю каждое ваше слово?.. Вы подумали об этом?..

Горький на миг притих.

— Но что же все это значит?

— Не знаю... Убейте меня, Алексей Максимович, не знаю... Может... какое-то непонятное замыкание?..

— Да, замыкание!..— яростно подтвердил писатель.— Именно так! Вы кругом меня обложили, обнесли забором и замкнули!..— Он понесся снова в кабинет, оставив дверь распахнутой. Там Горький стал вздывать со стола и подбрасывать в воздух двумя руками бумажный мусор порванных писем.— Вот это — что?.. Тоже замыкание? Я нашел это в кладовке!.. Прячете от меня все, что можно! Кто вам позволил?!..

Крючков оставался на месте, ни жив, ни мертв.

— Но я... Я берег вас, Алексей Максимович... Я хотел как лучше...

— Не смейте!..— еще неистовей закричал писатель.— Не хочу!.. Не лезьте в мою жизнь, вы слышите? Никогда!.. Я уволю! Я всех прогоню прочь и уеду от вас за границу! Навсегда!.. Идите же с глаз долой! — потребовал Горький; не приближаясь.— Вон отсюда!..

Секретарь попятился, открыл спиной дверь приемной и исчез в коридоре.

Алексей Максимович бухнулся на стул, сорвал в своем кабинете телефонную трубку и, дерганно набрав номер, потребовал:

— Мне срочно товарища Сталина!.. Горький. Максим Горький!..— И стал ждать, стуча по столу пальцами.

Спустя длительную паузу в трубке раздался ровный тихий голос:

— Сталин на проводе...

— Товарищ Сталин, здравствуйте. Это товарищ Горький...— Ответного приветствия не последовало.— Товарищ Сталин, вы меня слышите?..

— Да, я не глухой,— спокойно сказал вождь.

Писателя это покорило.

— Я, товарищ Сталин, прошу с вами встречи. Незамедлительно...— Трубка ответила молча-нием.— Я прошу официально выдать мне заграничный паспорт. Притом, второй раз. Я болен, понимаете? Очень болен, мне нужна Италия...— Опять не случилось никакой реакции.— Меня даже не пускают в обычную деревню и ограничи-чили все маршруты моих передвижений... Что происходит?.. Люди, с которыми я желаю встре-титься, тут же куда-то немедленно уезжают. Я что, под домашним арестом?..— Вождь, по-прежнему, молчал.— Я протестую, товарищ Сталин. Я этого не заслужил. Я...— Сталин вдруг отключил теле-фон, Алексей Максимович осекся и с открытым ртом стал слушать прерывистые гудки... Затем испуганно вернул трубку на рычаг и, отвалившись на спинку стула, так уставился в потолок, как будто весь из себя вышел. По радио продолжала звучать музыка Чайковского...

За неделю до этого звонка неожиданно упал и разбился о землю гигантский 8-моторный само-лет-агитатор «Максим Горький».— Алексей Ма-ксимович тогда не придал этому особого значе-ния. Но теперь вдруг понял, что он тоже потерпел катастрофу — «золотая клетка», в которую его по-местил вождь, окончательно захлопнулась...

* * *

С наступлением темноты, действуя в собствен-ном доме как вор, Горький прокрался полутем-ным коридором к парадной лестнице и заглянул вниз.

В вестибюле было тихо, темно, лишь из приот-

крытой двери комендантской комнаты Кошенкова на пол падал узкий луч желтого света.

Писатель, он был в плаще и в шляпе, на цыпочках сошел со ступеней, но у подножья задел небольшую кадку с пальмой — она скрипнула. Алексей Максимович тенью метнулся под лестницу, и вовремя — из своей комнаты тотчас высунулся Кошенков. Он долго, настороженно прислушивался, потом исчез обратно, оставив, по-прежнему, открытой дверь.

Из своего укрытия Горький увидел за окном фигуру дежурившего охранника у парадного подъезда.

Писатель свернул за угол и бесшумно пошел по коридору первого этажа. В конце его он юркнул в какое-то помещение.

Это был туалет. Здесь Алексей Максимович очень осторожно открыл раму, взобрался на подоконник, тихо вылез через него во внутренний дворик особняка и притворил окно обратно.

В Москве давно сгустился вечер, в отдалении светили уличные фонари. Горький быстро прошел к железной ограде и с трудом выскользнул сквозь слегка разогнутые прутья на волю...

* * *

Писатель явился на ГЛАВПОЧТАМТ, который работал круглосуточно. Людей было немного. Он отыскал окошко с надписью: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ», взял на століке два бланка и заполнил их собственной самопиской. Затем просунул их молоденькой телеграфистке, сам стараясь не смотреть в маленькое окошко.

Девушка, привычно проверяя текст и ставя на

— Да, я не глухой,— спокойно сказал вождь.

Писателя это покорило.

— Я, товарищ Сталин, прошу с вами встречи. Незамедлительно...— Трубка ответила молча-нием.— Я прошу официально выдать мне заграничный паспорт. Притом, второй раз. Я болен, понимаете? Очень болен, мне нужна Италия...— Опять не случилось никакой реакции.— Меня даже не пускают в обычную деревню и ограничи-ли все маршруты моих передвижений... Что происходит?.. Люди, с которыми я желаю встре-титься, тут же куда-то немедленно уезжают. Я что, под домашним арестом?..— Вождь, по-прежнему, молчал.— Я протестую, товарищ Сталин. Я этого не заслужил. Я...— Сталин вдруг отключил теле-фон, Алексей Максимович осекся и с открытым ртом стал слушать прерывистые гудки... Затем испуганно вернул трубку на рычаг и, отвалившись на спинку стула, так уставился в потолок, как будто весь из себя вышел. По радио продолжала звучать музыка Чайковского...

За неделю до этого звонка неожиданно упал и разбился о землю гигантский 8-моторный само-лет-агитатор «Максим Горький».— Алексей Ма-ксимович тогда не придал этому особого значе-ния. Но теперь вдруг понял, что он тоже потерпел катастрофу — «золотая клетка», в которую его по-местил вождь, окончательно захлопнулась...

* * *

С наступлением темноты, действуя в собствен-ном доме как вор, Горький прокрался полутем-ным коридором к парадной лестнице и заглянул вниз.

В вестибюле было тихо, темно, лишь из приот-

крытой двери комендантской комнаты Кошенкова на пол падал узкий луч желтого света.

Писатель, он был в плаще и в шляпе, на цыпочках сошел со ступеней, но у подножья задел большую кадку с пальмой — она скрипнула. Алексей Максимович тенью метнулся под лестницу, и вовремя — из своей комнаты тотчас высунулся Кошенков. Он долго, настороженно прислушивался, потом исчез обратно, оставив, по-прежнему, открытой дверь.

Из своего укрытия Горький увидел за окном фигуру дежурившего охранника у парадного подъезда.

Писатель свернул за угол и бесшумно пошел по коридору первого этажа. В конце его он юркнул в какое-то помещение.

Это был туалет. Здесь Алексей Максимович очень осторожно открыл раму, взобрался на подоконник, тихо вылез через него во внутренний дворик особняка и притворил окно обратно.

В Москве давно сгустился вечер, в отдалении светили уличные фонари. Горький быстро прошел к железной ограде и с трудом выскользнул сквозь слегка разогнутые прутья на волю...

* * *

Писатель явился на ГЛАВПОЧТАМТ, который работал круглосуточно. Людей было немного. Он отыскал окошко с надписью: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ», взял на столике два бланка и заполнил их собственной самопиской. Затем просунул их молоденькой телеграфистке, сам стараясь не смотреть в маленькое окошко.

Девушка, привычно проверяя текст и ставя на

нем свои закорючки, вдруг с оживленным любопытством вскинула голову:

— Вы — товарищ Горький?

— Да,— буркнул из-за перегородки Алексей Максимович.

— Ой, как интересно... Девчонки! — закричала она.— Смотрите, к нам пришел сам Максим Горький!

Сотрудницы повскакивали из-за соседних столов и сбежались к окошку.

— Здравствуйте, Алексей Максимович!..— заверещали они наперебой.

— Ой, прямо как настоящий!..

— Мы вас очень любим, товарищ Горький!..

— Благодарю, спасибо,— пробормотал писатель и, забрав отправной корешок, поспешил ретироваться. Он был раздосадован, что его заметили...

На улице писатель поглубже нахлобучил шляпу на глаза и зашагал среди прохожих. Через некоторое время ему почудилось, что за ним кто-то неотступно идет. Он оглянулся и увидел человека в черном.

Алексей Максимович свернул в переулок, тот за ним.

Он остановился, человек с острой бородкой тоже.

Горький нырнул под арку, полагая, что там проходной двор, но он оказался замкнут. Посередине высилась небольшая церквушка.

Черный мужчина появился и во дворе.

Писатель потянул на себя высокую дверь храма и ступил внутрь.

Спрятавшись в нише, он стал ждать. Дверь приоткрылась, человек с бородкой настороженно из-за нее выглянул, но тут же отпрянул, закрывшись обратно.

Алексей Максимович прильнул к небольшому окошку и в свете фонаря различил его фигуру, стремительно уходящую прочь со двора.

Горький прошел в глубь церкви. Она была пуста, и его шаги гулко отдались под сводами. Вдали, у скромного алтаря горели несколько тонких свечей.

Писатель поднял голову и стал рассматривать под куполом еле различимое изображение Христа.

— Как странно... Вы все же пришли к Богу, — вдруг негромко сказал кто-то.

Алексей Максимович вздрогнул и, повернувшись на голос, увидел священнослужителя с седой бородой. Он стоял в полутьме за углом и, видимо, давно наблюдал за писателем. Горький, недовольно нахмурившись, ответил:

— Я никуда не пришел. Я просто... из любопытства.

— Вы меня не припоминаете? — спросил священник.

— Нет... — Алексей Максимович шагнул к нему ближе. — Вы кто?

— 18-й год... Ваша квартира на Кронверкском, на другой день после разгона Учредительного собрания... Молодой художник, с этой же бородой, но темной... Я бросил вам тогда обвинение...

Писатель внимательней всмотрелся в него и отрицательно поводитил головой:

— Не могу вспомнить, нет... А в чем вы меня обвинили?

— Я сказал, что Ленин служит сатане, а вы ему помогаете.

Горький несколько секунд ошарашенно молчал.

— Да... — наконец тихо сказал он. — Это было... Вы, кажется, тогда обиделись и ушли.

— Верно. Но я не обиделся.

Алексей Максимович оглянулся.

— Эта церковь... она действует?

— Да. Одна из немногих.

— И вы... теперь в ней служите?

Священник согласно кивнул и вдруг очень хорошо улыбнулся:

— Но я не оставил и живопись... Хотите, я вам кое-что покажу?

Горький неуверенно помялся.

— Что ж, давайте...

В каморке священнослужителя писатель рассеянно пересмотрел несколько его полотен — все на религиозную тему.

— Простите,— сказал он,— но меня подобное не впечатляет. Церковные сюжеты, ведь это... чистейший вымысел, а я реалист.

— А не кажется вам, что все наоборот?

— В смысле?

— Вымысел... притом, дичайший вымысел — там...— Бывший художник повел рукой за пределы храма.— А здесь...— он показал пальцем в пол,— вся правда.

— Не думаю. Там — правильная или неправильная, но жизнь. Там все. А что в этой каморке?

— Все, Алексей Максимович,— это ничего. Каждому из нас — нужно только одно. Но с Богом.

— Объясните!

— Кто Его в себе слышит — для того и в самом малом открывается вся Вселенная.

Горький задумался. Потом вдруг со слабой улыбкой признался:

— Я ведь не раз пытался сие сделать, но... видно, не дано. Может, научите?

— Это не геометрия, Алексей Максимович, и даже не алгебра. Бог замолкает в душах людей, ко-

торые убеждены, что человек — это всего лишь сцепление атомов.

— Но что же он тогда?

— В идеале — человек, Его материальное воплощение. Но суть Божьего проявления в нас — наша совесть.

— Вот как?.. А разум? Что же это?

— Я вам сказал это еще тогда, вы забыли: разум без Бога — сатана, устремленный к разрушению.

— То есть в благородство мысленной силы самого человека, без предрассудков, вы не верите?

Священник заглянул как бы в самую глубину глаз Алексея Максимовича, со спрятанной на их дне печалью.

— Я не верю вам,— спокойно ответил он.— Ибо вижу, вы давно согласились с истиной, что «дорога в Ад вымощена только благими побуждениями разума». И наша великомученица Россия — тому подтверждение.

Горький наклонил голову и долго молчал. Затем, не поднимая взгляда, неожиданно спросил:

— А что, если и мне... как вы?..

— Теперь не понял вас я!

— От всего скрыться... Хоть в монахи?

Священник покачал головой.

— Это самообман. От самого себя вы не убежите.

— Что же тогда делать?

— Постараться услышать в себе Бога.

— Как?

— Совесть. Это Его голос... Она все подскажет.

Писатель грустно усмехнулся и протянул бывшему художнику руку.

— Спасибо за советы,— сказал он,— но вы меня не убедили.

— Почему?

— Бог — все-таки абстракция того же разума, которому вы так не доверяете. Всего вам доброго.— И пошагал обратно из церкви.

Священнослужитель осенил его вслед крестным знаменем...

* * *

Ягода положил на стол Сталину копии двух телеграмм.

— Одна Андре Жиду, другая Арагону,— кратко пояснил он и, отступив на два шага, изобразил своей позой, что ждет дальнейших распоряжений.

Вождь внимательно изучил тексты, медленно поднял глаза.

— Как думаете, для какого такого разговора Горький их приглашает?

— Надо полагать, не для веселого,— позволил себе пошутить начальник НКВД.

Сталин раздумчиво и согласно покачал головой. Потом спросил:

— Как дела с архивами?

— Будберг согласна. Но ставит последнее условие: она хочет привезти их сама и передать в руки владельцу.

— Что ж... пусть прокатится. Мы даже встретим ее со спецвагоном на границе.

— Понял, товарищ Сталин.

Вождь вышел из-за стола и, заложив руки за спину, немного походил.

— Вам не кажется...— он остановился,— что у нашего пролетарского писателя пропал талант?

Ягода приподнял плечи и, не зная, что отвечать, остался в этом положении.

— Он давно ничего не пишет,— снова сказал Сталин.— Одни бездарные очерки.

— То есть... вы хотите сказать...

— Да! Пора всем открыть глаза и объявить его банкротом.

— Но... как это сделать, товарищ Сталин?

— Со временем мы это обдумаем. А пока — с этим Жидом и... вторым...

— Арагоном,— подсказал шеф ГПУ

— С ними наш, выживший из ума, пролетарский писатель не должен встретиться.

— Понимаю.

— И не спрашивайте «как»? Это уже ваше дело.

— Да, товарищ Сталин. Но... может, имеет смысл с ним еще раз переговорить? Он давно этого просит.

Вождь отмахнулся:

— Не нужен. Надоел. Опять станет вымаливать паспорт.

— Но Горький... сидит в приемной.

Лицо Сталина сразу ожесточилось.

— Кто пустил?

— Я...— робко отозвался начальник НКВД.— Он мне сообщил, что готов теперь написать книгу «Ленин и Сталин».

Вождь обрадовался, но совсем не так, как ожидал Ягода — мстительно и торжествующе.

— Приглашайте,— распорядился он.

Шеф ГПУ удалился, через несколько секунд в кабинет робко ступил Горький.

Сталин не подошел к нему, не протянул руки, а сел обратно за стол и хозяйским жестом показал на кожаный диван:

— Располагайтесь!

Алексей Максимович неуверенно присел на са-

мый край и вдруг, словно поперхнувшись, стал долго и надсадно кашлять в платок. Когда он утих, вождь как-то двусмысленно произнес:

— Теперь я вижу, вы и правда больны.

— Да,— подтвердил писатель.— У меня снова открылось кровохарканье.— И, показав платок со сгустками крови, сунул его комом в карман.

Сталин отвернул голову и ничего не ответил.

Горький молчал тоже. Возникла очень долгая пауза. Писатель ждал вопроса, а вождь сознательно не начинал разговор, показывая своим видом, что лично ему от посетителя ничего не нужно. Он даже изобразил, что тут же забыл о нем, принявшись перебирать какие-то бумаги и делать на них пометки.

Алексей Максимович это понял и невольно стиснул желваки. Затем с нервной дрожью в горле проговорил:

— Простите за назойливость, товарищ Сталин... Но чем все-таки объяснить ваше изменившееся ко мне отношение?

Сталин оторвался от дел и как бы вспомнил, что он еще здесь.

— Не понял!.. Вы чего от меня хотите?

— Что я хочу, вам хорошо известно. Однако я пришел сказать о другом. Я... готов пересмотреть некоторые свои представления и ту книгу — «Ленин и Сталин»... В общем, я для нее созрел, но при условии, что вы прекратите сводить на «нет» лучшую часть партии.

Вождь резко выпрямился.

— Как?..— спросил он.— Как груша созрели, товарищ Горький, или... как одуванчик?

Горького точно ударили, он весь сжался.

Сталин прошел на середину кабинета и встал напротив.

— Поздно, господин бывший пролетарский писатель,— сказал он.— Для такой книги у вас уже кишка тонка. Наш «буревестник» давно кудахчет, как курица.

Писатель буквально онемел.

Вождь отвернулся и, заходя из угла в угол, начал разговаривать сам с собой:

— Он, видите ли, созрел и теперь думает, я стану прыгать до потолка... Этот одуванчик захотел меня облагодетельствовать, но решил поставить условие...— Сталин внезапно остановился. Со злым лицом и сузившимися глазами.— А что, если я на тебя душу?

— Почему... на «ты»?..— потеряв от страха и унижения голос, но пытаясь сохранить остатки достоинства, выговорил Алексей Максимович.

Вождь выбросил в его сторону руку с оттопыренным указательным пальцем:

— Потому что ты — проститутка!..— И, увидев остановившийся взор писателя, предупредил: — Только не строй из себя целку. Твой импотентный очерк «Ленин», который ты переписал семь раз — фальшивка! «Старик», которого ты вознес до небес, был злой и мерзкий, и ты это знаешь, но меня... посчитал его недостойным. Молодец! Правильно! Этому тирану я не гошусь и в подметки. Он держал тебя «на хлебе и воде», а я даю есть из корыта самого правительства! Я окрестил твоим именем города и самолеты, улицы и пароходы; я вожу тебе из Египта папиросы, я выгуливаю тебя с твоей сворой в Италии, я завалил страну миллионами твоих сопливых статей и книг, но ты еще крутишь яйца со своим архивом, а теперь надумал пожаловаться на меня Жиду!..— У Сталина, от охватившей его хриплой злобы, прорвался сильный кавказский акцент. Он близко наклонился к об-

мершему писателю и потряс перед его носом пальцем.— Ты не за партию испугался, ты за себя в штаны наложил. И правильно! Ты уже харкаешь кровью, но теперь станешь харкать у меня до конца жизни. Ты...

— Не смей мне «тыкать»!.. Ублюдок!..— Горький вдруг вырос перед ним во весь свой могучий рост. Лицо его было страшно, оно беспорядочно дергалось. Сталин невольно отступил, писатель вплотную на него надвинулся, отчего тот стал ему по плечо.— Я Ленину правду говорил...— зашипел он сквозь зубы.— А тебе и подавно... уголовник... Да — блатной и уголовник! — Вождь, не сводя взгляда с ощерившегося лица Горького, попятился, наткнулся на кресло и сел туда, откинувшись на спинку.— Больше того — мокрушник!..— Алексей Максимович навис над ним, как глыба.— Сколько крови уже пустил — все мало? Теперь мои архивы понадобятся? Вот!..— Писатель выставил перед ним согнутый локоть и сжал кулак.— Да я сам тебя с потрохами сожру, урка! Он «по фене» со мной заговорил. Ты что думаешь, я таким рога не обламывал? И тебе...— Горький взял со стола мраморное пресс-папье и занес над головой Сталина.— Хочешь, мозги вышибу?.. По полу потекут, мразь!..

Вождь побледнел и вжался в кресло.

Алексей Максимович поставил пресс-папье обратно, брезгливо от него поморщился и пошел вон. Но вдруг вернулся и наставил на одеревеневшего Сталина палец:

— Пусть я буду харкать, но ты теперь изойдешь поносом! Ты ведь в корне трус!.. А я всем объявлю... Весь мир узнает... Я!.. Я породил вас — племя кровожадных безумцев! Я накликнул на Россию беду! Я помог вашей банде превратить страну

в трудколонию! Я прикрывал ваше насилие и безмозглость! Я потакал вашей античеловечной системе, в которой народ — навоз и материал для экспериментов! Я — был проповедником идеологического гнета одного класса! Я агитировал за строительство новой жизни на костях и могилах! Я позволял самоуничтожаться русским людям! Я чуть не восславил в веках нечистоплотного «пахана» — тебя, выbleядок! Я, вместе с отпетыми негодьями, сам стал негодяем! Я... — Горький увидел остекленевший взгляд вождя, махнул на него рукой и быстро вышел прочь.

Сталин долго не шевелился... Затем сел прямо и, как истукан, отрешенно уставился перед собой в пространство... И вдруг стал икать. Громко, безостановочно, сильно дергаясь грудью... В пустом кабинете с высокими потолками икота вождя отдавалась эхом...

* * *

Алексей Максимович заглянул в церковь, там проходила служба.

Он тихо вошел, снял шляпу и встал в группе прихожан. В основном это были старухи, два мужчины-инвалида и одна молодая девушка. У алтаря священнодействовал незнакомый Горькому человек.

Писатель склонился к одной из женщин, спросил:

— А где прежний батюшка... с седой бородой?

Она приставила палец к губам, затем на ухо шепнула:

— Арестованный он.

Все вдруг опустились на колени, Алексей Максимович, потрясенный этим известием, остался

стоять посреди храма столбом. На клиросе запели:

— Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй...

Горький заплакал...

* * *

Резко застопорил, запыхтел и зашипел паровоз, испуская клубы пара.

Из вагонов поезда, которые он тащил, начали выскакивать пассажиры и собираться возле него в толпу.

Некоторым удалось увидеть, как двое людей подняли с рельс какой-то мешок в лохмотьях и занесли его за паровоз.

— Кто это был?..— стали переговариваться они друг с другом.

— Мальчик!..

— Да нет же, овца, я видел...

— А я говорю, маленький мальчик. Перебегал и угодил...

— Граждане!..— перед ними возник милиционер.— Прошу расходиться, едем дальше!

— Кто попал под поезд? Овца или мальчик?

— Какая вам разница? Никакого мальчика не было, садитесь, сейчас трогаемся!

Пассажиры отправились обратно.

Паровоз засвистел, дернул состав и, набирая ход, двинулся дальше навстречу закатывающемуся багровому светилу.

На месте происшествия остался один мужчина. Он долго смотрел вслед удаляющемуся поезду, затем обернулся и лукаво вдруг подморгнул. Это был черный человек с острой бородкой.

— А ведь и правда,— сказал он,— мальчика-то и не было.— И пошел за составом по путям.

— Эй!..— окликнул его кто-то.— Ты лжешь!.. Я жив.

Тот опять оглянулся и увидел Горького. Он стоял на истерзанных лохмотьях. Мужчина с бородкой чуть удивился, затем отрицательно поводил головой:

— Ты ошибаешься, ты труп.

Писатель к нему враждебно приблизился:

— А ты меня потрогай.

Черный человек протянул к нему руку, но Горький, ударив по ней, вдруг схватил его за горло и повалил на шпалы.

— Я обещал...— Он принялся изо всех сил душиить мужчину.— Я предупреждал, что задавлю тебя... Я верну тебя в твою преисподнюю, сатана... с твоим же «новым человеком»!..— Черный человек захрипел, у него стали вылезать из орбит глаза.— Изыди, гнус!.. Изыди от меня со своей химерой!..

Взгляд мужчины помутнел и стал таять. А вместе с ним, под руками писателя, начали исчезать и растворяться в воздухе его голова и тело...

Наконец на месте черного человека ничего не осталось — пустота, а Горький все сжимал и сжимал ее скрюченными пальцами...

Пальцы Алексея Максимовича, вцепившиеся в одеяло, вдруг расслабились, он очнулся и открыл глаза.

Писатель лежал на постели в комнате санатория в Горках, которая была переоборудована в больничную палату. Над ним склонились двое врачей, за их спинами стояли Екатерина Павловна Пешкова, невестка, Крючков, Ягода и Мария Игнатьевна.

— Жив...— произнесла она первой.— Он будет жить.

— Потихе,— попросил один из докторов.— Кризис явно миновал, но Алексей Максимович очень слаб.

Горький еле слышно проговорил:

— Оставьте меня... с Марией Игнатьевной...

Врачи и все остальные переглянулись и неохотно покинули помещение.

Мария Игнатьевна была вся в черном, она осторожно присела на табурет у кровати писателя.

Он вдруг очень слабо улыбнулся.

— Чему вы?...— тихо спросила женщина.— Еле выкарабкались и уже снова оптимист?

Горький ответил:

— Я освободился...

— От чего?

— Не важно... Что со мной?

— Серьезнейшее воспаление легких, сердце... в общем, целый букет. Но вы все одолеете, я уверена.

— Нет...— проговорил Алексей Максимович.— Не надо... Смерть — теперь лучше...

— Прекратите эти разговоры... Вы, кстати, не закончили еще «Клима Самгина».

— Это уже не существенно. Архивы... на месте?

Мария Игнатьевна опустила глаза и согласно кивнула.

— Спасибо...— Писатель дотянулся до ее запястья и слегка его стиснул.

Женщина вдруг беззвучно и продолжительно заплакала...

В соседней комнате находились Крючков, Пешкова и невестка Горького. Первые двое удрученно сидели на кушетке, Надежда раздраженно ходила от окна к стене.

— ...Ворона...— говорила она с неприязнью.— Тут же прилетела... Нет, ее нельзя с ним надолго оставлять, она потребует от него и московское наследство.

Крючков усомнился:

— Вряд ли... Наглости ей, конечно, не занимать, но не до такой же степени?

— Вы ее недооцениваете,— угрюмо заметила Екатерина Пешкова.

— Смотрите!..— Невестка вдруг показала в окно.— Сталин...

К санаторию подъехали три черных автомобиля. Из одного из них вышел вождь. Из других охрана. Все скрылись в здании...

Сталин приоткрыл дверь в комнату Горького и, увидев у постели женщину в черном, закрыл ее обратно. Позади него стояли Ягода и Крючков.

— Что там за монахиня?— строго спросил вождь.

— Это Будберг,— негромко пояснил секретарь Горького.— Та, что привезла архивы.

Сталин перевел вопросительный взгляд на Ягodu.

— Все в порядке,— сказал он.— Из спецвагона архив доставлен в надежное место.

— Каков приговор медицины?

— Состояние тяжелейшее... Только что товарищ Горький вышел из предсмертного состояния, но в любой момент может наступить удушье.

— Само собой?

— Да.— Начальник НКВД поднял голову и, встретив пристальный взгляд вождя, наклонил ее снова.

Сталин показал Крючкову на дверь:

— Гоните ее... И вообще — всех! Пусть никто возле него не маячит.

— Когда... товарищ Сталин? — робко уточнил секретарь писателя.

— Сейчас же!

Крючков сразу ступил в комнату и, спустя некоторое время, вернулся с Марией Игнатьевной. Она, увидев вождя, проговорила:

— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.

Он демонстративно встал к ней спиной и жестко ответил:

— Не люблю предателей.

Мария Игнатьевна, точно ушибленная, обхватила руками голову и, отшатнувшись, почти побежала прочь по коридору.

Сталин вошел к Горькому

Алексей Максимович, увидев его, с усилием приподнялся повыше на подушках и насторожился.

Вождь опустился на табурет напротив и стал смотреть на него холодными, ничего не выражающими глазами.

Писатель взирал на посетителя абсолютно так же. Потом вдруг тихо спросил:

— Ну, что... пришел поглядеть, как я подыхаю?

— Угадал,— невозмутимо откликнулся Сталин.— Не могу отказать себе в таком удовольствии.

Горький слабо усмехнулся и, спустя паузу, заметил:

— А ты... даже грузином быть перестал.

Вождь резко встал, собрался сказать что-то, но передумал и быстро пошел прочь. По пути он задел и опрокинул отставленную капельницу с консервированной кровью.

Она раскололась, по полу стала растекаться большая красная лужа...

* * *

Зиновьева и Каменева везли на «черном вороне» в Кремль. Освещенные тусклым светом из зарешеченного оконца, они сидели на узкой скамеечке рядом с энкавэdistами и, подрагивая на ухабах дороги, нахохленно молчали...

Из всех арестованных членов партии, отобранных для первого открытого и показательного процесса, Сталин придавал наибольшее значение Зиновьеву и Каменеву. Бывшие соратники Ленина были способны объединить вокруг себя партийные массы, и вождь решил свести с ними счеты на сей раз уже окончательно. Ягоде и Ежову он приказал: «Поработайте с ними так, чтобы они приползли ко мне с признаниями в зубах на брюхе». ...И вот теперь они «ползли». Но еще в надежде выторговать себе кое-какие условия. Они решили согласиться на показания в суде, если Сталин подтвердит свои обещания сохранить им жизнь в присутствии всего Политбюро...

«Черный ворон» остановился, охранник распахнул дверь и приказал:

— Выходи!..

Зиновьев и Каменев выбрались в ночь...

* * *

В сопровождении двух гепеушников и Ягоды они гуськом вошли в кабинет Сталина и остановились посередине.

Вождь, он сидел у стены рядом с Ворошиловым и Ежовым, молча показал Зиновьеву и Каменеву на противоположный ряд стульев.

Они, без единого слова, послушались, по бокам от них опустили энкавэdistы, Ягода

остался стоять у двери. Установилась всеобщая тишина.

— Ну, что скажете? — тягуче спросил вождь.

Соратники Ленина обменялись взглядами. Каменев неуверенно проговорил:

— Нам обещали... что наше дело будет рассматриваться на заседании Политбюро.

— А что это?.. — Сталин повел рукой на своих соседей. — Товарищ Ворошилов, товарищ Ежов и товарищ Сталин — по-вашему, они пустое место?

— Но вы... не весь состав...

Вождь жестко отрезал:

— Перед вами комиссия Политбюро, уполномоченная выслушать все, что вы скажете.

Поднялся Зиновьев. Он заговорил очень взволнованно, с тяжелой одышкой:

— Я начну с того, что за последние несколько лет мне и Льву Борисовичу давалось немало обещаний, из которых ни одно не выполнено... И поэтому я спрашиваю: как после всего этого мы можем полагаться на новые обещания? Ведь когда после смерти Кирова нас заставили признать, что мы несем моральную ответственность за это убийство, товарищ Ягода... — Григорий Евсеевич повел в его сторону головой. — Он передал нам ваше личное, товарищ Сталин, обещание: это — последняя наша жертва. И что же?.. Теперь против нас готовится позорнейшее судилище, которое покроет грязью не только наши имена, но и всю партию.

«Комиссия» Политбюро бесстрастно молчала.

— Я взываю к вашему благоразумию, товарищ Сталин. Я заклинаю!.. Отмените этот судебный процесс, ибо он бросит на Советский Союз пятно небывалого позора! Подумайте только, — в голосе

Зиновьева зазвучали слезы,— вы хотите изобразить членов ленинского Политбюро и личных друзей Ленина беспринципными бандитами, а нашу большевистскую партию пролетарской революции представить змеиным гнездом интриг, предательства и убийств... Если бы Владимир Ильич был жив, если б он видел все это!..— Зиновьев вдруг разразился безутешными рыданиями и повалился обратно на стул.

Сталин спокойно указал Ягоде на графин.

Тот быстро налил в стакан воды и поднес Зиновьеву. Он, расплескивая воду дрожащими руками, сделал несколько глотков.

Вождь, выждав, когда Зиновьев успокоится, негромко сказал:

— Теперь поздно плакать. О чем вы думали, когда вступили на путь борьбы с ЦК? ЦК не раз предупреждал вас, что ваша фракционная борьба кончится плачевно. Вы не послушали, а теперь это доказываете сами. Но даже сейчас вам говорят: подчинитесь волé партии — и вам и всем тем, кого вы завели в болото, будет сохранена жизнь. Но вы опять не хотите слушать.

— А где гарантия, что вы нас не расстреляете? — спросил Каменев.

— Гарантия? — переспросил Сталин.— Какая, собственно, тут может быть гарантия? — Он иронично усмехнулся.— Может, вы хотите официального соглашения, заверенного Лигой Наций?

Соратники Ленина опять затравленно переглянулись.

Сталин встал и принялся неторопливо прохаживаться по кабинету в любимой позе — заложив руки за спину.

— Зиновьев и Каменев, очевидно, забывают, что они не на базаре, где идет торг насчет украден-

ной лошади, а на Политбюро коммунистической партии большевиков. Если заверения, данные Политбюро, для них недостаточны,— тогда, товарищи...— Он остановился и посмотрел на Ежова и Ворошилова.— Я не знаю, есть ли смысл продолжать с ними разговор?

Ворошилов вдруг в гневе вскочил.

— Вы как себя ведете?!..— вскричал он.— Вы еще смеете диктовать нам условия?.. На колени!..— Ворошилов топнул ногой.— На колени перед товарищем Сталиным, за то, что он спасает вам жизнь!

Зиновьев и Каменев не двигались.

— Ах, вы не желаете?.. Так черт с вами!.. Подышайте!..— Ворошилов, весь красный, сел обратно, вытирая платком взмокший лоб.

— Но как нам верить?!..— Вы нарочно, при такой жаре, включаете у нас в камерах центральное отопление. У меня астма, я мучаюсь... Вы развалили мне печень, я часами катаюсь от колик по полу и умоляю, чтобы пришел доктор!..

— Неправда,— возразил Ягода.— Врач у вас был. И не раз.

— Был, да, был! Но он мне выписывает такое лекарство, от которого становится еще хуже!..

Каменев, гордо поднявшись, объявил:

— Могу вам сказать: мы нашли способ передать письмо товарищу Горькому и описать ему наши мучения! И он его получит!

Вождь удивился:

— Вот как?.. Но Горький... умер.

— Когда?..— ошарашенно спросил Лев Борисович.

Сталин посмотрел на часы.

— Я думаю, ровно десять минут назад.— И бросил тяжелый взгляд на Ягodu.

Тот, под этим взглядом, медленно попятился и удался из кабинета.

Теперь заплакал Каменев — без всхлипов, молча, растирая кулаками редкие слезы.

Вождь некоторое время смотрел на него с искренним изумлением. Потом вновь размеренно заходил.

— Признаём честно, — заговорил он предельно спокойно, — было время, когда Каменев и Зиновьев отличались ясностью мышления и способностью подходить к вопросам диалектически. Сейчас они рассуждают как обыватели. Да, товарищи, как самые отсталые обыватели. Они себе внушили, что мы организуем судебный процесс специально для того, чтобы их расстрелять. Это просто неумно! Как будто мы не можем расстрелять их и без всякого суда, если сочтем нужным. Они забывают три вещи, — Сталин опять остановился: — первое — судебный процесс направлен не против них, а против Троцкого, заклятого врага партии. Второе — если мы их не расстреляли, когда они активно боролись против ЦК, то почему мы должны расстрелять их после того, как они помогут ЦК в его борьбе против Троцкого?

Ворошилов и Ежов согласно и одновременно кивнули.

— И третье — товарищи также забывают, что мы, большевики, являемся учениками и последователями великого Ленина и не собираемся проливать кровь старых большевиков, какие бы тяжкие грехи по отношению к партии за ними не числились. — Вождь произнес это с глубоким чувством и очень убедительно.

Зиновьев и Каменев в третий раз обменялись взглядами. Лев Борисович снова поднялся.

— Хорошо, — тихо сказал он. — Мы согласны

предстать перед судом, если вы обещаете, что никого из старых большевиков не ждет расстрел, что их семьи не будут подвергаться преследованиям и что впредь за прошлое участие в оппозиции не будут выноситься смертные приговоры.

— Считайте, что сделка состоялась... Договорились! — Сталин широко и довольно улыбнулся в усы...

После показательного процесса с «чистосердечными» признаниями Зиновьева и Каменева, оба были незамедлительно расстреляны...

* * *

Федор Иванович Шаляпин, в белом костюме, в канотье, с элегантной тростью, беспечно вышагивал по городской, почему-то абсолютно пустой улице и напевал себе под нос что-то веселое.

И вдруг... завернув за угол дома, обмер.

Там стоял Горький. Полуголый, с огромным камнем на впалой худой груди.

— Федор... — тихо попросил он, — сними...

Шаляпин отступил от него и испуганно поталя головой:

— Нет... Не смогу... У меня он тоже...

По лицу Алексея Максимовича потекли крупные слезы...

Федор Иванович проснулся и резко сел на койке в каюте океанского лайнера. И долго сидел подавленный и очумелый, вперившись взглядом в стену.

За иллюминатором была ночь, над подсвеченной прожектором корабля морской пеной плыли звезды...

* * *

Молния разрезала черное небо, ударил гром, над Горками хлынул ливень.

В комнату Горького, пребывающего в полузабытьи, тихо вошел Крючков. С газетой, свернутой в трубку. Он приблизился к кровати и, встав за спиной у изголовья, медленно вытянул из-под большого одну из подушек.

Алексей Максимович вдруг открыл глаза. Он часто, с короткими всхрипами задышал.

— Ты что?..— еле слышно произнес писатель.— Петр Петров?..

— Тише,— шепотом сказал ему секретарь.— Я принес вам новый проект конституции.— И положил на грудь Горькому свернутую газету.

— Почему тише и зачем... ночью?..— Алексей Максимович потянулся к ней рукой.

Крючков быстро опустил подушку ему на голову и, сильно придавив, долго не отпускал.

Пальцы Горького стали судорожно стискивать газету, а другая рука отчаянно скрести матрац... Наконец он внезапно затих, газета упала на пол.

Секретарь, с прикрытыми глазами, подержал подушку еще с полминуты. Затем водворил ее на прежнее место, поднял газету и положил ее Алексею Максимовичу под мертвую руку. Потом, так же тихо, как появился, вышел.

За окном опять полыхнула молния, еще сокрушительнее раздалась раскаты грома...

* * *

Несколько врачей положили абсолютно голое Горького на голый стол и заслонили его своими спинами в белых халатах.

Внизу у стола стояло жестяное ведро с водой... Спустя паузу, туда упал мозг писателя. Он выплеснул на пол тяжелые брызги и плавно заковылялся.

Ведро взял Крючков и понес из комнаты.

Он пошагал длинным коридором санатория, уходящим в темноту...

Через несколько часов после вскрытия писателя, Крючков дал интервью. Он сообщил, что Горький, ознакомившись перед смертью с новым проектом конституции СССР, сказал: «Сейчас, наверное, от радости плачут даже камни!» Еще секретарь пожаловался, что ему было неприятно и страшно уносить мозг писателя...

Ведро с мозгом Алексея Максимовича равномерно покачивалось и поскрипывало... Вместе с Крючковым оно постепенно скрылось в темной части коридора и растворилось в черноте...

* * *

Поскрипывая босыми ногами по гальке, Горький вышел из этой черноты к реке. Была ночь, по воде бежала рябь, в ней переливались отражающиеся звезды.

Алексей Максимович посмотрел на себя и увидел, что он в каком-то грубом рубище.

Поодаль от него на берегу стояли сотни людей, они были в таких же одеждах. Эти люди зачем-то стали заходить в реку и идти к ее середине. Она не углублялась и была всем по колено.

Горький, не отдавая в этом себе отчета, пошел за ними и, как и они, ступил в воду.

Все неожиданно остановились, он тоже. Потом люди подняли к небу головы и замерли. И он.

Какой-то мальчик, очень изможденный, лет

десяти, простер тонкие руки к звездному куполу и звонким голосом вдруг стал просить:

— Господи Святый, воззри на нас, усопших, всевидящим Твоим оком! Воззри на нас Создатель и Судья наш!.. Услышь молитву нашу, и вопль к Тебе от всего нашего народа страждущего, как от всех живых, так и всех мертвых!.. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего, и увидь всех нас, несчастных, к Тебе согрешивших волею и неволею!.. Спаси, Господи, и помилуй нашу общую душу! Ниспошли нашему народу Твое прощение и очищение!..

Все люди, точно эхо, негромкими голосами повторили:

— Спаси, Господи, и помилуй нашу общую душу!

Ниспошли нашему народу Твое прощение и очищение!..

Мальчик звонче продолжил:

— Не отврати от нас лица Твоего, Всеблагий!.. Внемли, Господи Боже Наш, нашей скорби за свой народ и за себя, о подлости и низости нашей, а паче за то, что немало из нас отрекся от Тебя, Единого и Безначального!.. Молим к Тебе о грехе нашем страшном, и прими Ты нас в покаянии!.. Спаси, Господи, и помилуй нашу общую душу! Ниспошли нашему народу Твое прощение и очищение!..

Алексей Максимович, стоя по колена в воде, проговорил со всеми повтор покаянной молитвы:

— Спаси, Господи, и помилуй нашу общую душу!

Ниспошли нашему народу Твое прощение и очищение!..

— Услышь наш глас, Господи!..— еще громче взмолился мальчик.— Утверди милость Твою к

нам, падшим, что забыли мы в человеке Божье, и лишили сами себя сердца и всякого разума, и, аки звери безумные, брат на брата пошедшие, сын на мать, отец на сына руку поднявшие, и кровь друг друга, в угоду сатане, пролившие! Избавь народ наш от бесовского наваждения, Боже Всемиловейший! Воскреси в нас Твой Святой Дух, Святыи из святых, дай нам к Тебе возродиться!.. Молим и молим Тебя: спаси, Господи, и помилуй нашу общую душу! Ниспошли нашему народу Твое прощение и очищение!..

— Спаси, Господи, и помилуй нашу общую душу!

Ниспошли нашему народу Твое прощение и очищение!..

Ночное небо вдруг раздвинулось, там возникло яркое свечение.

Оно пало на середину реки широким снопом и охватило собою всех людей. В этом огромном луче света пошел чистый и обильный дождь.

Люди стали подставлять под сверкающие капли лица и омыwać их руками. И вместе со всеми — крещеный в миру Алексей Пешков...

Сноп света медленно двинулся и повлек людей за собой. Не выходя из него, они пошли по броду на другой берег реки.

Там зачинался рассвет...

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора

5

Глава первая
НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ

9

Глава вторая
УЕЗЖАЙТЕ

73

Глава третья
ВЫБИТЫЙ ЗУБ

139

Глава четвертая
ВОЗВРАЩЕНИЕ

189

Глава пятая
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ

255

Глава шестая
ПРОЗРЕНИЕ

307

Глава седьмая
ОЧИЩЕНИЕ

363

Литературно-художественное издание

Александр Лапшин

ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА

Зав.редакцией *Е. Узлова*
Корректор *В. Фадеева*
Художественный редактор *В. Чернецов*
Технический редактор *Т. Кулагина*

OCR - Давид Титиевский, май 2017 г., Хайфа

ЛР 064134 («КРОН-ПРЕСС»)

Подписано в печать с готовых диапозитивов 26.10.95.
Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Таймс». Тираж 25 000 экз.
Бумага газетная. Усл.печ.л. 22,68. Печать офсетная.

Заказ 6382

Издательский Дом «КРОН-ПРЕСС»
103030, Москва, Новослободская, 18, а/я 54.

По вопросам реализации обращаться по адресу:
АО «МОКРОН»
Телефоны: 218-08-78, 218-52-00, 289-15-92

Посетите магазин «КРОН-ПРЕСС» по адресу:
Москва, ул.Новослободская, 18
Телефон: 972-14-23

Отпечатано с готовых диапозитивов на Книжной фабрике № 1
Комитета РФ по печати
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.

ISBN 5-232-00190-6

